This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of

THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of

JASPER NEWTON KELLER

BETTY SCOTT HENSHAW KELLER

MARIAN MANDELL KELLER

RALPH HENSHAW KELLER

CARL TILDEN KELLER

5805

ПУШКИНСКІЙ СБОРНИКЪ.

Статьи студентовъ Императорскаго Московскаго Университета

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Проф. **А. И. Кирпичникова.**

МОСКВА.
Университетская типографія, Страстной бульваръ.
1900.

Slav 4350.4.1623 v

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
SEP 17 1963

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

Вмѣсто введенія Объ изученіи пушкинскаго періода русской литературы. Проф. *А. Кирпичникова*..... 1

Катенинъ и Пушкинъ. *В. Миллера*..... 17

Д. В. Веневитиновъ какъ поэтъ и критикъ, „Московскій Вѣстникъ", журналъ русскихъ шеллингіанцевъ Веневитиновскаго кружка, и А. С. Пушкинъ; ихъ взаимныя историко-литературныя отношенія. *Ѳ. Некрасова*. 41

Грибоѣдовъ и Пушкинъ. *И. Розанова*..... 100

Вліяніе народной поэзіи на Пушкина и Мицкевича. *И. Эйзенбетъ*..... 136

Критико-библіографическій обзоръ Пушкинской юбилейной литературы 1899 г. *Д. Щеголева*..... 177

„Узникъ" Пушкина въ народной передѣлкѣ. *Н. Дурново*..... 237

Поэтъ-Пессимистъ и ближайшій спутникъ поэзіи Пушкина. *Е. Жураковскаго*. 255

ВМѢСТО ВВЕДЕНІЯ.

Объ изученіи пушкинскаго періода русской литературы [1]).

По крайней мѣрѣ, въ двадцатый разъ я начинаю новый для меня курсъ; но никогда еще не испытывалъ я такой неувѣренности въ себѣ и, прямо скажу, такого страха за успѣхъ своихъ лекцій, какъ теперь. Причины на это двѣ: одна лежитъ во мнѣ, другая—въ содержаніи моего курса. Я—студентъ Московскаго университета и въ одну изъ лучшихъ эпохъ его: я слушалъ Буслаева, Тихонравова, Соловьева, Ешевскаго, Бабста, Леонтьева, Бодянскаго, и хотя 25-ти-лѣтнее преподаваніе въ провинціи убѣдило меня, что и тамъ часто встрѣчаются какъ студенты, такъ и профессора, ни въ чемъ не уступающіе столичнымъ, даже и лучшимъ, все же къ родному университету, да еще Московскому, съ его славнымъ полуторавѣковымъ прошлымъ, у меня, какъ у всякаго стараго студента, сохранилось особое почтеніе, и читать исторію русской литературы съ той же каѳедры, съ которой читали ее Буслаевъ и Тихонравовъ, истинные богатыри науки, какъ хотите, дѣло опасное.

Перехожу къ другой причинѣ, не столь случайной и субъективной. Я намѣренъ читать обзоръ пушкинскаго періода, курсъ, котораго самъ я никогда не слушалъ, и который, сколько знаю, въ Московскомъ университетѣ никогда не читался. Чѣмъ могу я оправдать такую смѣлость и на чемъ я основываю хоть нѣкоторую надежду,

---

[1]) Вступительная лекція, читанная въ Московскомъ университетѣ 22 сентября 1898 года.

что мои чтенія принесутъ пользу?—вотъ тема моей нынѣшней лекціи.

35 лѣтъ назадъ мы, многочисленные слушатели Буслаева и Тихонравова, всѣ или почти всѣ преклонялись передъ ихъ учеными заслугами, громадными знаніями и ихъ творческимъ трудолюбіемъ; но мы по крайней мѣрѣ на первое время далеко неодинаково относились къ предметамъ ихъ чтеній и спеціальныхъ занятій (вамъ, вѣроятно, извѣстно, что Буслаевъ читалъ народную поэзію и разнообразные курсы по исторіи древнерусской литературы и искусства, а Тихонравовъ—допетровскую литературу и XVIII вѣкъ, только изрѣдка заглядывая въ начало XIX вѣка): одни изъ насъ принимали даваемое безъ разсужденій, какъ высокое благо, а потомъ и сами увлекались или открывающими обширные горизонты темами по народному эпосу и миѳологіи, или болѣе скромными, но зато мало обслѣдованными вопросами по древнерусской письменности, гдѣ что ни ударъ кирки, то новый интересный фактъ, почти открытіе; другіе же, и такихъ, пожалуй, было большинство, не могли не испытывать нѣкотораго недовольства тѣмъ, что наши знаменитые профессора, обладавшіе такой громадной эрудиціей и такимъ критическимъ талантомъ, примѣняли и свои огромныя и наши ничтожныя силы къ Палеямъ, Прологамъ, Даніиламъ Заточникамъ и Паломникамъ, тогда какъ подъ руками были Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, благоговѣніе къ которымъ, конечно, не вполнѣ сознательное, мы приносили съ собой изъ гимназій и семинарій. Если Буслаевъ, разсуждали мы, такъ тонко умѣетъ анализировать грубоватое и бѣдное мотивами апокрифическое сказаніе о Петрѣ и Февроніи, насколько большее дѣйствіе оказали бы на насъ его лекціи, еслибъ онъ такой же анализъ приложилъ къ поэмамъ Пушкина? Если Тихонравовъ могъ такъ хорошо выяснять происхожденіе сатиръ добросовѣстнаго, но безталаннаго риѳмоплета Кантемира, отчего онъ не обработаетъ такимъ же образомъ «Мертвыя души» и «Ревизора», которыхъ мы чуть не наизусть знали?

Подготовленные хорошими учителями словесности, учениками того же Буслаева, чтеніемъ Бѣлинскаго и духомъ времени, мы довольно скоро поняли, что эстетическая точка зрѣнія на произведенія словестности не научна, и что исторія литературы не имѣетъ права останавливаться только, такъ сказать, на аристократахъ чело-

вѣческой мысли, что почти обезумѣвшій отъ гоненій протопопъ Аввакумъ или даже совсѣмъ безыменное, но выражающее міровоззрѣніе извѣстной эпохи и вліятельное произведеніе, въ родѣ Палеи, несравненно важнѣе, нежели сотни вылощенныхъ, но однообразныхъ похвальныхъ одъ или цѣлый десятокъ очень изящныхъ по формѣ и занимательныхъ, но не внесшихъ ровно ничего новаго послѣдователей Жуковскаго и Пушкина; но развѣ самъ-то Пушкинъ не былъ крупнымъ историческимъ явленіемъ? развѣ не отражалъ онъ своей, для насъ болѣе интересной, нежели времена татарскаго ига или царя Алексѣя, эпохи? развѣ не важно выяснить генезисъ его міровоззрѣнія и степень его вліянія на эпоху послѣдующую?

Такое исключительное предпочтеніе нашихъ незабвенныхъ учителей стараго болѣе новому показалось намъ особенно грустнымъ тогда, когда изъ расписанія лекцій въ нѣмецкихъ университетахъ узнали мы, что въ Германіи лучшіе профессора рядомъ съ курсами по средневѣковой литературѣ читаютъ спеціальные курсы по Фаусту Гёте, по лирическимъ произведеніямъ Шиллера и общіе обзоры классическаго періода нѣмецкой словесности.

Отчего же у насъ не такъ? Положимъ, Палеи и Аввакумы заслуживаютъ полнаго вниманія, и работы Буслаева и Тихонравова надъ ними необходимы: безъ ихъ громадной эрудиціи никто другой съ ними не справится; положимъ, и намъ необходимо знать ихъ, и будущіе спеціалисты изъ насъ на нихъ должны усвоить пріемы работы по допетровской литературѣ. Но за что же нашихъ классиковъ оставлять совсѣмъ въ сторонѣ?

Мы поняли, въ чемъ дѣло, только черезъ три-четыре года собственной работы, послѣ ознакомленія съ состояніемъ науки на западѣ: мы убѣдились, что нѣмецкій профессоръ можетъ читать спеціальный курсъ, положимъ, хоть о Валленштейнѣ Шиллера потому, что въ Германіи всѣ предварительныя работы давно сдѣланы, матеріалы собраны; извѣстна изо дня въ день жизнь Шиллера во время его творчества; документально извѣстно, какія книги и насколько времени бралъ онъ изъ іенской библіотеки, обдумывая сюжетъ, какія мысли проходили въ головѣ его, и что изъ нихъ онъ сообщалъ своему другу Гете; извѣстно, какого числа писалъ онъ каждую сцену, къ какому актеру веймарскаго театра приспособлялъ онъ какую роль и т. д. А у насъ далеко еще не собраны и неустановлены самые

тексты нашихъ классиковъ, не говоря уже объ ихъ письмахъ, и ровно ничего не сдѣлано для изученія среды, въ которой они жили и дѣйствовали. Довольно, если я укажу на одинъ фактъ, безъ сомнѣнія, многимъ изъ васъ извѣстный: академикъ Тихонравовъ уже на шестомъ десяткѣ лѣтъ тратилъ свое драгоцѣнное время на подстрочное сличеніе и возстановленіе текста Гоголя, для чего, конечно, вовсе не нужны были его громадныя свѣдѣнія по палеографіи.

Но полное историческое оправданіе такому способу дѣйствія нашихъ профессоровъ принесло ближайшее будущее, которое для васъ является уже давно прошедшимъ. Не успѣли мы окончить курсъ, какъ одинъ изъ даровитѣйшихъ нашихъ критиковъ-публицистовъ разнесъ нашъ кумиръ, Пушкина, въ прахъ, мимоходомъ не пощадивъ и своего великаго предшественника Бѣлинскаго, и сдѣлалъ онъ это не ради оригинальничанья—онъ былъ человѣкъ идеально честный и искренній, но по глубокому убѣжденію и не собственному только убѣжденію, а цѣлой партіи передовыхъ русскихъ мыслителей. Конечно, это была не художественная и не историческая критика, но все же отрицаніе систематическое, самоувѣренное, сильно дѣйствовавшее на юные умы, которые и пришли къ заключенію, что самыя основныя воззрѣнія Бѣлинскаго устарѣли до полной негодности, и что Пушкинъ почти столь же мало достоинъ изученія, какъ пустозвонные одописцы XVIII вѣка. Люди 40-хъ годовъ и непосредственные ученики ихъ могли возмущаться и негодовать, сколько имъ угодно: ихъ никто не хотѣлъ слушать, и ихъ клеймили страшнымъ у насъ въ то время названіемъ отсталыхъ. Разумѣется, работать надъ Пушкинымъ и вообще надъ нашими классиками въ это время было неудобно до крайности.

А между тѣмъ былины, Палеи и Аввакумъ, какъ характерные факты исторической жизни народа, нисколько не теряли своего значенія, и изученіе ихъ энергично подвигалось впередъ.

Развѣ не правы были наши учители, что знакомили насъ съ методомъ изслѣдованія не надъ новой литературой, которой еще предстояло возбуждать страсти, быть предметомъ публицистической полемики, а надъ фактами, болѣе отдаленными, вполнѣ пригодными для объективнаго научнаго изученія?

Прошло послѣ развѣнчанія Пушкина какихъ нибудь 15 лѣтъ и, сколько помню, совершенно неожиданно для современниковъ, на мо-

сковскомъ праздникѣ открытія памятника Пушкину, совершился рѣзкій поворотъ въ обратную сторону. Та же русская большая публика которая такъ недавно выказывала презрительно-враждебное равнодушіе ко всему, что отзывалось чистой художественностью, тепло и радостно привѣтствовала пріѣхавшихъ на праздникъ представителей литературы 40-хъ годовъ безъ различія партій, и горячимъ сочувствіемъ встрѣчала самыя восторженныя рѣчи поклонниковъ Пушкина, изъ которыхъ иные въ увлеченіи приписывали великому поэту много такого, что ему и во снѣ не могло сниться. Прошло еще семь лѣтъ; по случаю 50-лѣтія со дня смерти Пушкина, во всѣхъ большихъ и малыхъ центрахъ умственной жизни русской, произошли торжества въ честь великаго поэта, не столь восторженныя, какъ покаянное торжество московское, но зато дружныя и вполнѣ увѣренныя въ своей разумности и законности. Съ этого же дня Пушкинъ сталъ народнымъ русскимъ поэтомъ не по названію, и не по духу и направленію своихъ произведеній, а въ буквальномъ значеніи этого слова, по степени своей популярности: по приблизительному, но, кажется, довольно вѣрному расчету, въ этомъ году и въ два слѣдующіе сочиненія его полностью и частями разошлись въ количествѣ $1^1/_2$ милліоновъ экземпляровъ, что, если считать по десяти читателей на каждую книжку, даетъ 15 милліоновъ человѣкъ, т. е. больше, чѣмъ всю грамотную Россію.

Въ томъ же 1887 году, важнѣйшіе матеріалы для изученія Пушкина, которые только сумѣли собрать до тѣхъ поръ, сдѣлались общимъ достояніемъ, посредствомъ болѣе или менѣе удовлетворительныхъ изданій. Съ тѣхъ поръ ежегодно появляются спеціальныя работы по Пушкину или его эпохѣ, изъ которыхъ едва ли не добрая половина показываетъ съ поразительною ясностью, какъ мало точнаго и научнаго въ томъ, что недавно считалось общепринятымъ. Мы и теперь не сдѣлали десятой доли того, что нужно, что сдѣлали нѣмцы, напримѣръ, для Шиллера или французы для Мольера, но что за бѣда? работы продолжаются, число работниковъ увеличивается, и дѣло двигается впередъ—все скорѣй и скорѣй. Въ настоящее время, по моему убѣжденію, нѣтъ никакихъ причинъ, которыя могли бы удерживать преподавателей университетовъ отъ чтенія курсовъ по Пушкинскому періоду русской литературы и, напротивъ, есть цѣлый рядъ основаній предполагать, что такой курсъ при мало-

мальски удовлетворительномъ исполненіи возбудитъ интересъ слушателей и принесетъ имъ пользу. Начинаю съ важнѣйшаго.

Между трудными для насъ жизненными вопросами въ послѣднее время едва ли не труднѣйшій—вопросъ объ отношеніи нашей интеллигенціи къ такъ называемому «простому» народу: имѣетъ ли нравственное право интеллигенція жить на счетъ тяжелаго труда народнаго, несоотвѣтственно вознаграждаемаго скудными благами, которыя мы предоставляемъ ему? Пропасть между жизнью массы нашего деревенскаго люда и нашей жизнью, съ университетами, публичными лекціями, газетами, концертами, поѣздками за границу и пр.,—огромна; можемъ ли мы съ спокойною совѣстью наслаждаться всѣмъ этимъ и утѣшать себя мыслью, что иначе пока и быть не можетъ, что такъ было когда-то и въ наиболѣе цивилизованныхъ странахъ, гдѣ въ настоящее время и крестьянинъ и мастеровой собственнымъ трудомъ и энергіей доработались и до хорошей школы, и до своей газеты, и вообще до значительной степени нравственнаго и физическаго благосостоянія, и гдѣ различіе въ вознагражденіи за интеллигентный и за физическій трудъ настолько незначительно, что одинъ и тотъ же человѣкъ зачастую переходитъ отъ одного къ другому? Этотъ роковой вопросъ, конечно, каждый рѣшаетъ по своему, соотвѣтственно темпераменту и убѣжденіямъ. Одинъ, прикрываясь принципомъ борьбы за существованіе, полагаетъ, что тотъ, кому выпалъ лучшій № въ жизни, можетъ спокойно имъ пользоваться, а если онъ пожертвуетъ десятокъ рублей на голодающихъ или на деревенскую школу, то готовъ считать себя чуть не благодѣтелемъ рода человѣческаго. Другой думаетъ, что такъ какъ въ настоящее время нѣтъ возможности заполнить эту пропасть, то всякій совѣстливый человѣкъ долженъ отказаться отъ несправедливыхъ привилегій интеллигентнаго труда, «опроститься», уйти въ народъ и съ нимъ вмѣстѣ подниматься до высшей культуры и благосостоянія. Между этими двумя крайностями есть рядъ посредствующихъ воззрѣній. Я лично, вмѣстѣ со многими другими, держусь такого убѣжденія, которое мнѣ представляется донельзя простымъ и яснымъ: мы все получили и ежедневно получаемъ отъ народа; мы и должны честно расплачиваться съ нимъ. Чѣмъ? Почти всѣ мы сходимся въ томъ, что одною изъ первыхъ потребностей и въ то же время высшимъ благомъ для народа въ настоящее время является грамотность, но не простая

грамота въ смыслѣ умѣнья читать и писать, которая черезъ 5—6 лѣтъ тяжелой физической работы можетъ исчезнуть безслѣдно, а полное пониманіе читаемаго, привычка къ книгѣ, какъ къ средству поученія во всѣхъ обстоятельствахъ жизни и какъ къ орудію удовольствія, пріятнаго отдыха. Этимъ высшимъ благомъ мы всѣ располагаемъ въ достаточной степени и должны дѣлиться имъ съ народомъ. Слѣдуетъ ли всѣмъ намъ идти въ народные учители? Въ буквальномъ и узкомъ смыслѣ нѣтъ, а въ широкомъ—да. Нынѣшнимъ лѣтомъ, на земскихъ учительскихъ курсахъ въ Рязани я видѣлъ болѣе 300 человѣкъ народныхъ учителей и учительницъ; это, безъ сомнѣнія, самые полезные интеллигентные люди въ Россіи, всѣхъ добросовѣстнѣе и великодушнѣе расплачивающіеся съ народомъ, люди, умственный трудъ которыхъ не легче, да и не лучше вознаграждается, чѣмъ самый тяжелый физическій трудъ мастерового или крестьянина, и которые при этомъ цѣлыми десятками лѣтъ сохраняютъ энергію и живой интересъ къ своему дѣлу. Но то напряженное вниманіе, съ которымъ они слушаютъ на курсахъ своихъ руководителей (не всегда удачно выбираемыхъ), указываетъ, насколько они нуждаются въ умственной помощи людей, поставленныхъ въ болѣе благопріятныя культурныя условія. Безъ методикъ и руководствъ, составляемыхъ людьми съ университетскимъ образованіемъ, они были бы, какъ безъ рукъ; безъ дешевыхъ народныхъ книжекъ, издаваемыхъ комитетами и обществами грамотности, и составляемыхъ тѣми же университетскими людьми, они не имѣли бы возможности распространять грамотность въ томъ смыслѣ, въ какомъ она необходима въ деревнѣ [1]). Великую услугу оказываютъ книжки, сообщающія народу разныя полезныя практическія свѣдѣнія; но по крайней мѣрѣ не меньшую пользу приносятъ ему и книжки, способныя заохотить деревенскаго человѣка къ чтенію и поднять его духовную культуру; а кто лучше нашихъ великихъ поэтовъ можетъ исполнить эту важную задачу? 40 лѣтъ назадъ до начала

---

[1]) Эти комитеты, общества, фирма „Посредникъ“ издаютъ и разсылаютъ книжки въ огромномъ количествѣ (одно Московское общество грамотности въ трудный для него 1897 г. разослало, если не ошибаюсь, 114.000 экземпляровъ книгъ, при чемъ спеціалистами установленъ, что каждый экземпляръ служитъ minimum десяти читателямъ), и все-таки же отовсюду слышны жалобы на ужасающій недостатокъ книгъ по деревнямъ.

реформъ, но послѣ ознакомленія съ народной, все еще живой поэзіей, можно было сомнѣваться, годится ли для деревни наша художественная литература; можно было ставить вопросъ, поднимется ли народъ до нея, или ей надо будетъ приспособиться къ народу и его поэзіи? Теперь этотъ вопросъ рѣшенъ самой жизнью: народная поэзія вымираетъ у насъ необыкновенно быстро, а народъ оставаться безъ поэзіи не можетъ, и полтора милліона экземпляровъ Пушкина—достаточно ясный и вѣскій фактъ. Для того же, чтобы толковать Пушкина деревенской школѣ и народу, надо самимъ хорошо знать его. Можно и даже должно надѣяться, что настанетъ время, когда въ деревенской школѣ будутъ читать и Слово о полку Игоревѣ, но это будетъ еще не скоро; а Пушкинъ и Гоголь необходимы теперь же.

На второе мѣсто я вынужденъ поставить аргументъ несравненно меньшей важности, но тоже имѣющій тѣсную связь съ переживаемымъ нами историческомъ моментомъ. Если въ настоящее время происходитъ переломъ въ русскомъ народѣ, который переходитъ отъ своей поэзіи къ художественной, отъ пѣсенъ и сказокъ—къ Пушкину и баснямъ Крылова; то переломъ другого рода совершается и въ русской интеллигенціи, а именно, происходитъ реакція противъ антихудожественности и тенденціозности 60-хъ и 70-хъ годовъ; появляется масса поэтовъ, полагающихъ всю силу поэзіи въ оригинальности формы (и только отчасти содержанія), такъ называемыхъ *декадентовъ*. Я долженъ признаться, что знакомъ съ этимъ явленіемъ очень поверхностно, но все же позволяю себѣ имѣть о немъ свое мнѣніе; по-моему, это явленіе болѣзненное, и болѣзнь эта эпидемическая, а средство противъ нея одно: терпѣливое и усердное изученіе настоящихъ художниковъ,—изученіе, конечно, историческое. (Въ теченіе своего курса я надѣюсь доказать вамъ, что величіе Пушкина по крайней мѣрѣ столько же обусловлено его необыкновеннымъ трудолюбіемъ и умѣлой энергіей въ работѣ, сколько и его природными дарованіями).

Перехожу къ научной сторонѣ дѣла. Конечная цѣль науки, какъ вы знаете, не наблюденіе явленій, а выясненіе общихъ законовъ. Исторія литературы, какъ наука, возможна только въ видѣ сравнительной исторіи литературы, въ которую русская литература войдетъ, какъ часть матеріала, но часть очень поучитель-

ная. Если даже оставить въ сторонѣ наши сказки, пѣсни, нашъ богатый и долговѣчный былинный эпосъ, равнаго которому не найдется ни у одного изъ новыхъ народовъ, самый ходъ нашей небогатой письменности окажется чрезвычайно оригинальнымъ, смѣю сказать, драгоцѣннымъ именно въ смыслѣ установленія общихъ законовъ, для уясненія которыхъ однѣ западныя литературы дадутъ матеріалъ слишкомъ однообразный.

Въ западной и южной Европѣ, по выраженію Пыпина, умственная культура только возрождается изъ-подъ пепла; у насъ было необходимо произвести «новое треніе». На нашей дѣвственной почвѣ быстро выростаетъ литература XII вѣка, конечно, большею частію подражательная, но не бѣдная, энергичная и многообѣщавшая; вы всѣ знаете, какія интересныя и полныя жизни произведенія дошли отъ нея до насъ, и, безъ сомнѣнія, знаете, что это только малая часть того, что было тогда создано. Правильный ходъ ея былъ насильственно прерванъ татарскимъ погромомъ съ его печальными послѣдствіями, и въ результатѣ получилось нѣчто дѣтски наивное и въ то же время старчески одностороннее, будто одинъ изъ самыхъ многочисленныхъ и энергичныхъ народовъ въ Европѣ цѣликомъ ушелъ въ монахи и три столѣтія умственно питался одной аскетической письменностью.

Въ то время, какъ на Западѣ національный героическій эпосъ смѣнялся рыцарскими авантюрными романами и, наконецъ, веселыми фабльо и швенками, въ то время какъ тамъ умственная жизнь бойко прогрессировала въ каждомъ новомъ поколѣніи, у насъ точно все застыло, и грамота служила только для безконечнаго варьированія свято-отеческихъ отрывковъ и однообразныхъ разсказовъ патериковъ и сборниковъ. Отсюда у насъ строгое внѣшнее благочестіе, долгія стоянія, безконечные поклоны, покорность родителямъ, отцамъ духовнымъ, отсутствіе умственныхъ запросовъ, колебаній, жизнь урегулированная до послѣднихъ мелочей, и, какъ неизбѣжное слѣдствіе этого, неистовый разгулъ ума и страстей, когда человѣкъ выходилъ изъ желѣзныхъ рамокъ отеческаго преданія. Тогда онъ сжигалъ все, чему поклонялся, и поклонялся всему, что сжигалъ. Отсюда тверскіе раціоналисты XIV вѣка, отвергавшіе загробную жизнь [1]); отсюда незнакомая западу ересь жидовствующихъ; отсюда

[1]) Тихонравовъ, Сочиненія, I, 222 и слѣд.

уже въ XVI вѣкѣ стремленіе принимать иноземныя, даже не христіанскія моды [1]); отсюда, наконецъ, такіе характеры, какъ Грозный.

Стремленіе спастись отъ золъ невѣжества и ощущаемаго лучшими людьми великаго шатанія посредствомъ усвоенія западной науки появилось у насъ больше, чѣмъ за 100 лѣтъ до Петра. Кн. Курбскій поминаетъ «свѣтлаго роду мужей», которые ѣздили на науку за море во Ерманію и навыкали добрѣ алеманскому языку и писанію и до Влохъ (до Италіи) доѣзжали и по-латыни и «шляхетскимъ наукамъ» научались [2]). Правда, большинство даже изъ правящаго класса на такихъ смѣльчаковъ смотрѣло съ ужасомъ и утверждало, что въ книгахъ «заходятся человѣци, сирѣчь безуміютъ, або въ ересь впадаютъ» [3]); но передовые люди, ссылаясь на примѣръ учителей церкви и искусно пользуясь оружіемъ противниковъ, доказывали, что такая вражда къ книгамъ есть не иное что, какъ зловредная ересь. Дорога на западъ была проложена широкая: вспомнимъ, что во 2-ой половинѣ XVII вѣка въ нѣмецкой слободѣ въ Москвѣ жило болѣе 1000 семействъ однихъ протестантовъ, а при самомъ дворѣ царскомъ, рядомъ съ боярами древняго благочестія, готовыми за него на мученичество, стояли и крайніе западники, и милостью царской пользовались послѣдніе, а не первые. Тогда снова проявилась еще ярче прежняго и въ литературѣ и въ искусствѣ удивительная способность русскаго человѣка усвоивать изъ чужого наиболѣе пригодное, быстро претворять его въ свою плоть и кровь и изъ заимствованнаго создавать оригинальное. Напомню царскихъ мастеровъ, Симона Ушакова; напомню русскую повѣсть и русскую прозаическую сатиру XVII вѣка. Менѣе всего, повидимому, представляетъ оригинальности умственная жизнь пѣтровской и послѣ петровской эпохи: такую дѣловую и учебную, подражательную литературу имѣетъ всякій отсталый отъ сосѣдей народъ въ періодъ усвоенія высшей цивилизаціи. Но это только повидимому: вспомнимъ, что одновременно съ жалкими попытками подражательнаго творчества Кантемировъ и Тредьяковскихъ у насъ существовала живая до страстности литература раскольничья, шла ожесточенная полеми-

---

[1]) См. Максима Грека о тафіяхъ II, 382 и слѣд.

[2]) Соч. 1842 г., стр. 107, 257.

[3]) Курбскій. См. „Библіографическія Записки“, 1858 г., № 18, стр. 362.

ка между поповщиной и безпоповщиной и между фракціями той и другой, что въ этой будто бы безразличной массѣ дѣйствовали такіе сильные творческіе умы, какъ Андрей Денисовъ.

Къ началу нашего столѣтія, въ этой подземной литературѣ почти замираетъ жизнь не въ смыслѣ производительности, а въ смыслѣ обновленія и движенія идей. Но зато тогда происходитъ въ высшей степени оригинальное явленіе: міровоззрѣніе этой темной, доселѣ презираемой массы вдругъ начинаетъ оказывать сильное вліяніе на нашъ правящій классъ; петербургскіе аристократы, до тѣхъ поръ говорившіе по-русски только съ прислугой, боевые генералы нашихъ войнъ съ Наполеономъ, высшіе чиновники, получившіе образованіе въ Московскомъ университетѣ, ѣздятъ на поклоненіе къ возвращенному изъ Сибири основателю скопчества—Кондратію Селиванову; у придворной дамы Татариновой устраиваются хлыстовскія радѣнья съ простонародными пѣснями, въ которыхъ участвуютъ, «отложивши всю мудрость людскую съ ея приличіями», сливки столичнаго общества и въ томъ числѣ министръ народнаго просвѣщенія, князь Голицынъ. Гдѣ вы найдете что-нибудь подобное?

Въ классическомъ періодѣ нашей литературы и прежде всего въ главѣ ея, Пушкинѣ, не могли не выразиться съ особой интенсивностью всѣ эти интересныя черты исторіи русской духовной культуры. Самъ Пушкинъ—наиболѣе яркое проявленіе нашей національной способности претворять чужое въ собственное, подражаніе доводить до высокой оригинальности. Онъ учился у всѣхъ предшествовавшихъ ему и современныхъ литературныхъ школъ и образцовъ, отъ всѣхъ усвоилъ все лучшее и усовершенствовалъ усвоенное. Онъ и отъ псевдоклассиковъ унаслѣдовалъ ясность мысли, изящество формы и уваженіе къ чистотѣ и правильности языка, отъ раннихъ романтиковъ—твердую вѣру въ неограниченную свободу поэзіи и отъ позднихъ—тонкій психологическій анализъ; раньше, чѣмъ кто либо изъ его западныхъ учителей, онъ стремится къ разработкѣ гуманныхъ и соціальныхъ задачъ въ поэзіи и, такъ сказать, черезъ головы современниковъ, протягиваетъ руку передовымъ писателямъ 60-хъ годовъ. Самыя несходныя явленія западнаго творчества: и Вольтера, и Шекспира, и Шенье, и Гете, и Парни, и Байрона объединяетъ онъ въ своемъ всеобъемлющемъ талантѣ и упрощаетъ, не понижая ихъ художественнаго уровня. А безсознательное и часто

уродливое, какъ у поклонниковъ Татариновой и Фотія, народное чувство онъ доводитъ до такой высокой степени національнаго самосознанія, что самые крайніе славянофилы преклонялись передъ этимъ ученикомъ и другомъ Чаадаева, какъ передъ великимъ народнымъ поэтомъ.

Сошелъ въ могилу Пушкинъ, и оживленная, одухотворенная имъ русская литература проявляетъ новыя высокопоучительныя стороны: сразу во всеоружіи огромнаго таланта и горячаго убѣжденія является у насъ критика, въ лицѣ Бѣлинскаго; одновременно начинается въ высшей степени оригинальная ожесточенная, но честная и плодотворная борьба двухъ фракцій передовыхъ людей, которыя выходятъ изъ одного пункта, и черезъ много лѣтъ на одномъ и томъ же сходятся; эта борьба благотворно дѣйствуетъ и на расширеніе кругозора нашей критики, которая направляетъ Гоголя и порождаетъ Тургенева, Достоевскаго, Гончарова, Островскаго. Скоро и для Тургеневскаго періода, когда русская литература почти неожиданно и для насъ самихъ покорила весь читающій міръ, настанетъ исторія; а нужно ли доказывать, что ни литература 40-хъ годовъ, ни тургеневскій періодъ не могутъ быть поняты безъ обстоятельнаго, подробнаго и вполнѣ объективнаго изученія періода Пушкинскаго?

Я повторяю, что для этого изученія въ послѣдніе годы положены твердыя основы, а сдѣлано въ сущности еще очень мало; это самый выгодный для работниковъ моментъ: пригодныя орудія въ рукахъ, мѣста намѣчены, только принимайся за дѣло; свѣжаго или едва тронутаго матеріала безъ конца; что ни день работы, то или новый фактъ, или существенная поправка и дополненіе къ прежнему, слишкомъ поспѣшно добытому.

Я приведу два примѣра изъ собственной очень небольшой практики (изъ чужой я могъ бы привести сотни ихъ, но въ своемъ дѣлѣ виднѣе подробности). Четыре года назадъ, Общество любителей словесности при Московскомъ университетѣ готовилось издавать сборникъ, и предсѣдатель его былъ такъ любезенъ, что предложилъ мнѣ принять въ немъ участіе; съ этимъ совпало 50-лѣтіе со дня смерти Крылова. Имѣя свободную недѣлю, я отправился въ Петербургъ въ Публичную библіотеку и попросилъ дать мнѣ находящіяся тамъ Крыловскія бумаги, надѣясь найти въ нихъ не безинтересные варіанты къ баснямъ и указанія на процессъ творчества

Крылова. Я нашелъ кое-что безъ особаго труда и, кромѣ того, совершенно неожиданно, нашелъ въ той же папкѣ документъ, ясно доказывающій, что представленіе, которое мы имѣли о ранней молодости Крылова, радикально невѣрно: его считали самоучкой и бѣднякомъ, который на грошовое жалованье канцеляриста содержалъ свою мать, а при сопоставленіи этого документа съ другими оказывается, что Крыловъ въ Твери только числился на службѣ, уѣзжалъ надолго въ Петербургъ, и его мать не жалѣла послѣднихъ крохъ, оставшихся по смерти мужа, чтобы получше пристроить сыновей своихъ. Согласитесь, что такая поправка къ біографіи писателя, которая справедливо считается лучшимъ комментаріемъ къ его произведеніямъ, не лишена значенія.

Довольный находкою, я готовъ былъ сложить свои тетрадки, какъ завѣдующій рукописнымъ отдѣленіемъ предложилъ мнѣ просмотрѣть автографъ оперы Крылова «Кофейница».

— Для чего же?—отвѣтилъ я,—вѣдь текстъ воспроизведенъ по этой же рукописи очень почтеннымъ академикомъ.

— Мало ли что могло случиться: можетъ быть, издатель очень спѣшилъ, можетъ быть не все разобралъ.

Я подумалъ и взялъ синюю тетрадку Крылова; съ первой же страницы убѣдился я, что г. завѣдующій былъ безусловно правъ: текстъ воспроизведенъ съ такими недостатками, что установившееся мнѣніе о плохомъ стихѣ и стилистическихъ ошибкахъ этого первенца Крылова чистое недоразумѣніе: ошибки всецѣло принадлежатъ переписчику.

Обвинять ли почтеннаго академика за то, что онъ довѣрился послѣднему? Едва ли хватитъ на это духа, если вспомнимъ, что этотъ академикъ велъ въ то же время десять другихъ работъ бо́льшей важности. Все дѣло въ томъ, что жатва велика, а дѣлателей мало.

Другой примѣръ, болѣе близкій къ Пушкину. Всѣмъ извѣстно, какое огромное вліяніе имѣлъ на юнаго поэта Чаадаевъ, одинъ изъ образованнѣйшихъ и умнѣйшихъ людей своего времени; извѣстно, что Пушкинъ всю жизнь свою относился къ нему съ глубокимъ уваженіемъ и симпатіей и считалъ его своимъ спасителемъ и учителемъ. Въ Москвѣ, въ Румянцевскомъ музеѣ, оказываются 3 портфеля съ бумагами Чаадаева, въ которые, кажется, никто и не загля-

дывалъ. Не трудно было, посидѣвъ надъ ними нѣсколько недѣль, извлечь оттуда рядъ интересныхъ фактовъ.

Но самый разительный примѣръ представляютъ бумаги самого Пушкина, пожертвованныя въ тотъ же музей сыномъ поэта. Надъ ними работали три лучшихъ знатока Пушкина: Анненковъ, Бартеневъ и Якушкинъ, и каждый изъ нихъ совершенно справедливо упрекалъ своихъ предшественниковъ (для Анненкова таковыми были редакторы посмертнаго изданія) въ небрежномъ отношеніи къ дѣлу. Цѣннѣе всѣхъ дополненія и поправки г. Якушкина, но онъ самъ много разъ говоритъ, что не разобралъ того-то и того-то. Развѣ не вполнѣ естественно ожидать, что всякій, кто теперь внимательно поработаетъ надъ этими бумагами, прибавитъ къ его дополненіямъ новыя, столь же интересныя? А надъ бумагами Пушкина и его современниковъ работать вовсе не трудно: не надо знать для этого ни палеографіи, ни водяныхъ знаковъ; не надо строить предположеній относительно автора, писца и времени: годъ, число и фамилія почти всегда подписаны, и рукописи большею частію автографы. Только надо не жалѣть времени и вниманія, и результатъ несомнѣненъ.

Мало того: множество интересныхъ работъ можно сдѣлать по одному печатному матеріалу. Умственная жизнь наша уже со второй половины прошлаго столѣтія выражается въ значительной степени, а съ Пушкинскаго періода главнымъ образомъ въ періодическихъ изданіяхъ. А много ли мы знаемъ по исторіи нашей журналистики?

40 лѣтъ назадъ, Аѳанасьевъ, впослѣдствіи знаменитый собиратель сказокъ, внимательно перечелъ сатирическіе журналы екатерининской эпохи, умно обставилъ прочитанное легко добытыми фактами, и въ результатѣ получилась одна изъ самыхъ живыхъ страницъ исторіи нашей литературы. Много позднѣе, нѣкто г. Весинъ безъ особой подготовки, искусства и таланта перелистовалъ журналы 20-хъ и 30-хъ годовъ, и хотя книга его, въ виду отсутствія метода, и не дала многаго, все же она представляетъ полезное и даже необходимое пособіе.

У насъ до сихъ поръ нѣтъ хронологическихъ указателей ни по новой литературѣ вообще, ни по отдѣльнымъ писателямъ, кромѣ хронологической канвы для біографіи Пушкина, переполненной недосмотрами. У насъ нѣтъ словарей къ писателямъ, даже къ самому

Пушкину. А все это работы не трудныя и поучительныя какъ для самого работника, такъ и для тѣхъ, кто будетъ позднѣе ими пользоваться, чисто *студенческія* работы.

Мечты мои, гг., простираются не очень высоко: если мнѣ удастся хоть въ немногихъ изъ васъ возбудить охоту къ самостоятельнымъ изслѣдованіямъ по новой русской литературѣ, познакомить съ до-крайности немудреными ихъ пріемами, помочь по-товарищески кое-какими свѣдѣніями по литературамъ западнымъ, съ нею такъ неразрывно связаннымъ, я сочту свою задачу исполненной и буду глубоко благодаренъ судьбѣ за то, что она дала мнѣ возможность поработать на пользу родного университета, изъ котораго уже полтора столѣтія льется по всей Руси великой свѣтъ истины и дѣятельной любви къ человѣчеству.

А. Кирпичниковъ.

Катенинъ и Пушкинъ.

I.

Въ группѣ поэтовъ, извѣстныхъ подъ именемъ Пушкинской плеяды, скромный уголокъ занимаетъ имя Павла Александровича Катенина, того самаго Катенина, котораго въ настоящее время знаютъ обыкновенно лишь по двумъ-тремъ мѣстамъ изъ стихотвореній Пушкина, да по страничкѣ изъ Анненковской біографіи. Какъ поэтъ, Катенинъ, пожалуй, и не заслуживаетъ болѣе прочной памяти, но онъ живо говоритъ о Пушкинской эпохѣ какъ критикъ, какъ личность и, особенно, какъ другъ Пушкина, оставившій на немъ свой не слишкомъ, быть можетъ, глубокій, но несомнѣнный и оригинальный слѣдъ.

Личность Катенина уже нашла себѣ біографа: статья г. Пѣтухова [1]) передаетъ основныя данныя жизни поэта, его отношенія къ выдающимся лицамъ эпохи, излагаетъ, наконецъ, его литературныя убѣжденія. Настоящая замѣтка, стараясь избѣгнуть, по возможности, повтореній, ставитъ себѣ задачей—дополнить его біографію нѣсколькими чертами, оставленными біографомъ безъ вниманія и, въ частности, нѣсколько подробнѣе остановиться на выясненіи вліянія Катенина на Пушкина.

Прежде всего, это былъ одинъ изъ самыхъ образованныхъ людей своего времени. Мы не знаемъ, при какихъ условіяхъ протекало его дѣтство и воспитаніе, но, повидимому, чье-то постороннее вліяніе уже въ раннемъ возрастѣ пробудило въ немъ «охоту ко стихамъ». [2])

---

[1]) Историч. Вѣстникъ 1888, № 9.

[2]) Цвѣтникъ 1810 г., № 1, стр. 69.

Писать и печататься онъ сталъ рано — съ 17 лѣтъ; еще раньше— 14-ти лѣтъ, поступилъ на службу въ Мин. Нар. Просвѣщенія, откуда въ началѣ 1811 года перешелъ въ Преображенскій полкъ портупей-прапорщикомъ. Служба и свѣтскій образъ жизни гвардейскаго офицера не помѣшали ему, однако, усиленно продолжать работать надъ своимъ образованіемъ.

Заграничный походъ 1814—15 гг. даетъ новый толчокъ его развитію. Парижъ раскрываетъ передъ нимъ свои музеи, галлереи и театры. Катенинъ становится записнымъ театраломъ, не перенося, однако, своего увлеченія безразлично и на драму, и на оперу, и на балетъ, какъ это бывало большею частью въ то время, а придерживаясь строгаго классическаго репертуара французской трагедіи и античной поэзіи; эти симпатіи не покинули его и до послѣднихъ дней. Уже въ зрѣлыхъ годахъ, послѣ двухъ безуспѣшныхъ попытокъ, овладѣлъ онъ греческимъ языкомъ и всегда жалѣлъ впослѣдствіи, что слишкомъ раннее поступленіе на службу помѣшало ему познакомиться съ языкомъ Гомера еще въ молодости, когда всякое ученье дается легче. Тѣмъ не менѣе въ тридцатыхъ годахъ онъ былъ уже въ состояніи переводить Гомера и идилліи Ѳеокрита. Припомнимъ, что въ то время только немногіе умы признавали цивилизующее значеніе античной поэзіи: И. М. Муравьевъ—Апостолъ, Уваровъ, Гнѣдичъ, Оленинъ, Кошанскій, Каченовскій. За ними шли Батюшковъ, и Жуковскій, не знавшіе, однако, древнихъ языковъ. Грибоѣдовъ въ 1817 году писалъ Катенину: «Сейчасъ ѣду со двора... учиться по-гречески. Я отъ этого языка съ ума схожу». Даже Крыловъ нашелъ въ себѣ достаточно охоты одолѣть его въ одинъ годъ. Что же касается общества, то въ немъ древніе языки могли быть терпимы, но и только. Въ то время трудно было замѣтить, что это знакомство съ классической поэзіей лучше всякаго другого орудія подорветъ авторитетъ псевдоклассической теоріи и создастъ почву для торжества реализма.

Съ другими языками—французскимъ, нѣмецкимъ и итальянскимъ—Катенинъ былъ знакомъ въ совершенствѣ; англійскій, испанскій и латинскій зналъ настолько, что могъ на нихъ свободно читать. И онъ воспользовался широко этой привилегіей: всѣ выдающіеся памятники западно-европейской литературы были ему знакомы. Его феноменальная память усвоивала все слышанное и, говоритъ совре-

менникъ, «въ данную минуту могла привести множество цитатъ почти слово въ слово». Нѣсколько позднѣе начитанность его обнимала уже всѣ «предметы, подлежащіе книгопечатанію: поэзію, исторію, беллетристику, философію, богословіе, точныя науки, естествознаніе» [1]), такъ что при историческихъ или литературныхъ спорахъ его всегда выбирали посредникомъ, и судъ его принимался безпрекословно [2]). Краснорѣчіе его было ключомъ. «Онъ могъ вести диспуты съ кѣмъ и о чемъ угодно, и своею неотразимою діалектикой сбить съ толку, обезоружить своего противника и доказать все, что бы ему ни захотѣлось доказать. Декламировать, разсказывать увлекательно, острить, спорить, опровергать, доказывать—вотъ сфера, въ которой онъ не имѣлъ соперниковъ» [3]).

Осчастливленный такимъ и блестящими дарами природы, быстро подвигаясь по службѣ, молодой поэтъ вѣрилъ въ свою звѣзду, вѣрилъ въ себя выше мѣры. Вигель говоритъ о немъ: «Видалъ я людей, самолюбивыхъ до безумія, но подобныхъ ему не встрѣчалъ. У него было самое странное авторское самолюбіе: мнѣ случилось отъ него самого слышать, что онъ охотнѣе проститъ такому человѣку, который назоветъ его мерзавцемъ, плутомъ, нежели тому, который хотя бы не заочности назвалъ его плохимъ писателемъ» [4]). Къ показаніямъ Вигеля, правда, надо относиться съ осторожностью, но въ данномъ случаѣ они сходятся съ свидѣтельствами другихъ лицъ. «Несносно твое самолюбіе»—пишетъ въ своемъ дневникѣ о Катенинѣ благоволившій къ нему Кюхельбекеръ [5]). Пушкинъ отзывался о Катенинѣ въ письмѣ къ Вяземскому: «въ немъ та же авторская спесь, какъ и въ прославленномъ вѣкѣ философіи» [6]).

На самомъ дѣлѣ Катенинъ былъ едва ли «надменнымъ, сварливымъ и грубымъ»; онъ былъ болѣзненно самолюбивъ, пожалуй—

[1]) Макаровъ, Мои 70-ти-лѣтнія воспоминанія. Ч. I, стр. 27. Этотъ восторженный отзывъ повторяется и въ другихъ свидѣтельствахъ: Зотова и Андреева.

[2]) Андреевъ: Воспоминаніе о П. А. Катенинѣ. „Сѣверная Пчела", 1853 г. № 192.

[3]) Макаровъ, ibid.

[4]) Записки Вигеля, изд. 1892 г., ч. III, стр. 148.

[5]) Рус. Старина, 1884, XLI, 78 стр.

[6]) Другіе отзывы, ср. Плетнева: „Павелъ Катенинъ не принадлежалъ обществу; онъ задорный человѣкъ, надменный хвастунъ... сварливъ, грубъ". (1844 г.). Переписка Грота съ Плетневымъ, т. II, стр. 376. — Льва Пушкина въ соч. Вяземскаго, т. VIII, 148 стр.—Грибоѣдова въ изд. Введенскаго, 316 стр.

задоренъ, и этого то и не могли простить ему современники. Для насъ, однако, ясно, что въ душѣ Катенинъ имѣлъ основаніе считать себя выше многихъ изъ окружавшихъ его лицъ, а характеръ литературной полемики, процвѣтавшей въ то время, давалъ пищу и просторъ такому убѣжденію. При отсутствіи соціальныхъ интересовъ, связующимъ звеномъ кружковъ (до 30-хъ годовъ) была литература или же театръ. Къ нимъ не предъявлялось никакихъ требованій общественнаго значенія, но тѣмъ сильнѣе должна была быть эстетическая оцѣнка. Различіе пріемовъ и формъ творчества служило уже достаточнымъ основаніемъ для узкой, односторонней партійности, получало значеніе цѣлыхъ системъ, разражалось эпиграммами и литературной травлей.

Въ этой травлѣ Катенинъ участія не принималъ. «Всякое твореніе искусства»—говорилъ онъ—«должно само за себя отвѣчать». Онъ слишкомъ высоко ставилъ для этого литературное слово и выступалъ съ нимъ въ полемикѣ только тогда, когда затрогивался общій, принципіальный вопросъ. Нелюбовь къ печатнымъ словопреніямъ развилась въ немъ съ годами до того, что, посылая друзьямъ изъ деревни свои произведенія для печати, онъ иногда умолялъ ихъ не выдавать его имени. Но отъ словеснаго спора—съ глазу на глазъ—онъ никогда не отказывался, и говорятъ, будто онъ постоянно ругалъ писателей: «ни одному изъ нихъ не было отъ него пощады».

Это былъ типичный esprit fort, изъ числа тѣхъ, которые въ большомъ числѣ появились на Руси послѣ заграничнаго похода, принеся оттуда «вольнолюбивыя мечты, духъ пылкій и довольно странный». Эти esprits forts, идя вслѣдъ за временемъ, будутъ постепенно измѣняться въ Онѣгиныхъ, Чацкихъ, Станкевичей, Бѣлинскихъ, Рудиныхъ. Вольнолюбивыя мечты, занесенныя съ запада, не имѣли серіознаго политическаго характера. Когда, съ усиленіемъ аракчеевскихъ принциповъ, стало опасно выражать свои мысли вслухъ, только немногіе рѣшились продолжать начатое дѣло и замыкаться въ тайные кружки; громадное же большинство отказалось отъ всякихъ идеалистическихъ мечтаній, но не хотѣло отказать себѣ въ привилегіи, которой еще вчера безпрепятственно пользовалось,—привилегіи играть въ легкую оппозицію правительству. Началъ становиться модой либерализмъ разныхъ степеней и оттѣнковъ—отъ репетиловскаго «шумимъ!» до одъ на «вольность».

Мы не имѣемъ документальныхъ данныхъ, чтобы утверждать, былъ ли Катенинъ въ числѣ первыхъ или вторыхъ. Съ одной стороны есть указанія, что онъ «со всѣми декабристами друженъ былъ» [1]), но перессорился передъ самымъ 14 декабря, и что его впослѣдствіи призывали въ засѣданіе Слѣдственной комиссіи; съ другой стороны кажется едва ли вѣроятнымъ, чтобы, при такихъ условіяхъ, Катенинъ былъ возвращенъ изъ ссылки въ то время, когда до правительства стали все настойчивѣе доходить вѣсти о тайныхъ обществахъ. Да и самъ онъ 6 сент. 1826 года писалъ Колосовой изъ Петербурга: «Мой гость Зыковъ уѣхалъ, наконецъ; наступила минута, когда мнѣ пришлось бы имѣть изъ-за него непріятности... Все это, по правдѣ сказать, очень скучно, непріятно, *безсмысленно*» [2]).

Принимая во вниманіе общія традиціи и духъ Преображенскаго полка, симпатіи Имп. Александра и Николая къ нему (между прочимъ и къ Катенину), только что перенесенную имъ ссылку и переписку за это время, гдѣ нѣтъ никакихъ вопросовъ, даже намековъ на политику, кругъ его друзей [3]), исключительную его преданность театральнымъ интересамъ,—можно сказать, что Катенинъ никогда не былъ приверженцемъ какихъ-нибудь крайнихъ политическихъ мнѣній; напротивъ того, въ его стихотвореніяхъ нельзя найти никакого отраженія текущихъ общественныхъ событій, какъ и вообще личныхъ настроеній. Если ужъ доискиваться въ немъ его политической вѣры, то онъ окажется скорѣе всего застрѣльщикомъ будущаго славянофильства. Какъ бы то ни было, но въ легкомъ вольнодумствѣ, неподчиненіи укоренившимся обычаямъ, эксцентрическихъ выходкахъ Катенинъ былъ, повидимому, однимъ изъ первыхъ. Позднѣе, вспоминая о Чаадаевѣ, современникъ говорилъ: «Чаадаевъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей Александровскаго времени, которые умѣли казаться выше, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ,

---

[1]) Писемскій, „Люди сороковыхъ годовъ", ч. II, гл. 9, стр. 272. Въ лицѣ Александра Ивановича Коптина Писемскій оставилъ характеристику Катенина. Это доказывается какъ ихъ близкимъ личнымъ знакомствомъ, такъ и соблюденіемъ въ романѣ малѣйшихъ біографическихъ детадей, подтвержденіе которыхъ можно найти въ вышеупомянутой книгѣ Макарова.

[2]) Русск. Старина, 1893, № 4, стр. 212. Зыковъ, гвардейскій офицеръ, имѣлъ связи съ декабристами и призывался въ Слѣдственную комиссію.

[3]) Грибоѣдову приписываютъ слѣдующій отзывъ о декабристахъ: „Сто человѣкъ прапорщиковъ хотятъ измѣнить государственный бытъ Россіи".

всю свою жизнь ходили на ходуляхъ и для многихъ оставались загадкою; это было какое-то шарлатанство особаго рода и оно было въ то время въ большой модѣ. Катенинъ и Грибоѣдовъ употребляли его съ большимъ успѣхомъ» [1]).

Правительство, повидимому, не смотрѣло такъ снисходительно на это «шарлатанство особаго рода», потому что уже въ 1820 году Катенинъ, молодой, 28-лѣтній полковникъ, подалъ въ отставку «по домашнимъ обстоятельствамъ», [2]) а въ 1822 г. петербургскій ген. губернаторъ гр. Милорадовичъ, «предубѣжденный... не въ пользу Катенина, чему были причиной многія самонадѣянныя и неприличныя выходки послѣдняго», [3]) упрекалъ его за его «вольный духъ. Катенинъ не стѣснялся въ своихъ рѣзкихъ рѣчахъ насчетъ губернаторской власти, что, вѣроятно, не могло не дойти до графа.» [4]) Какъ бы то ни было, за одно высказанное вслухъ мнѣніе объ артисткѣ, хотя бы и въ присутствіи Великой Княгини (Александры Ѳеодоровны), полковникъ, фаворитъ государя, не былъ бы высланъ изъ столицъ. Какъ и во многихъ случаяхъ жизни, Катенинъ могъ и въ ту пору съ полнымъ правомъ примѣнить къ себѣ поговорку: «Языкъ мой—врагъ мой».

Это былъ характеръ сангвиническій, огневой. Вигель сравнивалъ его съ кофейникомъ, кипящимъ на комфоркѣ. Въ собраніяхъ и бесѣдахъ Катенинъ «завладѣвалъ рѣчью, чаще всего говорилъ софизмами, вовсе не замѣчая, что сегодня опровергалъ то, что защищалъ вчера». И съ другой стороны, на ряду съ этой способностью увлеченія, Катенинъ былъ богатъ силой трезваго анализа, спокойной, самостоятельной работы мысли. Если, какъ передаютъ современники, онъ всегда ругалъ писателей, то это было не самомнѣніемъ и не одной только потребностью характера,—это было убѣжденнымъ отрицаніемъ во имя твердыхъ основаній собственной поэтической вѣры. Мысль этого прирожденнаго протестанта въ спокойную минуту всегда была насто-

---

[1]) Библіограф. Записки Аѳанасьева, т. III, стр. 6.

[2]) 14 или 17 сентября. См. Исторію преображен. полка. Ср. у Писемскаго: „пѣсню онъ, говорятъ, какую-то сочинилъ, съ припѣвомъ этакимъ". Люди 40-хъ годовъ, ч. 2, стр. 272.

[3]) Араповъ, Лѣтопись рус. театра. Спб. 1861 г. стр. 328—329.

[4]) Записки Каратыгина, стр. 88—94.

рожѣ, всегда царила подъ чувствомъ и воображеніемъ. Но зайдетъ споръ, задѣта струнка, и въ пылу увлеченія онъ забудетъ все. Славянская кровь Катениныхъ до послѣднихъ дней боролась въ немъ съ южной кровью Пурпуры. [1]) Недаромъ на одного изъ опытныхъ физіономистовъ онъ произвелъ впечатлѣніе «съ одной стороны умнаго, ловкаго, свѣтскаго маркиза, а съ другой азіатскаго князька.» [2])

II.

Такова личность Катенина. Труднѣе опредѣлить его литературныя убѣжденія, потому что эпоха 20-хъ годовъ, литературная по преимуществу, окутана, словно туманомъ, знаменитымъ споромъ классиковъ и романтиковъ, и въ этомъ туманѣ контуры литературныхъ дѣятелей становятся неясными.

Въ страшной сумятицѣ понятій, породившихъ этотъ споръ, выдѣляются, какъ намъ кажется, два довольно существенныхъ вопроса. Первый изъ нихъ вопросъ о дарованіи и искусствѣ въ условіяхъ поэтическаго творчества. Катенинъ, отдавая должное прирожденному таланту писателя, находилъ, что «безъ размышленія и труда ни съ какимъ природнымъ даромъ до истинно отмѣннаго нельзя достигнуть». [3]) Съ этимъ былъ согласенъ, конечно, и Пушкинъ, но Катенинъ шелъ дальше: онъ прямо упрекалъ Грибоѣдова за то, что въ «Горѣ отъ ума» дарованія болѣе, нежели искусства [4]), на что Грибоѣдовъ отвѣчалъ: «Въ комъ болѣе способности удовлетворять школьнымъ требованіямъ, условіямъ, привычкамъ, бабушкинымъ преданіямъ,—нежели собственной творческой силы, тотъ... перо свое брось за окошко... Я какъ живу, такъ и пишу: свободно и свободно».—Позднѣйшая критика 30-хъ годовъ высказала о Катенинѣ глубоко-вѣрное замѣчаніе: «Онъ постигалъ изящное умомъ, а не дарованіемъ... Творенія словесности почитаютъ у насъ какимъ-то дѣломъ ума, размышленія, отчетливости, и не хотятъ видѣть, что это... дѣло художника, одареннаго силой созданія. [5])

---

[1]) Дѣвичья фамилія матери Катенена, гречанки по рожденію.

[2]) Писемскій, „Люди сороковыхъ годовъ," ч. II, гл. 9, стр. 275.

[3]) „Размышленія и разборы": Литературн. Газета 1830 г. № 44, стр. 64.

[4]) Соч. Грибоѣдова изд. Введенскаго, стр. 317. Что въ этихъ словахъ Катенина заключался упрекъ, ясно изъ отвѣтнаго возраженія Грибоѣдова: „Самая лестная похвала, которую ты могъ мнѣ сказать".

[5]) Московскій Телеграфъ, 1833 г. іюнь, стр. 604.

Другой вопросъ, замѣшанный въ борьбѣ романтиковъ съ классиками, касается выбора предметовъ для поэтическихъ произведеній. Говоря о народности и о вѣрности изображаемыхъ лицъ и событій дѣйствительности, Катенинъ соглашался, что у Расина «часто лица, вопреки именамъ своимъ, сбиваются на французскихъ придворныхъ Людовика XIV»; но находилъ, что эта «примѣсь Версальскаго быта, если чопорнаго, по крайней мѣрѣ, пристойнаго и благороднаго», все же выше и умѣстнѣе «забіякъ Лондонскаго гостинаго двора съ ихъ шутками и прибаутками, полупедантическихъ и полуфанатическихъ студентовъ іенскихъ и гёттингенскихъ». [1])

Въ трагедіи, въ этомъ «благороднѣйшемъ изъ родовъ драматическихъ, потребны, сверхъ вѣрности и живости изображенія, еще *высокость и красота самаго предмета*». Вторженіе комическаго элемента въ трагедію, описаніе пошлыхъ и темныхъ сторонъ жизни на ряду съ благородными не можетъ быть терпимо: «въ содержаніи истинно-трагическомъ кому и надъ чѣмъ забавляться?» Если въ дѣйствительности «часто смѣхъ и горе въ одно время бываютъ», то вѣдь «искусство не обязано списывать съ натуры цѣликомъ; оно въ правѣ откидывать *лишнее* и должно удовлетворять жаркое чувство изящнаго, а не холодныя излѣдованія любопытства». [2])

Къ роду низшему сравнительно съ трагедіей,—къ драмамъ, комедіямъ, различнымъ веселымъ поэмамъ, сказкамъ, посланіямъ и пр. Катенинъ прибѣгалъ довольно часто, но значенія такимъ трудамъ не придавалъ. Особенную антипатію питалъ онъ къ, такъ называемой, мѣщанской драмѣ и къ творцамъ ея Лессингу и Дидро. «Съ какою увѣренностью въ себѣ,—восклицаетъ онъ—съ какимъ пренебреженіемъ ко всему, что было до нихъ, ...они излагаютъ свою ошибочную теорію... Теорія ихъ, драмы ихъ, слава ихъ, все это давно приказало кланяться»... «Это родъ низшій выборомъ предметовъ: прибавляетъ онъ тутъ же; — сей родъ по естеству уже слишкомъ клонится къ прозѣ; его не худо разговоромъ нѣсколько поэтическимъ *поднять отъ земли*» [3]).

Если къ сказанному прибавить, что Катенинъ всецѣло держался теоріи единства и раздѣленія слога на степени, то главныя положенія

---

[1]) Лит. Газ., стр. 283.
[2]) Ibid.
[3]) Ibid.

его литературныхъ убѣжденій исчерпаны. Нужно отдать ему справедливость, что онъ внимательно читалъ Шлегелей (онъ вообще серьезно и вдумчиво относился ко всякому чужому мнѣнію) и одинъ изъ немногихъ въ то время на Руси склоненъ былъ понимать романтизмъ, какъ поэтическое направленіе, заимствующее свое содержаніе изъ «быта среднихъ вѣковъ Западной Европы, его нравовъ, обычаевъ, повѣрій и преданій» [1]). Стоя на этой точкѣ зрѣнія, онъ отрицалъ возможность существованія русскаго романтизма, такъ какъ Россія искони не имѣла ничего общаго съ Европой Западной; первыя свои познанія, художества и науки получила она вмѣстѣ съ вѣрою православною отъ Царьграда». Шлегелемъ руководило «одностороннее пристрастіе къ тому, что онъ исключительно называетъ христіанствомъ, т. е. къ католицизму... Любопытно знать, почему наши такъ прилѣпились къ романтизму?» Отсюда вытекало нетерпимое отношеніе Катенина къ «чертовщинѣ» Жуковскаго, хотя въ молодыхъ годахъ онъ самъ былъ подъ ея вліяніемъ; отсюда же отвращеніе къ романтизму 30-хъ годовъ Марлинскаго, Полевого, Кукольника и К°.

Не сходясь съ нѣмецкими романтиками въ ихъ односторонней и пристрастной оцѣнкѣ средневѣковья, Катенинъ умѣлъ понимать и цѣнить перлы средневѣковой поэзіи: напр., испанскіе романсы о Сидѣ онъ ставилъ непосредственно за Гомеромъ, съ которымъ, какъ онъ выразился, «разъ навсегда никого и ничего сравнивать не должно». Романсы о Сидѣ, переведенные Гердеромъ, Катенинъ перевелъ на русскій языкъ. Эпосъ о Нибелунгахъ настолько привлекалъ его вниманіе, что въ 1843 г. онъ обращается съ просьбой къ Жуковскому перевести поэму стихами. Мы не говоримъ уже объ его увлеченіи Дантомъ, Аріостомъ, Тассомъ. Все это сильно говоритъ противъ общераспространеннаго о Катенинѣ мнѣнія, какъ о классикѣ-педантѣ; онъ былъ классикомъ, но скорѣе въ хорошемъ значеніи этого слова; его отнюдь нельзя ставить на одну доску съ такими лицами, какъ Мерзляковъ, Милоновъ, Лобановъ. Съ большой осторожностью нужно поэтому принимать показаніе Анненкова, будто «Катенинъ при всѣхъ называлъ книгу Шишкова: О старомъ и новомъ слогѣ — сво-

[1]) Лит. Газ. № 19, стр. 151.

имъ литературнымъ евангеліемъ» [1]). Если бы Катенинъ дѣйствительно такъ уважалъ сочиненіе Шишкова, онъ захотѣлъ бы примкнуть къ «Бесѣдѣ», что было нетрудно сдѣлать классику съ такимъ виднымъ положеніемъ, или же, по крайней мѣрѣ, познакомиться съ авторомъ «Разсужденія»; между тѣмъ извѣстно, что къ Бесѣдѣ Катенинъ не принадлежалъ, а познакомился съ Шишковымъ въ 1832 г. [2]), послѣ того уже, какъ напечаталъ свои историко-литературные «Размышленія и разборы», въ которыхъ ни однимъ звукомъ не обмолвился о своемъ «литературномъ евангеліи». Позднѣе, въ 40-хъ годахъ, Катенинъ отзывался о Шишковѣ, какъ о человѣкѣ «пустомъ и полуобразованномъ» [3]). Скорѣе всего онъ могъ примкнуть къ тому литературному кружку, который группировался около Оленина; по крайней мѣрѣ, взгляды его совпадали съ направленіемъ этого кружка. Убѣжденіе Катенина въ томъ, что «старина наша отнюдь не романтическая», и пристрастіе его къ классицизму встрѣчали соотвѣтствіе въ стремленіи Оленина «сдѣлать русскую жизнь, новую и особенно древнюю, предметомъ поэтическаго творчества», такъ какъ «героическое, возвышающее душу присуще не одному классическому-греческому и римскому міру; оно должно быть извлечено изъ преданій русской древности и возведено искусствомъ въ классическій идеалъ» [4]).

Была только одна область поэзіи, гдѣ Катенинъ являлся дѣйствительно упрямымъ, скучнымъ педантомъ: это—драма. Его разборъ «Бориса Годунова» и «Горя отъ ума» производятъ такое впечатлѣніе, какъ будто Пушкинъ и Грибоѣдовъ въ его глазахъ своими произведеніями посягнули на что-то такое, что исключительно ему, Катенину, при-

---

[1]) Анненковъ, А. С. Пушкинъ въ Александровск. эпоху. Стр. 112. Катенинъ говорилъ только, что послѣ выхода въ свѣтъ Разсужденія – „примѣтно отстали отъ сентиментальности и галлицизмовъ". Эти слова почерпнуты нами изъ переписки Катенина съ Н. И. Бахтинымъ; мы имѣли возможность познакомиться съ этимъ собраніемъ благодаря любезности его владѣльца Н. Н. Селифонтова, которому приносимъ глубокую благодарность. Къ сожалѣнію, мы ознакомились съ этими документами, когда текстъ настоящей статьи былъ уже набранъ, что дало возможность воспользоваться ими лишь въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ.

[2]) Въ письмѣ къ Пушкину 11 мая 1826 г. Катенинъ пишетъ: „Я съ нимъ (съ Шишковымъ) не знакомъ". Ср. также Гротъ. Сочин. и переписка Плетнева, т. III, стр. 526—7.

[3]) Историч. Вѣстникъ 1893, т. LIII, стр. 79.

[4]) Л. Н. Майковъ. Біографія Батюшкова, 51—52 стр

надлежитъ, въ чемъ онъ признаетъ себя непогрѣшимымъ судьей. Написавъ въ началѣ 30-хъ годовъ «Княжну Милушу», «сочиненіе веселое», какъ онъ самъ его называетъ, восторгаясь «Онѣгинымъ» и «Графомъ Нулинымъ», онъ съ близорукимъ упорствомъ находилъ въ «Горѣ отъ ума» погрѣшности въ планѣ, находилъ, «что сцены связаны произвольно», что въ «Годуновѣ плана никакого... все набросано»... И это было, безъ сомнѣнія, самое слабое мѣсто во всей его литературной дѣятельности.

Объ этой дѣятельности Катенина, какъ поэта, мы считаемъ себя въ правѣ высказаться всего къ нѣсколькихъ словахъ. Начавъ съ слезливо-сентиментальныхъ переводовъ изъ Макферсона, Катенинъ, какъ и Жуковскій, постепенно перешелъ, благодаря непосредственному знакомству съ нѣмецкой литературой, къ романтическимъ мотивамъ, при чемъ за нимъ должно остаться преимущество одного изъ первыхъ піонеровъ въ дѣлѣ усвоенія русской поэзіей національно-бытового стиля. Въ 1818 году это романтическое направленіе рѣзко смѣняется эллинистическимъ. За годъ передъ тѣмъ Катенинъ, въ сообществѣ съ Грибоѣдовымъ, съ которымъ онъ вообще находился въ очень тѣсныхъ отношеніяхъ, пишетъ комедію «Студентъ», на которую можно смотрѣть, какъ на вызовъ, брошенный Арзамасу. Вызовъ былъ принятъ, борьба продолжалась долго. Катенинъ долженъ былъ выйти изъ нея побѣжденнымъ даже въ томъ случаѣ, если бы его художественный талантъ былъ такъ же высокъ, какъ тверды и независимы были его литературные убѣжденія и вкусы. Но и побѣжденный, Катенинъ ясностью своихъ литературныхъ убѣжденій всегда вносилъ свою долю порядка въ общую, неперебродившую еще тогда смѣсь — иногда непродуманныхъ, часто противорѣчивыхъ и всегда неясныхъ литературныхъ мнѣній. Пушкинъ былъ правъ, когда еще въ 1826 г. писалъ Катенину: «Многіе много тебѣ обязаны».

III.

Чѣмъ же былъ ему обязанъ самъ Пушкинъ? Что влекло этого юнаго члена Арзамаса и Зеленой лампы къ Катенину? Въ стихотвореніяхъ Пушкина 1817—19 годовъ чувствуется тяжелая борьба молодого поэта съ самимъ собой. Въ немъ живутъ два человѣка: одинъ почти еще ребенокъ, какъ будто охмелѣвшій отъ вина, свѣта, шумнаго веселья, въ какое онъ попалъ, и другой, годами старше,

усталый и неудовлетворенный этимъ шумомъ, сознающій «заблужденья измученной души» своей. Онъ чувствуетъ въ себѣ силы, но не сознаетъ ихъ; самолюбіе грызетъ и точитъ: хочется страстно услышать прямой, справедливый отзывъ о себѣ. И онъ идетъ къ человѣку незнакомому, по признанному поэту, слухи объ умѣ, образованіи и свободомыслія котораго родили въ немъ чувство, похожее на благоговѣніе; къ человѣку, всѣ симпатіи котораго—поэзія, театръ, блестящая военная служба—были давно ужъ и его мечтою; разница поэтическихъ вкусовъ не смущаетъ его: она можетъ только служить залогомъ болѣе строгой, горячей оцѣнки.

Въ 1818 году, какъ извѣстно, Пушкинъ приходитъ къ Катенину съ просьбой «побить, но выучить» и старается выпытать у него мнѣніе о себѣ; на просьбы хозяина прочесть какое-нибудь изъ новыхъ своихъ произведеній отвѣчаетъ отказомъ: «показать ихъ знающему стыдно: они не при немъ писаны» [1]), т. е. другими словами: они писаны не въ томъ кругу и не для того круга, въ которомъ вращается Катенинъ. Если принять во вниманіе, что къ кругу, о которомъ упоминаетъ Пушкинъ, принадлежали Карамзинъ, Жуковскій, Тургеневъ, Вяземскій, мнѣнія которыхъ онъ никогда не переставалъ уважать, то отвѣтъ его становится для насъ подозрительнымъ. И въ самомъ дѣлѣ, прямой и откровенный Катенинъ замѣтилъ въ Пушкинѣ въ эту пору «осторожность въ обхожденіи съ людьми, мнѣніе которыхъ уважалъ, ловкій обходъ спорныхъ вопросовъ, если они поставлялись слишкомъ рѣшительно» [2]). Это тѣмъ любопытнѣе, что кружокъ Арзамаса представлялъ изъ себя нѣчто одностороннее, нетерпимое [3]). Литературная вражда съ «Бесѣдой» переходила тамъ на почву личныхъ непріязненныхъ отношеній. Такая участь постигла напр., Шаховского: его обвинили въ недостойномъ отношеніи къ Озерову; лишенную достовѣрнаго основанія догадку не замедлили признать фактомъ, Арзамасъ ополчился эпиграммой, и Пушкинъ

---

[1]) Анненковъ, Матеріалы, стр. 41.

[2]) Эти свѣдѣнія Анненковъ (Матеріалы, 51 стр.) почерпнулъ изъ собственноручной записки Катенина о Пушкинѣ, находившейся у Анненкова. Какова судьба этой записки—неизвѣстно; недавно бумаги покойнаго Анненкова разбирались; среди нихъ ея не оказалось.

[3]) „Ваша братья хоть и либералы, тѣмъ не менѣе весьма нетерпимы“ — пишетъ около того времени Е. А. Карамзина кн. Вяземскому.

пошелъ вслѣдъ за другими. Но когда Катенинъ свезъ его лично къ Шаховскому, отношеніе его къ послѣднему перемѣнилось: не признавая въ немъ попрежнему большого таланта, Пушкинъ съ тѣхъ поръ относился къ нему дружественно, называлъ его «добрымъ малымъ».

Новыя знакомства широко открывали передъ Пушкинымъ двери театра. Какъ новый «почетный гражданинъ кулисъ», онъ познакомился съ молодой, только что дебютировавшей артисткой Колосовой и не могъ не оцѣнить ея таланта, хотя, въ качествѣ члена Зеленой Лампы, былъ до того времени присяжнымъ поклонникомъ ея славной соперницы—Семеновой. Тутъ ему пришлось вскорѣ вторично испытать на себѣ благотворное вліяніе Катенина. Пушкину передали, будто бы Колосова назвала его «un sarajou»; самолюбивый поэтъ зло отомстилъ ни въ чемъ не повинной артисткѣ эпиграммой. Катенинъ съ Грибоѣдовымъ указывали ему на всю опрометчивость его поступка, заставляли его извиниться передъ Колосовой; Пушкинъ отвѣтилъ покаяннымъ стихотвореніемъ: «Кто мнѣ пришлетъ ея портретъ...» [1])

Таковы два факта, засвидѣтельствованные современниками; несомнѣнно, что свѣтская, широкая жизнь представляла ихъ на каждомъ шагу. Но уже и по этимъ двумъ образцамъ видно, въ какомъ направленіи шло личное вліяніе Катенина на Пушкина [2]), какъ сглаживались неровности пылкаго, нетерпимаго юношескаго характера.

Н. С. Тихонравовъ усматриваетъ частный фактъ этого вліянія, между прочимъ, въ (писавшейся около 1818 года) IV пѣснѣ «Руслана и Людмилы», гдѣ Пушкинъ помѣщаетъ пародію на «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» Жуковскаго съ слѣдующими словами:

Прости мнѣ, сѣверный Орфей,
Что въ повѣсти моей забавной
Теперь вослѣдъ тебѣ лечу
И лиру музы своенравной
Во *лжи* прелестной обличу.

---

[1]) Изъ воспоминаній А. М. Каратыгиной (Колосовой). Рус. Старина, 1880 г. т. 28, стр. 565—574.

[2]) Современники говорятъ, что даже въ манерахъ между обоими поэтами было много сходнаго. См. „Матеріалы“ П. И. Бартенева: Московскія Вѣдом. 1855 г. № 145.

Припомнимъ, что это печатно говорить въ 1820 году, т. е. когда еще не были забыты преданія Липецкаго потопа, юный арзамасецъ объ арзамасцѣ, добившемся тогда званія перваго поэта [1]).

Въ кружкѣ Шаховского, куда Пушкинъ вступилъ въ концѣ 1818 года, онъ занялъ второстепенное положеніе. Большинство членовъ этого кружка были уже люди съ большимъ или меньшимъ вѣсомъ и положеніемъ: самъ Шаховской, Лобановъ, Кокошкинъ, Хмельницкій, Я. Толстой, Катенинъ, многіе выдающіеся артисты, и среди нихъ—Пушкинъ, всего годъ, какъ сошедшій съ лицейской скамьи. Грибоѣдовъ съ Катенинымъ «ласкали талантливаго юношу, но относились къ нему, какъ старшіе къ младшему: онъ дорожилъ ихъ мнѣніемъ и какъ бы гордился ихъ пріязнью... Въ ихъ кругу онъ почти не имѣлъ голоса. Изрѣдка... будущій геній смѣшилъ ихъ остроумной шуткой, экспромптомъ или справедливымъ замѣчаніемъ» [2]) Но уже и тогда Катенинъ признавалъ въ молодомъ поэтѣ недюжинный сатирическій талантъ и называлъ Пушкина «le jeune M-r Arouet» (à rouer), и новоявленный Вольтеръ, польщенный, отъ души смѣялся этому каламбуру.

Только позднѣе онъ началъ критически относиться къ своему покровителю. Въ письмѣ своемъ къ Вяземскому (1820 г. мартъ) онъ уже не обинуясь, говоритъ, что Катенинъ «опоздалъ родиться и своимъ характеромъ и образомъ мыслей весь принадлежитъ XVIII столѣтію». Правда, въ этомъ отзывѣ несомнѣнное вліяніе имѣла личность кн. Вяземскаго, повидимому, сильно не жаловавшаго Катенина [3]), между тѣмъ какъ Пушкинъ преклонялся въ то время передъ сатирическимъ геніемъ своего друга и отзывъ о Катенинѣ написалъ, какъ намъ думается, отчасти и въ угоду Вяземскому: «Катенинъ, кажется, боится твоей сатирической палицы»—прибавляетъ

---

[1]) Соч. Тихонравова, т. III, ч. I, стр. 479.

[2]) Восп. Каратыгиной, Ibid.

[3]) Повидимому, къ Катенину относятся слѣдующіе стихи Вяземскаго въ посланіи его къ Дмитріеву:

... Что несноснѣе тѣхъ умниковъ спесивыхъ,
Нелѣпыхъ знатоковъ, судей многорѣчивыхъ,
Которыхъ всѣ права: надменность, пренья, шумъ!..

Соч. Вязямскаго, т. III, 295 стр.

онъ тутъ же; кромѣ того надо приписать долю вліянія извѣстной тенденціи Арзамаса отождествлять нравственныя и чисто-литературныя черты лицъ, а главную роль здѣсь игралъ, безспорно, строй складывавшихся литературныхъ убѣжденій Пушкина, потому что въ 1825 г. онъ писалъ Катенину: «Наша связь основана не на одинаковомъ образѣ мыслей, а на любви къ одинаковымъ занятіямъ». Это признаніе любопытно. Его нельзя обойти молчаніемъ, тѣмъ болѣе, что позднѣе, въ 1826 г., Пушкинъ писалъ снова Катенину: «Ты отучилъ меня отъ односторонности въ литературныхъ мнѣніяхъ, а односторонность есть пагуба мысли».

Заслуга Катенина передъ лицомъ исторіи русской литературы состоитъ, прежде всего, въ томъ, что онъ расширилъ литературный кругозоръ молодого Пушкина въ сторону французскаго классицизма. Въ библіотекѣ Серг. Львов. Пушкина сочиненія Расина, Корнеля и и др. классиковъ, конечно, были, и, предоставленный самому себѣ, мальчикъ проглотилъ ихъ еще до лицея; но можно ли принимать въ разсчетъ такое чтеніе при опредѣленіи вліянія французской поэзіи XVII вѣка на Пушкина? Въ лицеѣ его занимали другія темы; хотя въ реестрѣ своей библіотеки (стих. «Городокъ» 1814 года) онъ упоминаетъ Расина и Мольера, но на первомъ планѣ стояли никакъ не они, а Вольтеръ и писатели эротическаго пошиба—Вержье, Парни, Грекуръ, равно какъ «сочиненія, презрѣвшія печать»; въ лицейскихъ запискахъ его нѣтъ никакихъ упоминаній о французскихъ трагикахъ. Затѣмъ, съ осени 1820 г., Байронъ становится его настольной книгой, а въ 1822 г. въ письмѣ къ Катенину онъ уже пишетъ: «Сидъ кажется мнѣ лучшею его (Корнеля) трагедіею». Слѣд. Корнель прочитанъ уже внимательно весь. Это ознакомленіе приходится отнести къ періоду 1817—20 гг., и нѣтъ сомнѣнія, что это именно Катенинъ, какъ страстный поклонникъ и знатокъ французской трагедіи, воодушевилъ Пушкина къ ея изученію, а для арзамасца такое изученіе могло легко прослыть сближеніемъ съ «Бесѣдой».

Во-вторыхъ, Катенинъ пристрастилъ Пушкина къ театру, къ драматической техникѣ вообще. Въ 1821 г. Пушкинъ впервые набрасываетъ отрывокъ изъ комедіи въ стихахъ, программу комедіи [1]),

[1]) Катенинъ около того времени переводилъ стихами комедію Грессе „Le méchant“. Впрочемъ, Пушкинъ пишетъ ему въ 1822 г.: „Я не читалъ твоей комедіи“.

въ 1822 г. задумываетъ одну за другой двѣ драмы (одну изъ русской старины—изъ временъ правленія царевны Софьи). Интересъ его къ драматической техникѣ въ это время такъ великъ, что, оторванный отъ театра, занесенный въ Одессу, гдѣ тогда существовала только оперная сцена, Пушкинъ въ Михайловскомъ рѣшается приняться за трагедію. Съ воспоминаніями о петербургскомъ театрѣ для него въ это время связано имя Катенина; онъ вспоминаетъ это имя и черезъ 8 лѣтъ въ своихъ замѣткахъ «о драмѣ», гдѣ, набрасывая исторію русской трагедіи, онъ останавливается на трехъ именахъ: Сумароковѣ, Озеровѣ и Катенинѣ. О драматическихъ произведеніяхъ послѣдняго онъ отзывается въ самыхъ лучшихъ выраженіяхъ. Наконецъ, Катенинъ былъ, кажется, единственнымъ серьезнымъ театраломъ изъ людей, близкихъ къ Пушкину въ ту эпоху (1817—1820).

Намъ кажется, отсюда можно вывести безъ особенной натяжки заключеніе, что Катенинъ, какъ драматургъ и главнымъ образомъ какъ теоретикъ, произвелъ на Пушкина впечатлѣніе, сохраненное имъ на всю жизнь, даже тогда, когда роли ихъ перемѣнились, и центромъ взаимныхъ отношеній сдѣлалась уже не личность Катенина, а геній Пушкина. Въ письмахъ къ Катенину Пушкинъ нерѣдко преувеличивалъ то уваженіе, которое могъ питать къ своему собрату. Самолюбію Катенина это, однако, льстило. «Какой авторъ не любитъ похвалъ?»—пишетъ онъ Пушкину;—«кому онѣ не вдвое лестны покажутся изъ устъ твоихъ? Но это голосъ Сирены». И въ этомъ Катенинъ былъ, повидимому, правъ; по крайней мѣрѣ, позднѣйшая переписка обоихъ поэтовъ производитъ впечатлѣніе очень любезнаго, предупредительнаго, но не совсѣмъ искренняго (со стороны Пушкина) обмѣна комплиментовъ. Трудно допустить, чтобы Пушкинъ серьезно называлъ Катенина «Эсхиломъ», признавалъ въ немъ «прекрасный поэтическій талантъ», воскресившій «Корнеля геній величавый», считалъ тяжелую и вялую его «Андромаху» за «можетъ быть, лучшее произведеніе нашей драмы по силѣ истинныхъ чувствъ, по духу истинно трагическому»; трудно допустить, чтобы Пушкинъ былъ искрененъ, когда писалъ Катенину: «Душа проситъ твоихъ стиховъ»... «Твой успѣхъ не можетъ быть для меня чуждымъ». «Ты сдѣлаешь переворотъ въ нашей словесности, и никто болѣе тебя того не достоинъ». «Кому же, какъ не тебѣ, забрать въ руки общее мнѣніе и дать нашей словесности новое, истинное направленіе»:

Всѣ эти восторженные отзывы, встрѣчающіеся въ письмахъ, адресованныхъ Пушкинымъ къ Катенину, въ письмахъ его къ другимъ лицамъ не только не повторяются, но смѣняются иногда заявленіемъ, что Катенинъ опоздалъ родиться, иногда просьбой «стравить» его съ Бестужевымъ. Пушкинъ вообще былъ довольно быстръ на самые лестные отзывы лицамъ, которыя ихъ или вовсе не заслуживали, или заслуживали мало [1]). Съ высоты своего поэтическаго величія онъ смотрѣлъ на своихъ собратій очень снисходительно и не скупился на похвалы.

Легче всего предположить, что на самомъ дѣлѣ онъ, можетъ быть, даже подсмѣивался надъ Катенинымъ, какъ поэтомъ, и прощалъ ему слабости его, какъ человѣка, ради уваженія, которое питалъ къ нему, какъ критику,—къ его стойкимъ убѣжденіямъ и знаніямъ. Выпуская въ свѣтъ «Бориса Годунова» въ сильнѣйшей тревогѣ за успѣхъ своего взлелѣяннаго дѣтища, Пушкинъ изъ всѣхъ критиковъ полагался на мнѣніе одного Катенина: «Любопытно будетъ видѣть»—писалъ онъ Плетневу—«отзывъ нашихъ Шлегелей, изъ коихъ одинъ Катенинъ знаетъ свое дѣло». Въ немъ же Пушкинъ видѣлъ дѣятельнаго сотрудника для своего *критическаго* журнала, задуманнаго еще въ 1826 году. «Жаль, что съ Катенинымъ ты никакъ не ладишь» обращается онъ къ Вяземскому: «а для журнала онъ находка».

Для своего времени критическіе пріемы Катенина были, дѣйствительно, находкой. Уже помимо того, что онъ за правило себѣ поставилъ говорить о предметѣ, только хорошо знакомомъ, и что онъ, какъ «судія благоразумный», старался «постигнуть часто сокровенныя мысли и чувства поэта, войти въ него, его глазами все осмотрѣть, и послѣ уже, повѣряя сіи личныя понятія и побужденія

---

[1]) Наприм. письмо къ Погодину (№ 256),—гдѣ его „Марѳа“ приравнивается къ Шекспировскимъ вещамъ.—Генералу Ушакову (№ 462): „Вы мнѣ даровали безсмертіе одною чертою Вашего пера“.—Брату Льву о Плетневѣ: „... Онъ (слогъ Плетнева) не имѣетъ никакого чувства, никакой живости; слогъ его блѣденъ, такъ мертвецъ. Кланяйся ему отъ меня и увѣрь его, что онъ нашъ Гете“. Черезъ нѣсколько дней самому Плетневу (№ 33): „Собирался отвѣчать тебѣ стихами, достойными твоихъ, но отложилъ попеченіе. Твоя гармонія, поэтическая точность, благородство выраженій, стройность, чистота въ отдѣлкѣ плѣняютъ меня“. И дальше: „Извини мое чистосердечіе“.

Ср. также письма №№ 103, 114, 414, 451.

съ неизмѣнными правилами природы и здраваго смысла, осмѣливался надъ ними свое сужденіе произнести» [1]), не говоря уже объ этихъ почтенныхъ пріемахъ литературной критики, необходимо отмѣтить, что еще въ 1822 г. Катенинъ явился русскимъ пропагандистомъ того критическаго принципа, который получилъ право гражданства позднѣе, во Франціи, въ школѣ Сентъ-Бёва: въ письмѣ къ Гречу [2]) по поводу его «Опыта краткой исторіи русской литературы» онъ писалъ: «Если бъ по примѣру Женгене и Сисмонди вы показывали тѣсную связь жизни автора съ его твореніями, это было бы весьма любопытно».

IV.

Остается досказать факты изъ біографіи Катенина. Служба его въ Преображенскомъ полку была довольно счастлива: въ 1820 г.— онъ былъ произведенъ въ полковники [3]) и назначенъ командиромъ 1-го батальона Преображенскаго полка. Этотъ батальонъ занималъ привилегированное положеніе сравнительно съ другими: онъ помѣщался въ казармахъ на Милліонной, при чемъ казармы эти посредствомъ двухъ крытыхъ стеклянныхъ галлерей соединялись черезъ Эрмитажъ съ Зимнимъ дворцомъ, и Императоръ Александръ приходилъ туда каждое утро [4]). Блестящая карьера, ожидавшая молодого полковника, прервалась, какъ мы видѣли, въ 1820 г., а въ 1822 его постигла высылка [5]). 5 декабря этого года, еле успѣвъ привести дѣла въ порядокъ и захвативъ съ собой свою библіотеку, Катенинъ выѣхалъ въ Костромскую губ., въ свое родовое имѣнье.

Театръ и общество, эстетическое наслажденіе и живой обмѣнъ мыслей—все было у него отнято. Въ Москву онъ не поѣхалъ, потому что у него не было тамъ никого знакомаго, да и самолюбіе

---

[1]) Лит. Газ. 1830 г., № 20, стр. 159.

[2]) Сынъ Отечества, 1822 г., ч. 76, стр. 255.

[3]) Въ 1816 г. получилъ чинъ штабсъ-капитана, въ 1818—капитана.

[4]) Въ маѣ 1816 г. послѣ представленія у вдовств. императрицы въ присутствіи Государя, „Эсеири“, шедшей въ переводѣ Катенина, переводчикъ „былъ удостоенъ приглашенія на ужинъ Царской Фамиліи и драгоцѣннаго подарка“ См. Рус. Стар. 1880 г., № 10, стр. 268. „Катенинъ—Царскій постельничій“ —пишетъ, вѣроятно по этому поводу, Воейковъ въ своемъ „Парнасскомъ“ адресъ-календарѣ.

[5]) Объ этомъ у Каратыгина, Арапова, Пѣтухова, Ярцева (Московск. Вѣдом. 1892 г., № 343).

его скорѣе готово было удовлетвориться ролью опальнаго изгнанника, чѣмъ высланнаго изъ столицы за недостойное поведеніе. Самъ себя виноватымъ онъ считать, конечно, не могъ, и это сознаніе правоты вмѣстѣ съ неизвѣстностью будущаго раздражали и усиливали тяжелый гнетъ деревенской жизни. «На бѣломъ свѣтѣ все такъ хорошо устроено»—писалъ онъ съ горькой иронією въ 1823 г.—«дружба такъ горяча, справедливость такъ быстра, что я успѣю сгнить въ Кологривѣ прежде, нежели кто-нибудь вздумаетъ мнѣ помочь; и чѣмъ я правѣе, тѣмъ хуже для меня: нѣтъ вины, стало и прощать нечего, а сознаться самимъ въ ошибкѣ или несправедливости—это слыветъ не по чину» [1]). Изрѣдка заѣзжалъ къ нему въ деревню кто-нибудь изъ товарищей или самъ онъ отправлялся на нѣкоторое время то въ Чухлому, то въ Ростовъ или Кострому, но большею частью жилъ безвыѣздно въ своей деревнѣ. «Живу я въ лѣсу, въ дичи, въ глуши, въ одиночествѣ» писалъ онъ: «иного общества у меня нѣтъ, кромѣ книгъ. Скука одолѣваетъ меня въ моей кельѣ; я теряю аппетитъ, желудокъ плохъ и вообще здоровье не ладно». Къ этому присоединились матеріальныя невзгоды, тяжба, которую пришлось затѣять; изъ Петербурга приходили къ нему извѣстія о литературной интригѣ противъ него—все это отнимало у него энергію и желаніе дальнѣйшей работы. Онъ рѣшилъ, что «стихоплетъ, если онъ благоразуменъ, долженъ прекратить свою работу, коль скоро не можетъ ни побѣдить вкуса и идей своихъ читателей, ни сообразоваться съ ними; чѣмъ болѣе онъ сталъ бы писать, тѣмъ болѣе навлекъ бы на себя враговъ и гонителей». «Carmina nulla canam».

Надежды на возвращеніе съ каждымъ днемъ становилось меньше: Въ началѣ 1825 г. Катенинъ «содрогнулся при мысли объ этомъ инквизиціонномъ духѣ, объ этой желтухѣ, которая заставляетъ предубѣжденными глазами видѣть все въ желчномъ свѣтѣ и находить революціонныя правила во всѣхъ поступкахъ порядочныхъ людей». Дѣйствовать же самому, ходатайствовать о прощеніи Катенинъ не хотѣлъ.

Въ октябрѣ 1824 Государь изъ своей поѣздки возвращался въ Петербургъ черезъ Вятку и Кологривъ и проѣзжалъ по его имѣнью. Катенинъ въ это время былъ въ Ростовѣ. Государь, дѣйствительно

[1]) „Рус. Старина“, 1893 г., № 3, 8-ое письмо къ Колосовой.

заѣзжалъ въ его деревню и спрашивалъ хозяина. Петербургскіе друзья поэта, Грибоѣдовъ и Каратыгинъ, начали его уговаривать обратиться къ Государю съ просьбой о возвращеніи. Онъ поддался ихъ увѣщаніямъ. 19 марта 1825 г. прошеніе было отправлено, а въ концѣ мая получено Высочайшее разрѣшеніе на въѣздъ въ столицу.

Катенинъ сразу переродился. Забывъ свое рѣшеніе бросить поэтическое поприще, онъ тотчасъ началъ мечтать о томъ, чтобы нанести ударъ «затемнѣнію понятій новыхъ трагиковъ, ихъ невѣжеству насчетъ греческаго театра и порчѣ вкуса». Такія надежды онъ возлагалъ на «Андромаху», любимое свое произведеніе, задуманное еще въ 1809 г. и съ перерывами законченное въ 1818 г.: сюда онъ вложилъ весь свой сценическій опытъ, всю свою любовь къ театру. Но и при всемъ томъ, пьеса эта—не больше, какая холодная, но строго-отчетливая копія съ французскихъ образцовъ. Публика и дирекція это чувствовали. Вопросъ о постановкѣ «Андромахи» на сцену поднимался нѣсколько разъ; въ 1827 г. постановка опять затягивалась, вслѣдствіе неблагопріятнаго отзыва Семеновой, представленнаго ею въ театральный комитетъ (новый театральный уставъ 1827 г. значительно стѣснялъ авторовъ въ принятіи ихъ пьесъ на сцену). Всѣ эти проволочки и непріятности такъ повліяли на Катенина, что онъ рѣшился снова уѣхать въ деревню. «Утѣшаюсь мыслью»—писалъ онъ,—«что какъ бы ни приняли «Андромаху», разница будетъ для меня въ томъ только, что я съ бо̀льшимъ или меньшимъ отвращеніемъ сойду съ поприща, на которое никому пускаться не желаю». «Андромаха» успѣха не имѣла, и оскорбленный авторъ покинулъ Петербургъ.

Онъ возвратился въ него только въ 1832 г.; но разладъ его съ обществомъ къ тому времени не только не прекратился, но сталъ замѣтно рѣзче. Въ концѣ этого года вышли въ свѣтъ сочиненія его въ отдѣльномъ изданіи; критика откликнулась нѣсколькими отзывами, изъ которыхъ статья «Московскаго Телеграфа» представляетъ наибольшій интересъ. Полевой доказывалъ, что онъ не принадлежитъ «ни къ одной изъ тѣхъ партій, которыя развѣвали знамена за мнѣнія г. Катенина», что всѣ эти партіи «совершили свое дѣло и уже остаются только въ исторіи литературы», что «нынѣшнее направленіе словесности гораздо обширнѣе и объемлющѣе прежнихъ»; касаясь лично Катенина, Полевой говорилъ, что «онъ нисколько не

владѣетъ ни стихомъ, ни языкомъ», что при всѣхъ своихъ «лѣшихъ и предметахъ простонародныхъ» онъ вовсе не оригиналенъ въ своей поэзіи, такъ какъ «оригинальность заключается не въ самихъ предметахъ, а во взглядѣ, въ душѣ того, кто описываетъ ихъ»; что поэзія не наука, что недостаточно понимать сущность ея, чтобы быть поэтомъ, а надо имѣть прирожденный талантъ; что, наконецъ, журналъ—не складочное мѣсто всевозможныхъ мнѣній, какъ принято было прежде думать, какъ думаетъ и Катенинъ, а—«выраженіе извѣстнаго рода мнѣній въ литературѣ» [1]) и т. п.

Всѣ эти истины, которыя съ такимъ жаромъ развивалъ Полевой въ настоящее время кажутся общими мѣстами, но можно себѣ представить, какое впечатлѣніе производили онѣ въ 30-хъ годахъ на поклонниковъ Ломоносова и Державина! Катенинъ объяснялъ это отрицательное отношеніе критики 30-хъ годовъ къ себѣ личной враждой, какъ и прежде онъ склоненъ былъ объяснять ею свой неуспѣхъ на поэтической дорогѣ. Но такъ или иначе, онъ не могъ не замѣтить, что между нимъ и молодымъ поколѣніемъ легла цѣлая бездна, черезъ которую нельзя было ни перейти, ни подать другъ другу руки; да онъ и не имѣлъ никакого желанія это дѣлать: онъ считалъ себя правымъ и оскорбленнымъ. За себя онъ видѣлъ двухъ—трехъ товарищей; противъ себя—«наводненіе дурного вкуса, романтизмъ, педантизмъ, невѣжество и шайки». «Однажды навсегда жребій мой брошенъ—писалъ онъ 23-го декабря 1829 г. Бахтину:—по грѣхамъ моимъ я литераторъ; службу я оставилъ, кажется, навсегда; богатства у меня едва достаетъ, чтобы съ горемъ, скукой и нуждой жить; семейства я не имѣю, стало, живѣйшія мои желанія и чувства обращены на одинъ предметъ, на обрѣтеніе нѣкотораго уваженія и похвалы, какъ писатель, при жизни и по смерти. Всѣ непріятности, испытанныя мною по сей части, не отвадили, а развѣ болѣе поощрили всей силой бороться, и рано ли, поздно ли, побѣдить или лечь на полѣ сраженія».

Въ 1834 г. онъ въ послѣдній разъ выступилъ въ литературѣ съ небольшой сказкой («Княжна Мидуша»), сильно напоминающей «Руслана и Людмилу» какъ по общей композиціи, такъ особенно по

---

[1]) „Москов. Телеграфъ", 1833 г.: апрѣль, стр. 562—72 и іюнь, стр. 594—611.

тому не-русскому, quasi—народному духу, проникающему оба эти произведенія. Публика, прочитавшая уже «Вечера на хуторѣ», видѣвшая расцвѣтъ Пушкинскаго генія, не накинулась на «Милушу», не нашла въ ней «народной струи», какъ находила это прежде въ стихахъ Катенина, а критика прямо указывала на слѣды «особеннаго знакомства съ итальянскою поэзіей» [1]).

Разрывъ Катенина съ обществомъ и текущей литературой выразился, между прочимъ, и въ вступленіи его въ число членовъ Россійской Академіи. Учрежденіе это въ 30-хъ годахъ носило въ себѣ всѣ признаки разложенія: не было никакихъ связей между академіей и литературой.

Но и въ этой, повидимому, благопріятной для него средѣ, Катенинъ не сумѣлъ ужиться [2]). Въ 1834 г. онъ бросился на Кавказъ, въ дѣйствующую армію; и здѣсь пробылъ не долго; въ 1838 г. онъ подалъ въ отставку (опять по непріятности) и уже окончательно поселился въ своей деревнѣ.

Одно было для него несомнѣнно: что прошли его времена, его блестящая молодость, поэтическая карьера, что со всѣхъ сторонъ надвигается что-то странное, чуждое, непріятное, и что самъ онъ «средь новыхъ поколѣній докучный гость, и лишній, и чужой». Жизнь, давшая ему столько богатствъ, сколько рѣдко выпадаетъ на долю одного человѣка, не позаботилась объ одномъ — дать ему и средства воспользоваться этими богатствами, она не поглотила его нравственной природы, не отвѣтила на его нравственные запросы. Въ будущемъ для него не было цѣли, въ настоящемъ смысла. Та двойственность природы, которая была замѣтна въ немъ и раньше, превращалась постепенно въ страшную раздвоенность міросозерцанія: «Становлюсь скептикъ и фаталистъ вкупѣ» — пишетъ онъ Пушкину въ 1835 г.: «сомнѣваюсь во всемъ, кромѣ непонятной силы, увлекающей всѣхъ и каждаго, вопреки собственному желанію, безразсудно, слѣпо и неодолимо». Характеръ его становился все тяжелѣе, онъ не выносилъ противорѣчій, сдѣлался желченъ, нервенъ, раздражителенъ. Скоро ему трудно стало поддерживать свое суще-

---

[1]) „Молва", 1834. ч. XX, № 14, стр. 219.

[2]) См. Сухомлиновъ, „Исторія Росс. Академіи: т. VII, 89—91; VIII, 345—6.

ствованіе безъ возбуждающихъ средствъ. Постепенно онъ опускался все ниже и ниже.

Пятнадцать лѣтъ безвыѣздно прожилъ онъ еще въ деревнѣ. Иногда онъ обращался къ своимъ любимымъ поэтамъ, къ своей музѣ. Онъ продолжалъ воспѣвать какой-нибудь «стенящій Понтъ, громами оглушенный» и т. п., когда ѣдкій Гоголевскій смѣхъ давнымъ давно прогналъ уже всякіе громы со сцены русской литературы; онъ продолжалъ видѣть въ Гоголѣ одно площадное холопство и молиться на своихъ классическихъ кумировъ— Корнеля и Расина, когда, благодаря именно Гоголевскому смѣху, все, что было молодо, въ комъ горячо билось человѣческое сердце, шло на борьбу съ властью тьмы—съ своими лучшими силами. Катенинъ не былъ въ ихъ числѣ, но не по недостатку человѣческаго сочувствія. Еще въ 1828 г. онъ умѣлъ забывать свои помѣщичьи интересы ради положенія *своихъ* крестьянъ. Онъ писалъ въ письмѣ Бахтину: «Чѣмъ долѣе живу въ отдаленной нашей сторонѣ, тѣмъ сильнѣе удостовѣряюсь, что здѣсь то именно трудъ и есть, котораго уже плоды красуются на вѣтвяхъ и забываютъ о бѣдныхъ корняхъ, роющихъ землю въ темнотѣ. Сельская тишина, миръ полей— пустыя, безсмысленныя слова столичныхъ богатыхъ жителей, не имѣющихъ никакого понятія о томъ, какъ трудно хлѣбъ сѣять, платить подати, ставить рекрутъ и какъ нибудь жить». Казалось бы, далеко ли отсюда до симпатіи къ тому же Гоголю, къ гуманнымъ чувствамъ «натуральной» школы? А между тѣмъ это было только сочувствіе личное, дѣло совѣсти, гдѣ между нимъ и Богомъ нѣтъ и не можетъ быть посредниковъ. До крестьянъ чужихъ, до крестьянъ, какъ цѣлаго класса, ему, конечно, не было никакого дѣла. Это было полное отсутствіе *общественнаго* сознанія. Онъ принадлежалъ прошлому. Въ его лицѣ умирала цѣлая *литературная* эпоха, умирала поэзія, которая была для него дѣломъ кабинета и кружка товарищей-единомышленниковъ, которая не касалась обыденныхъ мелочей повседневной жизни, не хотѣла удовлетворять служебнымъ цѣлямъ. Для Катенина, какъ и для Пушкина, только та жизнь получила бы полноту нравственнаго смысла, которая была бы исключительно создана «для звуковъ сладкихъ и молитвъ», для эстетическаго наслажденія обособленной, самодовлѣющей личности. Катенинъ любилъ представлять себѣ геній трагика творящимъ «безо

всѣхъ постороннихъ пособій, въ мірѣ отдѣльномъ отъ окружающихъ его» [1]).

Мудрено ли, что когда кружокъ молодыхъ, еще «не признанныхъ» литераторовъ сталъ заявлять, что *такая* поэзія не исчерпываетъ всей глубины человѣческаго предназначенія, а нуждается въ твердыхъ гражданскихъ основаніяхъ; когда ему стали заявлять, что «поэтомъ можешь ты не быть, а гражданиномъ быть обязанъ»,—онъ почувствовалъ себя совершенно чужимъ въ такой обстановкѣ и до послѣднихъ дней сохранилъ непріязненное чувство къ новому движенію. Въ этомъ упорствѣ сошедшаго съ жизненной сцены старика, кромѣ узкой нетерпимости, есть что-то и благородное, возвышающее душу стойкою преданностью тому, что разъ и навсегда было признано символомъ поэтической вѣры. Онъ дѣйствительно имѣлъ право завѣщать для своей могилы имъ же самимъ сочиненную надпись:

Павелъ, сынъ Александровъ,
Изъ роду Катениныхъ,
Честно отжилъ свой вѣкъ,
Служилъ отечеству *вѣрой* и *правдой*,
Въ Кульмѣ бился на смерть,
Но судьба его пощадила.
Зла не творилъ никому
И менѣ добра, чѣмъ хотѣлось [2]).

Эта надпись, гдѣ такъ удивительно смѣшалась полу-дѣтская наивность съ униженіемъ паче гордости,—развѣ она не дышитъ отжившей стариной до-реформенной, Александровской Россіи? Если можно такъ выразиться, Катенинъ былъ яркимъ, но холоднымъ лучемъ именно этой Александровской культуры, однимъ изъ тѣхъ лучей, которые, какъ въ фокусѣ, собрались и отразились въ нашемъ неугасномъ свѣточѣ—въ Пушкинѣ. А потомъ онъ уже не доработался ни до какого примиренія съ новымъ порядкомъ вещей, не прибавилъ ни одной новой, смягчающей черты къ своему первоначальному суровому литературному облику.

В. Миллеръ.

---

[1]) „Лит. Газ.“, 1830 г., № 72, стр. 292.

[2]) Эта надпись сообщена намъ родственникомъ Катенина А. А. Катенинымъ, которому приносимъ свою глубокую благодарность за сообщеніе нѣкоторыхъ фамильныхъ документовъ.

Печатая въ «Пушкинскомъ Сборникѣ» свой рефератъ, пользуюсь случаемъ, чтобы выразить мою искреннюю признательность и глубокую благодарность Николаю Платоновичу Барсукову, автору книги «Жизнь и труды М. П. Погодина», любезно снабдившему меня этою книгою, оказавшею мнѣ существенную помощь при разрѣшеніи нѣкоторыхъ вопросовъ.

Студентъ Историко-филологическаго факультета (Словеснаго отдѣленія) 6-го семестра *Ѳедоръ Некрасовъ*.

Москва. 1899 года,
марта 30 дня.

Д. В. Веневитиновъ, какъ поэтъ и критикъ, „Московскій Вѣстникъ", журналъ русскихъ шеллингіанцевъ Веневитиновскаго кружка, и А. С. Пушкинъ; ихъ взаимныя историко-литературныя отношенія.

Извѣстный знатокъ А. С. Пушкина, П. В. Анненковъ, въ книгѣ «Матеріалы для біографіи А. С. Пушкина и оцѣнки его произведеній» писалъ: «Д. Веневитиновъ имѣлъ свою долю вліянія на Пушкина, какъ почти каждая замѣчательная личность, встрѣчавшаяся ему на пути» [1]).

На чемъ основывается такое заявленіе?

Если мы обратимся къ печатнымъ свидѣтельствамъ о личныхъ сношеніяхъ Пушкина съ Д. Веневитиновымъ, то найдемъ лишь слѣдующее. М. Веневитиновъ, дядя поэта Д. Веневитинова, въ небольшой замѣткѣ, помѣщенной въ «Историческомъ Вѣстникѣ» за 1884 годъ [2]), свидѣтельствуетъ только, что Веневитиновы были въ родствѣ съ Пушкиными, хотя и не близкомъ, и что родственныя связи облегчили знакомство П. съ В—нымъ. Тотъ же М. В—овъ въ «Русскомъ Архивѣ» за 1885-й годъ (№ 1) напечаталъ цѣлую статью о своемъ племянникѣ, но въ интересующемъ насъ вопросѣ личныхъ отноше-

---

[1]) См. стр. 177.

[2]) т. XVII, стр. 469 и 470.

ній между поэтами, дѣло ограничивается только сообщеніемъ слѣдующаго рода: «Свойство съ семействомъ П—ыхъ объясняетъ быстроту, съ которой Александръ Сергѣевичъ, по прибытіи въ Москву послѣ коронаціи въ 1826 году, поспѣшилъ сойтись съ молодыми В—ыми и ихъ друзьями, изъ которыхъ только С. А. Соболевскій былъ знакомъ съ П—мъ до его ссылки на югъ Россіи.... Пушкинъ пріѣхалъ въ Москву 8-го сентября,... чрезъ нѣсколько дней происходило чтеніе Бориса Годунова въ домѣ у В—ыхъ.... Отецъ и дядя поэта, Сергѣй и Василій Львовичи, были, какъ родственники, своими людьми въ дому у Оболенскихъ, братьевъ Анны Николаевны В — ой» [1]) (матери Д. В—а)—родство, какъ видите, очень не близкое. То, что находимъ по этому поводу у Погодина въ его «Воспоминаніяхъ» (см. «Русскій Архивъ» за 1865-й годъ), у Колюпанова въ «Біографіи И. А. Кошелева» (т. I, ч. 2, СПб. 1889 годъ) и у Н. Барсукова въ его книгѣ «Жизнь и труды М. П. Погодина», ничего существеннаго къ приведеннымъ уже нами сообщеніямъ не прибавляетъ. Мы указали всѣ печатныя свидѣтельства, на основаніи которыхъ мы можемъ судить о личныхъ сношеніяхъ П—а съ Д. В—ымъ. Но ни одно изъ нихъ не могло быть извѣстно Анненкову, по крайней мѣрѣ, въ печатномъ видѣ, такъ какъ всѣ они появились въ печати уже много спустя послѣ перваго изданія «Матеріаловъ». Очень возможно однако, что Анненковъ, когда писалъ вышеприведенныя слова, располагалъ тѣми рукописными или изустными данными, изъ которыхъ исходили въ своихъ сообщеніяхъ Колюпановъ и Н. Барсуковъ,— относительно «Восп. Погод.» это почти не подлежитъ сомнѣнію—а также и какими-нибудь еще намъ теперь неизвѣстными свидѣтельствами, добытыми частнымъ образомъ отъ лицъ, лично знавшихъ и П—а, и В—а: всѣмъ извѣстно, съ какою тщательностью собиралъ Анненковъ отовсюду свѣдѣнія о подробностяхъ жизни нашего великаго поэта [2]). Помимо такихъ данныхъ, Анненковъ, впрочемъ, могъ исходить въ своемъ сужденіи и изъ другихъ. Мы имѣемъ въ виду тѣ данныя, которыя могъ онъ извлечь изъ сравнительнаго изученія обоихъ поэтовъ и изслѣдованія отношеній, существовавшихъ между Пушкинымъ и журналомъ «Московскій Вѣстникъ», въ которомъ ца-

[1]) Стр. 118.

[2]) См. также „Матер.“ стр. 1, примѣч.

рилъ духъ В—а—эти послѣднія отношенія довольно ясно обрисовываются какъ изъ сочиненій самого П—а, такъ и изъ нѣкоторыхъ другихъ памятниковъ, которые были извѣстны Анненкову, и ихъ Анненковъ касается въ своей книгѣ, отводя, впрочемъ, по нашему мнѣнію, идеямъ «М. В.» слишкомъ большую роль въ дѣлѣ развитія таланта Пушкина, что̀ мы и надѣемся показать въ нижеслѣдующемъ изложеніи. Не имѣя въ рукахъ никакихъ рукописныхъ матеріаловъ, которыми, можетъ быть, располагалъ Анненковъ, мы вынуждены ограничиться только печатными свидѣтельствами.

Изъ вышесдѣланныхъ выдержекъ въ сущности трудно извлечь что-нибудь большее, чѣмъ то, что П. и Д. В. были знакомы между собою. Врядъ ли отношенія ихъ были особенно близки, интимны. Они не были, повидимому, въ перепискѣ; по крайней мѣрѣ, таковой не сохранилось. Впрочемъ, то обстоятельство, что личныя отношенія между поэтами не были близки, конечно, отнюдь не говоритъ еще противъ того, что В—въ имѣлъ «долю своего вліянія» на П—а.

Вліяніе могло быть—насколько большое и было ли оно въ дѣйствительности, это другой вопросъ,—но вліяніе исключительно почти писателя на писателя, т. е. вліяніе произведеній и идей одного на произведенія и идеи другого: для этого не требуется не только никакихъ родственныхъ связей, но даже и простого личнаго знакомства между писателями. Выясненіе этого вліянія, а также вліянія идей «М. В.», какъ журнала, во главѣ котораго стоялъ Д. В—овъ (хотя и не офиціально), и ставимъ мы задачей нашего реферата.

Д. В—овъ извѣстенъ у насъ болѣе какъ поэтъ, хотя имя его является въ сущности тѣсно связаннымъ не только съ исторіею русской поэзіи, но и русской мысли. По характеру своего поэтическаго дарованія Д. В—овъ близокъ къ германскому поэту Гёте, котораго цѣнилъ уже по этому одному очень высоко. Прельщала его въ Гёте гармонія мысли и чувства. И поэзія В—а въ высшей степени вдумчивая, полная философскихъ отголосковъ, глубокихъ мыслей, какъ и поэзія его идеала. Передъ вами въ поэзіи Д. В—а, какъ и въ поэзіи Гёте, «выступаетъ поэтически-созерцательный мыслитель, царь и властелинъ внутренняго міра души человѣка» [1]). Разница между

[1]) Бѣлинскій, VIII, 363.

этими поэтами однако есть, но только лишь въ степени развитія поэтическаго таланта: нашъ поэтъ еще не дорось до своего идеала, еще не доразвился, не обнаружилъ своего таланта во всей силѣ, которой, навѣрно, достигъ бы, если бы его не постигла такая ранняя смерть (Д. В — овъ умеръ на 22-мъ году своей жизни [1]). Д. В—овъ—почти единственный у насъ поэтъ-мыслитель. Былъ у насъ еще подобный же поэтъ. Это—Баратынскій. Но у Баратынскаго замѣчаемъ значительный перевѣсъ мысли надъ чувствомъ, вслѣдствіе чего нерѣдко находимъ у него блѣдные, безцвѣтные образы; въ поэзіи же Д. В—а находимъ полное, гармоническое сліяніе мысли и чувства. При этомъ всѣ стихотворенія В—а отличаются «искренностью чувства и отсутствіемъ чопорной изысканности какъ въ мысляхъ, такъ и въ выраженіяхъ» [2]) «Направленіе поэзіи» В — а, по мнѣнію его современника Плетнева, элегическое [3]). Сужденіе это справедливо, но только отчасти. Дѣйствительно, направленіе поэзіи В—а нельзя назвать вполнѣ жизнерадостнымъ, но нельзя назвать и грустнымъ. На нашъ взглядъ, ближе къ истинѣ мнѣніе г. Болдакова, который говоритъ, что, хотя въ нѣкоторыхъ изъ стихотвореній В—а и сказалось «пессемистическое настроеніе, разочарованіе, въ общемъ, однакоже, тонъ поэзіи В — а отличается свѣтлымъ взглядомъ на жизнь и возвышенною вѣрою въ судьбы человѣчества» [4]). — Зная общій характеръ поэзіи Д. В—а, зная, какъ высоко цѣнилъ П—ъ Баратынскаго, поэта однороднаго съ В—ымъ направленія, но менѣе его талантливаго [5]),—рѣчь о томъ, вполнѣ ли понималъ П—ъ Гёте и высоко ли ставилъ его, будетъ ниже — мы, и не имѣя отзывовъ П—а собственно о Д. В—ѣ, какъ поэтѣ, можемъ съ увѣренностью сказать, что П—ъ вполнѣ правильно и высоко цѣнилъ поэтическій талантъ В—а, сочувствовалъ тому направленію въ поэзіи, представителемъ котораго являлся В—ъ. Такимъ образомъ, сближеніе между двумя поэтами на этой почвѣ, т. е. сближеніе, обусловленное харак-

---

[1]) род. 14 сент. 1805 г., умеръ 15 марта 1827 года.

[2]) Энциклоп. Словарь; изд. Брокгаузъ и Ефронъ, полут. 10-й, стр. 903.

[3]) Энциклоп. Слов. Плюшара, т 9-й, стр. 367—8.

[4]) Энц. Слов. Бр. и Ефр., пол. 10-й, стр. 903.

[5]) Отзывы П—а о Бар. см., напр., въ письмѣ къ Погодину, 1828 года, 19 февраля; въ статьѣ „Баратынскій“ 1831 годъ; томъ IX собр. сочин. (по изданію А. С. Суворина, 1887 годъ) стр. 73 и друг.

теромъ ихъ поэзіи, взаимнымъ ея пониманіемъ—въ дальнѣйшемъ мы увидимъ, что и В—ъ въ общемъ вѣрно оцѣнивалъ произведенія П—а—было вполнѣ возможно и естественно. Еще В. Бѣлинскій говорилъ, что вліяніе П—а на В—а не подлежитъ сомнѣнію, но, впрочемъ, тутъ же добавлялъ, что «явнаго вліянія указать нельзя» [1]). Что касается вліянія поэзіи В—а на поэзію П—а, то тоже и въ этомъ случаѣ мы не можемъ указать «явныхъ слѣдовъ его», и мы склонны думать, что все дѣло ограничивалось скорѣе взаимнымъ пониманіемъ съ стороны обоихъ поэтовъ мотивовъ поэзіи каждаго изъ нихъ, чѣмъ вліяніемъ одного на другого, или иной разъ простымъ совпаденіемъ идей, обусловленныхъ общимъ настроеніемъ эпохи, господствовавшимъ въ то время взглядомъ на тотъ или иной предметъ. Любопытно, напримѣръ, сопоставить взгляды П—а и В—а на поэта и поэзію. Въ сущности у обоихъ мысль одна и та же, для обоихъ «поэтъ» и поэзія являются предметомъ своего рода культа [2]).— Это было ходячее въ то время мнѣніе. Вообще, если В—ъ и могъ вліять на П—а, то не какъ поэтъ самъ по себѣ, а какъ мыслитель, главнымъ образомъ какъ литературный критикъ, и могъ вліять не только онъ самъ, а также—и даже преимущественно—кружокъ Д. В—а: сношенія поэта съ самимъ В—ымъ были весьма не продолжительны [3]). Поэтому, намъ и надлежитъ обратить особенное вниманіе на этотъ кружокъ, связи П—а съ которымъ были довольно продолжительны, а затѣмъ и на его органъ, журналъ «Московскій Вѣстникъ», служившій проводникомъ его идей.

Выше мы сказали, что Д. В—овъ имѣетъ значеніе не только въ исторіи русской поэзіи, но и въ исторіи русской мысли. Это былъ одинъ изъ видныхъ русскихъ шеллингіанцевъ.

---

[1]) В. Бѣлин., собр., соч., т. VI, 65 стр.

[2]) У В—а см. стих. „Поэтъ“, „Жертвоприношеніе“, „Утѣшеніе“ „Я чувствую, во мнѣ горитъ“..., „Поэтъ и другъ“, „Послѣдніе стихи“; у П—а см. „Чернь“, „Поэтъ“, „Поэту“ и друг., также passim въ письмахъ и замѣткахъ разнаго рода (т. IX и VIII).

[3]) П—ъ познакомился съ В—ымъ 10 сент. 1826 года, а 15 марта 1827. года уже скончался. Личныя отношенія между поэтами, какъ мы показали выше, были къ тому же, повидимому, не особенно близки.

Философія, бывшая у насъ прежде достояніемъ духовныхъ учебныхъ заведеній, свѣтской наукой становится только со времени основанія Московскаго Университета. Шеллингіанство, впрочемъ, впервые явилось не въ Москвѣ, а въ Петербургѣ, гдѣ особенно усердными его проводниками были Велланскій, этотъ историческій основатель русскаго шеллингіанства, и Галичъ. Когда о философіи Шеллинга услыхали въ Московскомъ Университетѣ—это для насъ важнѣе, потому что Д. В—овъ—москвичъ, и слушалъ лекціи въ Московскомъ Университетѣ—рѣшить съ точностью, по словамъ г. Ив. Иванова [1]), трудно; но во всякомъ случаѣ достовѣрно извѣстно, что въ Московскомъ Университетѣ въ то время, когда В—овъ посѣщалъ его лекціи, было два профессора, которые въ своихъ лекціяхъ знакомили слушателей съ идеями шеллингіанства. Это были профессора, Павловъ и Давыдовъ, курсы которыхъ, какъ намъ извѣстно, особенно интересовали В—а. Конечно, справедливо мнѣніе г. Болдакова, что лекціи ихъ много способствовали развитію В—а въ духѣ шеллингіанства, но еще бо́льшее значеніе въ этомъ отношеніи, кажется, надо приписать тому кружку, который составляли изъ себя нѣкоторые даровитые и болѣе развитые студенты и посѣтители Университета, и въ которомъ молодые люди занимались самостоятельно философскими преніями и читали собственныя сочиненія на разныя отвлеченныя темы. Къ этому кружку принадлежалъ и Д. В — овъ. Въ подтвержденіе своего мнѣнія мы можемъ сослаться и на то, что философія Шеллинга не пользовалась особеннымъ уваженіемъ въ Московскомъ Университетѣ, и даже въ 1826 году, послѣ исторіи съ проф. Давыдовымъ, была окончательно устранена, какъ предметъ преподаванія. Погибъ Шеллингъ для «профессорской», по мѣткому выраженію г. Иванова [2]), философіи, но благодаря упомянутому кружку продолжала не меньше, если еще не больше, процвѣтать философія «студенческая»—все съ тѣмъ же Шеллингомъ во главѣ. Эти двѣ философіи имѣли одинъ источникъ. Обѣ черпали содержаніе изъ философіи германскихъ мыслителей, но между ними была великая разница въ цѣли и настроеніи, съ которыми изучался предметъ. Тогда какъ

---

[1]) См. „Исторію русской критики“, ч. I и II, изд. жур. „Міръ Божій“, стр. 295 и слѣд.

[2]) Стр. 280.

для «профессоровъ» философія была школьной спеціальностью, у «студентовъ» она быстро превратилась въ неисчерпаемый источникъ практическихъ идей въ художественной литературѣ и даже въ политикѣ. «Студенческая» философія получала такимъ образомъ то живое, жизненное примѣненіе, которое сообщило ей такое важное значеніе въ исторіи нашего просвѣщенія. При этомъ вообще надо замѣтить, что германская философія у насъ—за исключеніемъ только указанной выше «профессорской» философіи—не служила праздному любопытству и не была единственнымъ духовнымъ достояніемъ нашихъ философовъ и критиковъ 20-хъ, 30-хъ и 40-хъ годовъ, которые всѣ воспитывались на нѣмецкой философіи. «Она только давала *обобщенія* готовымъ фактамъ и идеямъ, она приводила въ систему понятія и стремленія, внушенныя вовсе, не ею, а силой, несравненно болѣе настоятельной — русской жизнью, русской политической и общественной исторіею» [1]). На системахъ нѣмецкихъ философовъ русскіе учились мыслить, вырабатывали себѣ извѣстныя «привычки мысли», по выраженію А. Н. Пыпина [2]), укрѣпляли свою мысль, при чемъ русскіе ученики германскихъ философовъ никогда не подчинялись вполнѣ своимъ учителямъ, никогда слѣпо не слѣдовали за ними (болѣе извѣстные и разительные примѣры: Бѣлинскій и Кирѣевскій). Совершенно ошибочно мнѣніе тѣхъ, которые говорятъ, что нѣмецкая философія *вызвала* къ жизни и практической дѣятельности «дремавшія» силы русскаго общества.

Возвращаемся къ судьбѣ того кружка студентовъ-философовъ, къ которому принадлежалъ В—овъ. Изъ него, послѣ окончанія его членами университетскаго курса наукъ, образовалось довольно многочисленное литературное общество. Въ центрѣ его стоялъ *Раичъ* [3]). По свидѣтельству Ив. Аксакова, «это былъ человѣкъ въ высшей степени оригинальный, безкорыстный, чистый, вѣчно пребывавшій въ мірѣ идиллическихъ мечтаній, самъ олицетворенная буколика, соединявшій солидность ученаго съ какимъ-то дѣвственнымъ поэтическимъ пыломъ и младенческимъ незлобіемъ» [4]). Бо́льшая часть свойствъ,

---

[1]) Ив. Ивановъ, 258.

[2]) „Характеристика литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“ СПб. 1890 г.

[3]) Извѣстный переводчикъ „Освобожденнаго Іерусалима“ Тассо.

[4]) Н. Барсуковъ „Жизнь и труды Погодина“, т. I, 161—2.

которыми охарактеризовалъ Ив. Аксаковъ Раича, принадлежала и прочимъ членамъ кружка. Всѣмъ безъ изъятія должно приписать чистоту, безкорыстіе убѣжденій и стремленій и «солидность ученаго», по крайней мѣрѣ, для того времени. Въ числѣ членовъ кружка (основанъ онъ въ 1823 году [1]) встрѣчаются имена съ будущей громкой литературной извѣстностью: князь Одоевскій, братья Кирѣевскіе, Полевой, Погодинъ, кн. Вяземскій, Д. Веневитиновъ и мн. др. Цѣли, представлявшіяся этому обществу, были чисто-литературнаго характера, такъ какъ вообще, какъ извѣстно, прогрессъ общественной жизни долгое время выражался у насъ исключительно въ сферѣ чисто-литературныхъ мнѣній, не имѣя возможности въ силу исторически создавшихся условій нашего гражданскаго и государственнаго строя захватить болѣе практическіе вопросы. Время основанія Раичевскаго общества совпадало приблизительно съ временемъ вторженія въ русскую литературу романтизма. Въ 1820 году вышла изъ печати первая поэма А. С. Пушкина «Русланъ и Людмила»— эта боевая перчатка, брошенная новымъ направленіемъ классицизму. Возгорѣлась жаркая борьба между старымъ и новымъ поколѣніемъ, между классиками и романтиками. Общество состояло изъ представителей новаго направленія. Воспитавшись на философіи Шеллинга, романтики вполнѣ могли найти себѣ оправданія въ ней. Философія Шеллинга именно и отличается тѣмъ, что ее могли съ успѣхомъ усвоивать люди самыхъ различныхъ направленій и самой разнообразной психической организаціи. Она могла удовлетворить и естествоиспытателя съ его стремленіями къ яснымъ, практически обоснованнымъ выводамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ носила, такъ сказать, вдохновенный характеръ, доходившій даже до того, что Шеллинга прямо можно назвать философомъ— поэтомъ. Философія Шеллинга вообще была преисполнена цѣлаго ряда противорѣчій, и Шеллингъ никогда не далъ цѣльной системы, философія его такъ и не вылилась въ стройную, логически построенную, во всѣхъ частяхъ законченную систему, какую далъ, напримѣръ, Гегель. Изъ школы шеллингіанцевъ вышелъ и такой человѣкъ, какъ Полевой, который, будучи рьянымъ противникомъ классицизма, въ спорѣ съ Д. Веневитиновымъ, тоже романтикомъ, по поводу пер-

[1]) Барсуковъ, I. 212.

вой главы «Евгенія Онѣгина» писалъ: «Я очень понималъ, что говорю, когда неопредѣленнымъ, неизъяснимымъ состояніемъ человѣческаго сердца, хотѣлъ означить сущность и причину романтической поэзіи» [1]),—на что противникъ его, тоже шеллингистъ, весьма резонно возражалъ, что «такое опредѣленіе ничего не опредѣляетъ и не разъясняетъ». [2])—Шеллингъ прямо говоритъ, что душа не выразима рѣчью, что творческія идеи никогда не могутъ быть переданы словами, что каждая рѣчь обманъ и для насъ, и для нашихъ собесѣдниковъ [3]). Разъ рѣчь и вообще всякій внѣшній способъ выраженія идей — обманъ даже и тогда, когда стремленія души вполнѣ опредѣленны, сознаны ею самою [4]), то что же должно быть въ томъ случаѣ, когда рѣчь должна выражать «неопредѣленное и неизъяснимое состояніе человѣческаго сердца»? Очевидно, Полевой возводилъ въ принципъ—и имѣлъ полное право дѣлать это, исходя изъ нѣкоторыхъ положеній шеллинговой философіи—романтическую неясность, неопредѣленность стремленій, мало сознательные порывы въ заоблачныя сферы.

Къ этой же школѣ шеллингіанцевъ принадлежалъ и Д. В—овъ. Онъ однако самымъ первымъ и непремѣннымъ условіемъ ставилъ ясность мысли, стремился, можно сказать, къ идеальной ясности и самой мысли, и ея выраженія. Въ письмѣ къ княжнѣ А. И. Трубецкой, намѣреваясь въ цѣломъ рядѣ писемъ, которыхъ однако за смертью В—а не послѣдовало, развить всю «систему философіи», представить, «какъ всѣ науки сводятся на философію и изъ нея обратно выводятся» [5]), говоритъ: «Начиная письма мои, прошу Васъ не забывать одного условія, и вотъ оно: если я на одну минуту перестану быть яснымъ, то изорвите мои письма, запретите мнѣ

---

[1]) „Московскій Телеграфъ“ 1825 годъ, № 15; особ. прибавл., стр. 4; также „Собр. Сочин. Д. В—а“, изд. подъ ред. Пятковскаго, (1862 года), стр. 218.

[2]) Собр. соч. В—а., 218.

[3]) См. Собр. соч. кн. Одоевскаго, т. I „Русскія Ночи“.

[4]) Въ примѣръ этого Одоевскій приводитъ Бетховена, который всегда жаловался на то, что онъ въ своихъ твореніяхъ не выразилъ и половины того, что чувствовалъ, хотя чувства его для него самого были вполнѣ опредѣленны, онъ отчетливо сознавалъ ихъ.

[5]) Соч. В—а, 179.

писать объ этомъ предметѣ» [1]). И правъ былъ В. Бѣлинскій, когда писалъ о Д. В—ѣ, что его направленіе было дѣйствительно идеальное, а не мечтательно-идеальное [2]). Этимъ правиломъ всегда отдавать себѣ ясный отчетъ въ своихъ мысляхъ и стремленіяхъ Д. В—овъ отчасти обязанъ своимъ занятіямъ естественными науками, которыя обыкновенно пріучаютъ человѣка стремиться къ отчетливости и въ мысляхъ, и въ ихъ словесномъ выраженіи и тѣмъ, что постоянно приводятъ его въ соприкосновеніе съ дѣйствительностью, природой и матеріею, удерживаютъ отъ несбыточныхъ мечтаній и полетовъ въ заоблачныя сферы,—В—овъ, какъ намъ извѣстно, съ особеннымъ интересомъ занимался въ Московскомъ Университетѣ анатоміею подъ руководствомъ профессора Лодера—отчасти тому обстоятельству, что принадлежалъ, послѣ участія въ «студенческомъ» философскомъ кружкѣ, къ «Обществу Любомудрія».—Полевой же вовсе, насколько намъ извѣстно, не занимался систематическимъ изученіемъ ни философіи вообще, ни шеллинговой въ частности, не получилъ даже никакого систематическаго образованія, тогда какъ В—овъ получилъ самое тщательное и воспитаніе, и образованіе [3]).

В—овъ, какъ и нѣкоторые другіе члены литературнаго общества, принадлежалъ къ знаменитымъ «архивнымъ юношамъ», увѣковѣченнымъ П—мъ [4]). Эти юноши, служившіе въ Архивѣ коллегіи иностранныхъ дѣлъ, составляли цвѣтъ тогдашней московской молодежи. По свидѣтельству Кошелева [5]), «начальство было очень мило», оно не требовало отъ служащихъ «большей работы», такъ что юноши вполнѣ могли предаваться «бесѣдамъ, которыя сперва стояли у нихъ на первомъ планѣ», уступивъ за тѣмъ мѣсто писанію сказокъ, «такъ чтобы каждая изъ нихъ писалась всѣми ими». Пятеро изъ этихъ архивныхъ юношей: кн. Одоевскій, Ив. Кирѣевскій, Н. Рожалинъ, И. Кошелевъ и Д. В—овъ — однако не удовольствовались такимъ препровожденіемъ времени и составили изъ себя особое «Общество

---

[1]) Соч. В—а, 175.

[2]) Бѣлин.. т. VI, 65—6.

[3]) См. объ этомъ у Пятковскаго въ біографіи Д. В—а, при собраніи сочиненій, также у Н. Барсукова и у Колюпанова въ біографіи Кошелева.

[4]) См. VII главу „Евг. Онѣгина“, строфу 49.

[5]) См. біографію Кошелева, написанную Колюпановымъ, а также Н. Барсукова „Жизнь и труды Погод.“ т. I, 301—302.

любомудрія», собиравшееся тайно отъ прочихъ товарищей. Здѣсь царила исключительно нѣмецкая философія: Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Окенъ и др. На собраніяхъ этого общества всего болѣе обыкновенно говорилъ Д. В—овъ и приводилъ, по свидѣтельству Кошелева, всѣхъ въ восторгъ. Здѣсь читалъ онъ свои прозаическіе наброски: «Скульптура, живопись и музыка», «Утро, полдень, вечеръ и ночь» и «Бесѣды Платона съ Александромъ»—представляющіе—послѣдній даже и по самой своей формѣ—весьма удачное подражаніе діалогамъ Платона и по развитію мыслей, и по поэтическому тону. Изъ нихъ видно, что мысль В—а уже вполнѣ окрѣпла. «Общество любомудрія» просуществовало, впрочемъ, менѣе года. Послѣ событій 14 декабря 1825 года оно было упразднено самими учредителями. Но несмотря на кратковременность его существованія не подлежитъ сомнѣнію, что бесѣды въ «Обществѣ Любомудрія» не мало помогли дальнѣйшему философскому развитію Д. В—а, вполнѣ укрѣпили его мысль для самостоятельной работы. Онѣ же, помимо бесѣдъ въ прежнемъ студенческомъ кружкѣ, способствовали отчасти, вѣроятно, тому положенію, которое занялъ Д. В—ъ по отношенію къ членамъ литературнаго общества.

Чѣмъ былъ А. Тургеневъ, другъ Жуковскаго, Батюшкова, князя Вяземскаго для поколѣнія, предшествовавшаго 1812-му году, чѣмъ былъ Станкевичъ для молодыхъ людей между 1835-мъ и 40-мъ годами, тѣмъ былъ и Д. В—овъ для молодого поколѣнія романтиковъ, принадлежавшаго 1825-му году.

Біографъ Д. В—а, г. Пятковскій, уже въ 1862 году свидѣтельствовалъ, что ему приходилось встрѣчать «изъ этого кружка людей уже пожившихъ и испытанныхъ жизнью, много видѣвшихъ и многое позабывшихъ—но при одномъ словѣ объ ихъ юномъ другѣ, при одномъ звукѣ этого незабвеннаго имени, рай свѣтлыхъ и чистыхъ воспоминаній внезапно поднимался въ нихъ изъ тумана прошлаго» [1]). Мы знаемъ, что долгое время — въ продолженіе 25 лѣтъ — послѣ смерти В—а друзья его аккуратно собирались въ день его кончины, 15 марта, въ Симоновъ монастырь, служили паннихиду и потомъ обѣдали вмѣстѣ, оставляя «одинъ приборъ для отбывшаго друга» [2]).

---

[1]) Соч. В—а, 59.

[2]) Барсуковъ, II, 92—3 и въ друг. томахъ.

Такъ сильна была память среди членовъ литературнаго общества объ этомъ рано увядшемъ юношѣ! Стало быть, велико было его вліяніе на своихъ друзей. Онъ былъ, можно сказать, душою этого кружка, который съ 1827 года издавалъ журналъ «Московскій Вѣстникъ». Вотъ почему г. Барсуковъ имѣлъ полное право назвать Д. В — а основателемъ «Московскаго Вѣстника» [1]), а академикъ Л. Майковъ со словъ Шевырева въ его «Воспоминаніяхъ» назвать кружокъ, издававшій этотъ журналъ, Веневитиновскимъ кружкомъ [2]). Такимъ образомъ, выясненіе философско-критическихъ взглядовъ В — а тѣмъ самымъ избавитъ насъ отъ необходимости подробнаго разсмотрѣнія направленія «Московскаго В.», давъ понятіе о литературныхъ мнѣніяхъ другихъ членовъ кружка, такъ какъ идеи ихъ совпадутъ болѣе или менѣе съ идеями Д. В—а.

Князь Одоевскій, въ увлекательной и живой литературной формѣ разсказавшій о судьбахъ русскаго шеллингіанства [3]), говоритъ: «Въ началѣ XIX вѣка Шеллингъ былъ тѣмъ же, чѣмъ Христоферъ Колумбъ въ XV: онъ открылъ человѣку неизвѣстную часть его міра, о которой существовали только какія-то баснословные преданія—его душу» [4]). Это было весьма важно. Изученіе души, законовъ психической дѣятельности пріучало русскихъ шеллингистовъ къ самонаблюденію; но по Шеллингу этого мало: главная бѣда въ томъ, что люди «позабываютъ посмотрѣть вокругъ себя»; поэтому онъ призываетъ къ «изслѣдованію другихъ», окружающаго міра: это поможетъ познать и самого себя [5]). Отсюда наблюденія надъ проявленіемъ души не только въ самомъ себѣ, но и въ другихъ. Все это должно было развивать страсть къ анализу, пріучать критически относиться къ себѣ, къ другимъ и къ окружающей дѣйствительности. Такимъ путемъ приходили русскіе шеллингіанцы къ убѣжденію о необходимости *самопознанія,* познанія своихъ силъ и своего предзначенія, какъ въ примѣненіи къ каждому въ отдѣльности, какъ и ко всей Россіи въ

---

[1]) Барс., т. VII, 131.

[2]) Л. Майковъ „Историко-литературные очерки“ СПб. 95; стр. 171.

[3]) Соч. Одоевскаго, т. I, 1844 года („Русскія ночи“).

[4]) Барс. I, 202 или „Русскія ночи“ кн. Одоевск. стр. 15.

[5]) См. „Русск. ночи“.

ея цѣломъ, чтобы сообразно открытой цѣли направить свою дѣятельность. Отсюда шеллингіанцы приходили къ сознанію необходимости самостоятельности, независимости для русскихъ въ работѣ мысли, равно какъ и для всякой другой націи, такъ какъ у каждаго народа свое особое предназначеніе въ общечеловѣческой культурѣ.

Д. В—овъ въ статьѣ «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала» говоритъ: «Самопознаніе—вотъ идея, одна только могущая одушевить вселенную; вотъ цѣль и вѣнецъ человѣка. Науки и искусства, вѣчные памятники усилій ума, единственные признаки его существованія, представляютъ ничто иное, какъ развитіе сей начальной и слѣдственно неограниченной мысли» [1]). Съ эпохи отечественной войны въ Россіи нашла почву важнѣйшая идея романтизма, уваженіе къ дѣйствительной народной старинѣ. Французская революція, политическія событія, вызванныя въ Европѣ имперіею Наполеона I и ея паденіемъ, логическіе выводы философіи начала настоящаго столѣтія, все соединилось во имя *національнаго* принципа и выдвинуло на арену европейской культуры *народъ*, указало на него, какъ на великую историческую силу и на обладателя духовныхъ богатствъ.

На этой почвѣ, т. е. на почвѣ національнаго вопроса, который въ кружкѣ Раича стоялъ на самомъ видномъ мѣстѣ, идеи В—а о необходимости для Россіи полной самостоятельности въ дѣлѣ ея просвѣщенія выразились особенно ярко. «Мы должны» пишетъ онъ «взирать на каждый народъ, какъ на лицо отдѣльное, которое къ самопознанію направляетъ всѣ свои нравственныя усилія, ознаменованныя печатью особеннаго характера. Развитіе сихъ усилій составляетъ просвѣщеніе, цѣль просвѣщенія или самопознанія народа»— итакъ, самопознаніе и просвѣщеніе одно и то же—«есть та степень, на которой онъ отдаетъ себѣ отчетъ въ своихъ дѣлахъ и опредѣляетъ сферу своего дѣйствія». [2]) Русскій народъ, какъ и всякій другой, долженъ имѣть и, несомнѣнно, имѣетъ свое особое назначеніе въ общечеловѣческой культурѣ. Въ чемъ оно состоитъ, вопросъ еще не рѣшенный. Чтобы рѣшить его, Россія должна обратиться къ изученію самой себя, къ *самопознанію*. Для этого необходима работа *мысли*.

---

[1]) Соч. В—а, 164.

[2]) Соч. В—а, 164—5.

Такъ какъ, по мысли В—а, литература народа, науки и искусства—вѣрныя показатели степени культурнаго развитія народа, то онъ, естественно, приходитъ къ вопросу о томъ, каково состояніе современной ему русской литературы. Она проявляетъ «слабость», и причина ея не столько въ образѣ мыслей, сколько въ *бездѣйствіи мысли* [1]). «Получивъ», по справедливому замѣчанію В — а, «форму литературы прежде самой ея сущности» [2]), мы безъ особаго труда распростились съ классицизмомъ, но, отбросивъ «французскія правила», мы эти «невѣрныя правила» замѣнили «отсутствіемъ всякихъ правилъ». Поэтому, «надобно бы совершенно остановить нынѣшній ходъ русской словесности», не руководящейся никакими правилами, и «заставить ее *болѣе думать*, нежели производить». В — ъ даже готовъ «обратить особенное вниманіе Россіи на древній міръ и его произведенія» [3]). И почему же? Да потому что, «находясь въ мірѣ совершенно для насъ новомъ, котораго всѣ отношенія для насъ загадки, мы невольно принуждены будемъ дѣйствовать *собственнымъ* умомъ для разрѣшенія всѣхъ противорѣчій, которыя намъ въ ономъ представятся. Такимъ образомъ, мы сами сдѣлаемся преимущественнымъ предметомъ нашихъ разысканій» [4]).

Въ Россіи еще нѣтъ «твердаго основанія изящныхъ наукъ», она «еще нуждается въ немъ» [5]). Другими словами, въ Россіи нѣтъ еще литературной критикѣ, и нѣтъ ея, потому что не найдено еще ея «твердое основаніе», а безъ него не мыслима дѣльная критика. Русская критика еще не располагаетъ общими понятіями или сужденіями о поэзіи — такими, исходя изъ которыхъ, она могла бы вѣрно судить объ отдѣльныхъ поэтическихъ произведеніяхъ. О необходимости для правильныхъ сужденій критики такого общаго «одного начала», къ которому можно бы было сводить всѣ частные случаи или явленія, В—овъ заявлялъ съ особенною настойчивостью. Еще въ статьѣ по поводу »Разсужденія г. Мерзлякова о началѣ и духѣ древней трагедіи» В—овъ писалъ: «Тотъ, кто чувствуетъ, не всегда можетъ отдать себѣ и другимъ вѣрный отчетъ въ своихъ чувствахъ.

---

[1]) Соч. В—а, 167.
[2]) Ibid., 166.
[3]) Ibid., 166, 7, 8.
[4]) Соч. В—а, 169.
[5]) Ibid., 169.

Красоты поэзіи близки сердцу человѣческому и, слѣдственно, легко ему понятны; но чтобы произнесть общее сужденіе о поэзіи, чтобы опредѣлить достоинства поэта, надобно основать свой приговоръ на мысли опредѣленной» [1]). Въ статьѣ по поводу первой главы «Евг. Онѣгина» онъ выражается такъ: «Поэты не летаютъ безъ цѣли, и какъ будто на зло критикамъ; поэзія не есть неопредѣленная горячка ума; но подобно предметамъ своимъ, природѣ и сердцу человѣческому, имѣетъ въ себѣ самой постоянныя свои правила» [2]). Въ той же статьѣ В—овъ говоритъ: «Въ критикѣ должно быть основаніе положительное, всякая наука положительная заимствуетъ свою силу изъ философіи; и поэзія не разлучна съ философіей. Если мы съ такой точки зрѣнія, безпристрастнымъ взглядомъ, окинемъ ходъ просвѣщенія у всѣхъ народовъ (оцѣняя словесность каждаго въ цѣломъ: степенью философіи времени; а въ частяхъ: по отношеніямъ мыслей каждаго писателя къ современнымъ понятіямъ о философіи); то все, мнѣ кажется, поясняется». Съ такой точки зрѣнія, добавляетъ онъ, и «Аристотель не потеряетъ правъ своихъ на глубокомысліе, и мы не будемъ удивляться, что французы, подчинившіеся его правиламъ, не имѣютъ литературы самостоятельной» [3]).

Здѣсь мы находимъ явное установленіе исторической точки зрѣнія въ критикѣ литературныхъ произведеній. Подобная мысль сдѣлалась неотъемлемымъ достояніемъ русской критики, получила, такъ сказать, права гражданства только много спустя послѣ В—а, именно съ времени дѣятельности В. Бѣлинскаго.—Вообще надо замѣтить, мы часто находимъ буквальное совпаденіе идей этихъ двухъ критиковъ. Помимо указаннаго сходства, можно привести еще данное В—мъ опредѣленіе *народности въ поэзіи*. Опредѣленіе это совпадаетъ съ тѣмъ, какое впослѣдствіи давалъ ей Гоголь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Бѣлинскій въ своихъ статьяхъ о Пушкинѣ. По Бѣлинскому: «Поэтъ, котораго поэзія выросла не изъ почвы субстанціальной жизни своего народа, не можетъ ни быть, ни называться народнымъ или національнымъ поэтомъ» [4]). По В—ву: «Народность отражается не въ картинахъ, принадлежащихъ какой либо особенной сторонѣ,

---

[1]) Соч. В—а, 181.
[2]) Соч. В—а, 206.
[3]) Ibid., 202.
[4]) Соч. Бѣл., VIII, 399.

но въ самыхъ чувствахъ поэта, напитаннаго духомъ одного народа и живущаго, такъ сказать, въ развитіи, успѣхахъ и отдѣльности его характера» [1]). Правда, понятіе духа народа довольно неопредѣленно, и самъ В—овъ оказался менѣе проницательнымъ въ отношеніи къ народности «Евг. Онѣгина», чѣмъ его литературный противникъ, Полевой. В—овъ прямо заявилъ: «Я не знаю, что̀ тутъ народнаго, кромѣ именъ петербургскихъ улицъ и ресторацій» [2]).

Затѣмъ какъ на черту, сближающую В—а съ Бѣлинскимъ, можно указать на слѣдующія его слова: «Для общества безполезенъ поэтъ, который наслаждается въ собственномъ своемъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не ищетъ и, слѣдовательно, уклоняется отъ цѣли всеобщаго усовершенствованія» [3]). Здѣсь В—ъ отвергаетъ самодовлѣющее искусство и общественное значеніе поэта опредѣляетъ такъ, какъ опредѣлялъ его Бѣлинскій только уже въ послѣдніе годы своей дѣятельности.

В—овъ требовалъ отъ поэта обязательно *мысли*, одно чувство его не удовлетворяло. «Первое достоинство всякаго художника есть *сила мысли*, сила чувства» [4]). «Истинные поэты всѣхъ народовъ, всѣхъ вѣковъ, были глубокими мыслителями, были философами и, такъ сказать, вѣнцомъ просвѣщенія» [5]). *Истинный поэтъ* никогда не творитъ подъ вліяніемъ «перваго чувства». «Чувство только порождаетъ мысль, которая развивается въ борьбѣ, и тогда уже снова обратившись въ чувство, является въ произведеніи» [6]). В—овъ прямо говоритъ, что «многочисленность *стихотворцевъ* во всякомъ народѣ есть вѣрнѣйшій признакъ его легкомыслія» [7]). У насъ въ литературѣ, къ несчастію, наблюдается какъ разъ это явленіе. И вотъ какъ объясняетъ его В—овъ: «У насъ языкъ поэзіи превращается въ механизмъ; онъ дѣлается орудіемъ безсилія, которое не можетъ себѣ дать отчета въ своихъ чувствахъ и потому чуждается опредѣлительнаго языка разсудка. Скажу болѣе: у насъ чувство, нѣкоторымъ

---

[1]) Соч. В—а, 224.
[2]) Ibid., 205.
[3]) Ibid., 52.
[4]) Соч. В—а, 203.
[5]) Ibid., 167.
[6]) Ibid., 167.
[7]) Ibid., 167.

образомъ, освобождаетъ отъ обязанности мыслить, и прельщая легкостью безотчетнаго наслажденія, отвлекаетъ отъ высокой цѣли усовершенствованія» [1]). Это—отличная характеристика поэтовъ «чистаго искусства», поэтовъ риемы и «сладкихъ звуковъ». Именно такъ долженъ былъ говорить тотъ, кто самъ былъ поэтомъ—мыслителемъ.

Находя въ Пушкинѣ и «силу чувствъ, и силу мысли»—В—овъ напримѣръ, признается, что онъ находитъ въ «Разговорѣ поэта съ книгопродавцемъ», много «истинной поэзіи», даже «болѣе, чѣмъ въ самомъ Онѣгинѣ», что «въ словахъ поэта видна душа свободная, пылкая, способная къ сильнымъ порывамъ» [2])—шеллингіанцы не замедлили объявить его поэтомъ-философомъ. Это означало для нихъ—выдѣлить его изъ сонма всѣхъ современныхъ сладкопѣвцевъ и ремесленниковъ» [3]).

Помимо уже упоминавшейся нами статьи В—а о П—ѣ, которая была единственной статьей по поводу первой главы «Евг. Онѣг.», прочтенной поэтомъ съ любовью и вниманіемъ—«все остальное или брань, или переслащенная дичь» говорилъ онъ — В—овъ далъ, хотя и незначительный по размѣрамъ, но вѣрный по замѣчаніямъ отзывъ «о второй пѣсни Евг. Онѣг.» [4]). Затѣмъ, когда въ «М. В.» былъ напечатанъ отрывокъ изъ «Бориса Годунова» [5]), В—овъ написалъ для Jurnal de St. Petersbourg статью «Analyse d'une scène détachée de la tragédie de Mr. Pouchkin», В — овъ справедливо видѣлъ въ трагедіи окончательное освобожденіе П — а отъ вліянія Байрона. «Поэтическое воспитаніе г. Пушкина», по его мнѣнію, «*повидимому*, совершенно закончено» [6]). В—овъ находилъ, что Пушкинъ былъ въ этой трагедіи «вѣренъ непреложнымъ и существеннымъ законамъ поэзіи и не отступалъ отъ правдоподобія» [7]).

Все вышеизложенное показываетъ, какіе великіе задатки серьезной философской, исторической и общественной критики были у

---

[1]) Соч. В—а, 167—8.

[2]) Соч. В—а, 206.

[3]) См. статью Кирѣевскаго „Нѣчто о характерѣ поэзіи А. С. Пушкина“, помѣщ. въ № 6 „Московскаго Вѣстника“ за 1828 годъ.

[4]) „М. В.“ 1828 годъ, № 4 или соч. В—а, 225—6.

[5]) М. В., 1827, № 1.

[6]) Соч. В—а, 192.

[7]) Ibid., 193.

В—а. Г. Ив. Ивановъ справедливо замѣчаетъ, что, если бы не преждевременная смерть, то «несомнѣнно, дальнѣйшее освобожденіе П—а и русской литературы отъ западнаго романтизма, ея переходъ къ національному реальному искусству также встрѣтилъ бы сочувствіе критика» [1]). Мы вполнѣ согласны и съ тѣмъ окончательнымъ выводомъ, къ которому приходитъ г. Ивановъ: «Самъ поэтъ и въ то же время мыслитель, В—овъ стремился слить въ идеальной гармоніи творчество и идею. Любопытно его доказательство философскаго содержанія гомеровскихъ поэмъ. Оно заключается въ ясномъ и простомъ отраженіи природы. Слѣдовательно, всякое правдивое и реальное творчество въ то же время глубоко-идейно, стоитъ на уровнѣ философскаго мышленія. В—овъ не успѣлъ обѣлить всѣхъ выводовъ изъ своихъ общихъ положеній, не могъ даже выяснить съ должной полнотой и самыя положенія, но, несомнѣнно, въ его умѣ бродили начала плодотворнѣйшей художественно-идейной критики» [2]).

Принимая въ соображеніе, какъ жаждалъ П—ъ настоящей, дѣльной критики, о чемъ будетъ рѣчь ниже, какъ онъ жадно искалъ впослѣдствіи случая сблизиться съ молодымъ Бѣлинскимъ, и имѣя въ виду его отношенія къ «М. В.», о которыхъ намъ еще предстоитъ говорить, мы вполнѣ увѣренно можемъ сказать, что П—ъ въ смерти В—ва видѣлъ утрату перваго истиннаго критика, что для П—а В—ъ былъ настоящимъ чуткимъ, художественно-одареннымъ цѣнителемъ искусства.

Умеръ В—овъ, но послѣ него осталось немало единомышленниковъ, идеи которыхъ совпадали съ его идеями, по крайней мѣрѣ, въ основныхъ критическихъ воззрѣніяхъ. Все это были его друзья, члены Радчевскаго кружка, которые проводили свои тожественныя съ Веневитиновскими идеи еще и при жизни В—ова, въ союзѣ и даже во главѣ съ нимъ. Средствомъ для этого служилъ имъ журналъ, «М. В.», къ которому мы теперь и обратимся.

---

[1]) „Исторія русской критики“ ч. I и II, стр. 424.

[2]) Ibid., 424—5.

Толки о журналѣ начались въ Обществѣ Раича еще съ 1823 г., въ собраніи, бывшемъ 3-го мая [1]). И въ 1825 году «мечталъ Погодинъ объ основаніи журнала при содѣйствіи Шевырева, Раича и кн. Оболенскаго» [2]). — Въ этомъ году былъ основанъ «Московскій Телеграфъ» Полевого, тоже члена литературнаго кружка. Когда начались толки объ изданіи журнала, въ кружкѣ обнаружилось два теченія. Представителемъ одного явился Полевой, съ нимъ соединился и князь Вяземскій. Соображенія Полевого о журналѣ не были одобрены «архивными юношами», философами и аристократами [3]). Они явились сторонниками другого направленія. Ихъ главою былъ В — онъ, представившій свой проэктъ о направленіи замышлявшагося журнала, въ статьѣ «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала». Это былъ моментъ разъединенія среди русскихъ критиковъ. Однако нельзя думать, чтобы они расходились въ своихъ воззрѣніяхъ, по крайней мѣрѣ, въ основныхъ пунктахъ; и тѣ и другіе ратовали за романтизмъ, за германскую философію и вообще за германское вліяніе; и тѣ и другіе были противниками ложноклассицизма и французскаго вліянія; разъединеніе произошло единственно на почвѣ вопроса о *практическомъ приложеніи* принциповъ.

Мы видѣли уже изъ изложенія критическихъ воззрѣній В — а, къ чему стремился онъ. Онъ говорилъ, что Россіи нужна философія, какъ наука, что она вызоветъ самостоятельную дѣятельность русской мысли и укрѣпитъ ея *самобытное* развитіе, что философія разовьетъ въ русскомъ обществѣ *самопознаніе*, критическое отношеніе къ окружающей дѣйствительности, чего пока не достаетъ ему. Такимъ образомъ, необходимо, чтобы начала философіи были проведены въ сознаніе русскаго общества. Вотъ цѣль, которую долженъ преслѣдовать журналъ, по мнѣнію В—а.

Результатомъ всѣхъ этихъ преній было изданіе сторонниками веневитиновскаго проэкта альманаха «Мнемозина». Альманахъ былъ слишкомъ серіозенъ для того уровня умственнаго развитія, на которомъ стояло общество въ его цѣломъ, и потому успѣха не имѣлъ: у него было всего только 157 подписчиковъ. Издателямъ «Мнемо-

---

[1]) Барс. I, 218.

[2]) Барс. I, 297.

[3]) Полевой былъ изъ купеческаго сословія.

зины» пришлось волею-не-волею сложить оружіе передъ ловкимъ, практическимъ издателемъ «М. Т». По поводу фіаско, понесеннаго издателями «Мнем.», находимъ у г. Иванова слѣдующаго рода глубоковѣрное замѣчаніе: «Такова судьба даровитѣйшихъ шеллингіанцевъ. Они дурно справляются съ превратностями литературнаго поприща и еще неудачнѣе ведутъ себя какъ просвѣтители публики. Они не понимаютъ и не знаютъ своихъ читателей. Они слишкомъ аристократичны, не по убѣжденіямъ и еще менѣе сословнымъ предразсудкамъ, а по пріемамъ дѣятельности. Они—господа, говорящіе толпѣ умныя рѣчи съ балкона и способные придти въ ужасъ при одной мысли спуститься на улицу и сойтись лицомъ къ лицу съ своими слушателями. Естественнно, слушатели остаются совершенно равнодушными и къ рѣчамъ, и къ самимъ ораторамъ» [1]). Въ этихъ словахъ вѣрно указана отличительная черта издателей «Мнем.» и будущихъ издателей «М. В.» Они прекрасно сознаютъ свое умственное превосходство надъ публикой и, искренно желая служить на пользу отечественнаго просвѣщенія, хотятъ *учить* ее; они хотятъ вести публику за собою, но отнюдь не хотятъ спуститься съ высоты универса до всѣмъ понятныхъ вещей, толкуютъ въ критикѣ о разныхъ сокровеннѣйшихъ тайнахъ вмѣсто того, чтобы говорить простымъ, всѣмъ понятнымъ языкомъ о Державинѣ, Пушкинѣ и иныхъ русскихъ писателяхъ; впадаютъ въ сухой, педантичный тонъ; не желаютъ снизойти до понятій публики; отнюдь не хотятъ угождать ея требованіямъ.—Полевой, напротивъ того, сразу попалъ въ *тонъ* публикѣ, сразу разгадалъ ея запросы: онъ былъ почти одного съ нею уровня умственнаго развитія, и не стремился стать выше ея; всегда первымъ и непремѣннымъ условіемъ журнала ставилъ разнообразіе и вмѣстѣ съ тѣмъ легкость и занимательность статей — качества, на которыя такъ падка публика средняго умственнаго развитія и до сихъ поръ—что же было въ 20-хъ—30-хъ годахъ? Вотъ гдѣ причины неуспѣха издателей «Мнем.» и успѣха Полевого.

Катастрофа, постигшая «Мнемозину», впрочемъ, не обезкуражила ея издателей. Погодинъ издалъ альманахъ «*Уранію*», въ которомъ, какъ, впрочемъ, и въ предыдущемъ, принялъ участіе и Пушкинъ. Успѣхъ «Ураніи» сравнительно съ «Мнемозиной» ободрилъ какъ

---

[1]) Ист. р. крит., 421.

Погодина, такъ и его друзей. «Погодинъ и В—овъ составили планъ изданія другого литературнаго сборника, посвященнаго переводамъ изъ классическихъ писателей древнихъ и новыхъ, подъ заглавіемъ «Гермесъ» [1]).

Но въ это время, именно 8 сентября 1826 года, является въ Москву А. С. Пушкинъ. Сблизившись благодаря родственнымъ, хоть и отдаленнымъ, связямъ съ семействомъ В — ыхъ, П — ъ простеръ свое благосклонное вниманіе къ молодому критику и поэту до того, что 10 сентября читалъ въ домѣ В—ыхъ своего «Бориса Годунова». На этомъ же вечерѣ рѣшилась участь альманаха Гермесъ. «Альманахъ не надо издавать» сказалъ П—ъ «пусть Погодинъ издаетъ въ послѣдній разъ, а послѣ станемъ издавать журналъ» [2]). Результатомъ сближенія В—а и его друзей съ П—ымъ было основаніе журнала «Московскій Вѣстникъ», подъ редакціею М. П. Погодина.

Журналъ сталъ выходить съ 1827 года. Цѣлью журнала было «опираясь на твердыя начала философіи, представить ей (т. е. Россіи) полную картину развитія ума человѣческаго, картину, въ которой бы она видѣла свое собственное предназначеніе» [3]). Слова эти взяты нами изъ статьи Д. В—а, «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала», дававшей программу будущаго журнала [4]). Вообще онъ былъ душою всего дѣла: онъ сообщилъ журналу его направленіе, онъ намѣтилъ его будущую программу; и ему же обязанъ былъ журналъ сотрудничествомъ П—а. А послѣднее обстоятельство было весьма важно, потому что, если журналъ и просуществовалъ до 1830 года, то, вѣроятно, «благодаря многочисленнымъ вкладамъ поэта, которые составляли въ этомъ изданіи главную привлекательную силу для читателей» [5]).— По нашему подсчету, П — ъ напечаталъ въ «М. В.» за все время его существованія 29 стихотвореній, отрывокъ изъ «Бор. Год.», отрывокъ изъ «Графа Нулина» и два отрывка изъ «Евг. Онѣг.»— Характеръ этого журнала таковъ же, каковъ у «Мнемозины». Про него Языковъ говорилъ:

---

[1]) Барс. II, 38.

[2]) Барс. II, 42.

[3]) Соч. В—а, 168.

[4]) Содержаніе ея см. выше въ изложеніи критич. взглядовъ Д. В—а.

[5]) Л. Майковъ „Историко-литературные очерки", стр. 178.

„Онъ выступаетъ въ чинѣ строгомъ,
Разборчивъ, строгъ, аристократъ“ [1]).

Издатели «М. В.» увлекались нѣмецкою философіею съ Шеллингомъ во главѣ, а изъ поэтовъ — Гёте, подъ покровительство котораго редакція прямо ставила свое изданіе [2]). Г. Весинъ въ книгѣ «Очерки исторіи русской журналистики 20-хъ и 30-хъ годовъ» даетъ слѣдующую вѣрную, но несовсѣмъ полную, по нашему мнѣнію, характеристику «М. В.»: «Главное достоинство этому журналу сообщили статьи самого издателя и его сотрудника Шевырева. Встрѣчались въ немъ также статьи Снегирева, Востокова, Кеппена, Калайдовича, Строева и другихъ современныхъ почтенныхъ дѣятелей. Во главу угла въ своемъ журналѣ Погодинъ старался поставить безпристрастіе, которое, между прочимъ, доказалъ, помѣстивши въ немъ ожесточенныя нападки Арцыбышева на исторію Карамзина и возраженія защитниковъ послѣдняго. Въ журналѣ помѣщено было много хорошихъ статей историческаго и историко-литературнаго содержанія, былъ значительно развитъ отдѣлъ критики, находившейся преимущественно въ рукахъ самого издателя и Шевырева. Замѣчательны были въ немъ повѣсти издателя, отличавшіяся близостію къ жизни, естественностію, наблюдательностью и народнымъ началомъ, которое, пробившись нѣсколько сильнѣе и дѣйствуя продолжительнѣе могло бы сдѣлать изъ автора замѣчательнаго беллетриста съ народнымъ оттѣнкомъ. Въ журналѣ помѣщалось очень много стихотвореній, принадлежавшихъ самымъ замѣчательнымъ русскимъ поэтамъ, начиная съ П—а. Онъ отличался безпристрастнымъ взглядомъ на современное общество. Похвально въ издателѣ было также стремленіе къ ознакомленію общества съ трудами лучшихъ западно-европейскихъ ученыхъ, имена которыхъ постоянно фигурировали въ его журналѣ при разборѣ тѣхъ или другихъ произведеній иностранной литературы. Помѣщались въ журналѣ также историческіе матеріалы и значительно былъ развитъ отдѣлъ смѣси» [3]). «Журналъ хорошо понималъ значеніе новыхъ русскихъ поэтовъ и съ величайшимъ уваженіемъ относился къ Пушкину и Жуковскому. Онъ не держался

---

[1]) Собр. стих., или Соч. П—а, VIII, 350.
[2]) См. М. В. за 1828 годъ; также соч. П—а, письмо къ Погодину 1 іюля 1828 года
[3]) Стр. 15.

крайнихъ воззрѣній ни романтизма, ни классицизма. Это былъ журналъ, такъ сказать, эклектическій. Онъ былъ проникнутъ духомъ искренней любви къ отечеству и ко всему, что было связано съ его пользою. Это былъ журналъ честный и благородный. Въ немъ было много таланта, ума и знанія» [1]). Однако журналъ не пользовался сочувствіемъ публики, несмотря на всѣ свои достоинства. Отчего же это происходило? Опредѣляя характеръ «М. В.» г. Весинъ не указалъ на одно обстоятельство, которое именно и сгубило его. Дѣло въ томъ, что и содержаніе статей, помѣщавшихся въ этомъ журналѣ, было слишкомъ серьезно для средняго круга читателей, да и самая манера изложенія слишкомъ суха, педантична и часто черезчуръ отвлеченна. Вотъ сужденіе Бѣлинскаго о «М. В.», дополняющее характеристику г. Весина и ярко выдвигающее на видъ причины, сгубившія журналъ: «М. В.» имѣлъ большія достоинства, много ума, много таланта, много пылкости, но мало, чрезвычайно мало, смѣтливости и догадливости, и потому самъ былъ причиною своей преждевременной кончины. Въ эпоху жизни, въ эпоху борьбы, столкновенія мыслей и мнѣній онъ вздумалъ наблюдать духъ какой-то умѣренности и отчужденія отъ рѣзкости въ сужденіяхъ и, полный дѣльными и учеными статьями, былъ тощъ рецензіями и полемикою, кои составляютъ жизнь журнала, былъ бѣденъ повѣстями, безъ коихъ нѣтъ успѣха русскому журналу, и, что всего ужаснѣе, не велъ подробной отчетливой лѣтописи модъ и не прилагалъ модныхъ картинокъ, безъ которыхъ плохая надежда на подписчиковъ русскому журналисту. Что жъ дѣлать? Безъ маленькихъ и повидимому пустыхъ уступокъ»—а ихъ «М. В.» никогда не позволялъ себѣ, никогда не хотѣлъ *снизойти* до нихъ, считалъ ихъ *унизительными* для себя, для своей солидности—«нельзя заключить выгоднаго мира. *«М. В.» былъ лишенъ современности*, и теперь (т. е. въ 1834 году) его можно читать какъ хорошую книгу, никогда не теряющую своей цѣны, но журналомъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ никогда не былъ» [2]).

Намъ нѣтъ здѣсь мѣста распространяться болѣе объ этомъ журналѣ. Поэтому, тѣхъ, кто желаетъ провѣрить справедливость выс-

[1]) Весинъ „Оч. ист. р. журн. 20-хъ и 30-хъ год.“ СПб. 1881, стр. 16.

[2]) Соч. Бѣл., т. I, 102—3 („Литерат. мечт.“).

казаннаго нами сужденія о немъ, мы вынуждены отослать къ самому журналу [1]). Цѣли, представлявшіяся «М. В.», въ общемъ должны быть извѣстны читателю изъ даннаго выше изложенія критическихъ воззрѣній Д. В—а и его статьи «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала». И, надо замѣтить, онѣ строго, неуклонно преслѣдовались издателями до самого конца журнала. Намъ же представляется теперь вопросъ о тѣхъ отношеніяхъ, въ какихъ стоялъ къ этому журналу П — ъ, что привлекло его къ сотрудничеству въ немъ, и насколько велико было вліяніе этого журнала на П—а, если только таковое было.

Еще находясь въ Михайловскомъ, П—ъ мечталъ объ основаніи *своего* журнала. Онъ печаталъ свои произведенія въ «М. Т.», но не особенно благоволилъ къ его издателю. Въ письмахъ П — а къ другу его, князю Вяземскому, за время, предшествующее основанію «М. В.» мы постоянно встрѣчаемъ выраженія неудовольствія и неудовлетворенности Полевымъ и его журналомъ. Въ іюнѣ 1825 года онъ пишетъ: «*Ему (т. е. Полевому) случается завираться.* Напримѣръ, Донъ-Кихотъ искоренилъ въ Европѣ странствующихъ рыцарей!!!— Въ Италіи, кромѣ Dante единственно, не было романтизма. А онъ въ Италіи-то и возникъ. Что же такое Аріость? А предшественники его, начиная отъ Buovo d'Antona до Orlando inamorato? *Какъ можно писать такъ на обумъ!*» [2]). Въ томъ же мѣсяцѣ: «*Телеграфъ* человѣкъ порядочный и честный, но *вралъ и невѣжда*» [3]). 10 августа 1825 года: «Сейчасъ прочелъ антикритику Полевого. Нѣтъ, мой милый. Не то и не такъ!» И тутъ же черезъ строку прибавляетъ:

---

[1]) Роль М. В. въ исторіи русской литерат. и русск. просвѣщенія не разъ разъяснялась въ нашихъ историко-литерат. сочин. См., напр., у Барсукова „Жизнь и труды М. П. Погодина", у Пятковскаго въ біографіи Д. Веневитинова, у Бѣлинскаго въ соч., у г. Весина въ указанной выше книгѣ, кое-что у Чернышевскаго въ „Очеркахъ гоголевскаго періода русской литературы" и въ „Критическихъ статьяхъ", въ энциклоп. слов. Брогкауза и Ефрона, въ книгѣ Ив. Иванова, у Анненкова въ его „Матеріалахъ" (преимущ. по отношенію къ Пушкину), у Л. Майкова, въ его „Историко-литерат. очеркахъ" и друг.

[2]) Соч. П—а, т. VIII, 34—5.

[3]) Ibid., VIII, 35.

«*Когда-то мы возьмемся за журналъ! Мочи нѣтъ хочется*, а пока-мѣстъ смотри хоть за Полевымъ» [1]). Въ 1826 году въ письмѣ отъ 9 ноября П—ъ говоритъ: «Издатель долженъ: 1, знать грамматику русскую; 2, писать со смысломъ, т. е. согласовать существительное съ прилагательнымъ и связывать ихъ глаголомъ. А этого-то Полевой и не умѣетъ» [2]). Въ томъ же году, въ іюнѣ: «Пора бы намъ отослать и Булгарина, и Благонамѣреннаго, и Полевого, друга нашего. Теперь не до того, а ей-Богу, когда-нибудь примусь за журналъ» [3]).—Въ письмѣ къ Рылѣеву отъ 30 ноября 1825 года читаемъ: «Ты ѣдешь въ Москву; поговори тамъ съ Вяземскимъ о журналѣ, онъ самъ чувствуетъ въ немъ необходимость, а дѣло было бы чудно-хорошо» [4]).

Итакъ, П—ъ не доволенъ «Телеграфомъ», и его неотступно преслѣдуетъ мысль основать свой журналъ. Онъ, впрочемъ, хотѣлъ быть только вдохновителемъ журнала, но отнюдь не хотѣлъ брать на себя редакторскихъ обязанностей во всей ихъ полнотѣ. «Мы» пишетъ онъ кн. Вяземскому «слишкомъ лѣнивы, чтобы переводить, выписывать, объявлять etc. etc. Это—черная работа журнала; вотъ зачѣмъ и издатель существуетъ» [5]). Но чѣмъ же былъ недоволенъ П—ъ въ журналѣ Полевого? Какъ видно изъ приведеныхъ выписокъ, главнымъ образомъ литературною критикою. Еще въ замѣткѣ, относящейся къ 1824 году, онъ писалъ: «Исключая тѣхъ, которые занимаются сплетнями литературными, у насъ нѣтъ еще ни словесности, ни книгъ» [6]). Въ письмѣ 1825 года 21 марта къ Рылѣеву читаемъ: «...у насъ не достаетъ критики... Мы не имѣемъ ни единаго комментарія, ни единой критической книги. Что же ты называешь критикою? Вѣстникъ Европы и Благонамѣренный? Библіографическія извѣстія Греча и Булгарина? Свои статьи?... Но признайся, что все это не можетъ установить мнѣнія въ публикѣ, ...не можетъ почесться уложеніемъ вкуса. — Каченовскій тупъ и скученъ, Гречъ и

---

[1]) Соч. П—а, VIII, 39.
[2]) Соч. П—а, VIII, 54.
[3]) Ibid., 49.
[4]) Ibid., 204.
[5]) Ibid., 54 (письмо отъ 9 нояб. 1826 года).
[6]) Соч. П—а, IX, 69.

ты остры и забавны—вотъ и все, что можно сказать объ васъ. Но гдѣ же критика?» [1]).

Какъ въ послѣднемъ письмѣ, такъ и въ нѣкоторыхъ изъ вышеприведенныхъ, П—ъ очень нелестно отзывается о всѣхъ наиболѣе видныхъ въ то время журналистахъ. Въ этомъ пунктѣ онъ вполнѣ сходится съ Д. В — ымъ, который, по выходѣ въ свѣтъ первой книжки «М. В.», писалъ Погодину (7 января 1827 года): «Главное отнять у Булгаринъихъ ихъ вліяніе» [2]). «Предубѣжденіе П — а противъ Полевого» справедливо говоритъ Л. Майковъ «шло такъ далеко, что онъ готовъ былъ предпочесть ему въ качествѣ редактора мелкую въ литературномъ смыслѣ личность Н. В. Сушкова или даже своего Кишеневскаго знакомца Завальевскаго, вовсе не извѣстнаго на поприщѣ словесности» [3]). — Да и позднѣе П—ъ не оставилъ своего взгляда на издателя «М. Т.»; напримѣръ, въ 1830 году написалъ онъ извѣстныя «Дѣтскія сказочки», и въ одной изъ нихъ, подъ заглавіемъ «Вѣтреный мальчикъ», аллегорически изобразилъ Полевого.

Въ то время какъ П—ъ находился въ такомъ положеніи, Баратынскій писалъ ему въ одномъ изъ писемъ (1826 годъ): «Надо тебѣ сказать, что московская молодежь помѣшана на трансцендентальной философіи. Не знаю, хорошо ли это или худо: я не читалъ Канта и, признаюсь, не слишкомъ понимаю нѣмецкихъ эстетиковъ. Галичъ выдалъ піитику на нѣмецкій ладъ. Въ ней поновлены откровенія Платоновы и съ нѣкоторыми прибавленіями приведены въ систему. Не зная нѣмецкаго языка, я очень обрадовался случаю познакомиться съ нѣмецкою эстетикою. Нравится въ ней собственная ея поэзія, но начала ея, мнѣ кажется, можно опровергнуть философически. Впрочемъ, какое о томъ дѣло, особливо тебѣ? Твори прекрасное, и пусть другіе ломаютъ надъ нимъ голову» [4]). Такимъ образомъ, мы видимъ, что П — ъ былъ предупрежденъ о томъ, что встрѣтитъ въ Москвѣ молодыхъ шеллингіанцевъ; и, если припомнить съ какимъ уваженіемъ отзывался П — ъ о критической статьѣ Д. В—а по поводу «Евг. Онѣг.», то, естественно, будетъ предполо-

---

[1]) Соч. П—а, VIII, 197—8.
[2]) Барсук., II, 76.
[3]) Л. Майковъ, 169.
[4]) Сочин. Барат., Казань, 84 годъ, 505.

жить, что онъ долженъ былъ съ довѣренностью отнестись къ его друзьямъ,—его единомышленникамъ. П—ъ могъ ожидать, что молодые шеллингіанцы дадутъ въ своемъ журналѣ настоящую литературную критику, какой онъ такъ жаждалъ. Какъ бы то ни было, П—ъ по пріѣздѣ въ Москву, сойдясь съ молодыми шеллингіанцами, принялъ самое живое участіе въ ихъ планахъ о журналѣ.

Какъ извѣстно, къ этому времени литературныя обсужденія П-а уже сложились, но сложились—замѣтимъ—вполнѣ самостоятельно, путемъ изученія классическихъ писателей Западной Европы и богатствъ русскаго народнаго творчества, чѣмъ онъ съ такимъ увлеченіемъ занимался въ своей ссылкѣ. Не лишнее здѣсь припомнить, что еще въ Михайловскомъ написанъ «Разговоръ поэта съ книгопродавцемъ», въ которомъ проводятся въ сущности тѣ же идеи, какіе найемъ позднѣе въ «Черни» и однородныхъ съ нею стихотвореніяхъ: разница будетъ только въ тонѣ: въ однихъ стихотвореніяхъ онъ рѣзче и страстнѣе, въ другихъ спокойнѣе и умѣреннѣе.

Академикъ Майковъ приводитъ свидѣтельство М. П. Погодина, что П-ъ «видно досадовалъ, что читатели его не понимаютъ, а онъ самъ не можетъ раскрыть имъ свои цѣли» [1]). Это замѣчаніе весьма важно. Не умѣя самъ вполнѣ ясно выразить свои литературныя цѣли и убѣжденія, по крайней мѣрѣ, въ критической статьѣ, П-ъ долженъ былъ съ особенною радостью ухватиться за молодыхъ шеллингіанцевъ, у которыхъ онъ находилъ эстетическія воззрѣнія, совпадавшія съ его собственными взглядами на искусства и поэзію. Отъ нихъ могъ онъ ждать—и только отъ нихъ—того «уложенія вкуса», котораго тщетно искалъ въ критическихъ статьяхъ другихъ журналистовъ. И собственно говоря, «М. В.» по части литературной критики, если и не вполнѣ, то въ весьма значительной степени оправдалъ возлагавшіяся на него надежды, и если впослѣдствіи П-ъ мало-по-малу сталъ отдаляться отъ журналовъ, то во всякомъ случаѣ уже не потому, чтобы его литературныя убѣжденія шли въ разрѣзъ съ такими же убѣжденіями «М. В.», а совсѣмъ по инымъ причинамъ. Уже въ первой книжкѣ «М. В.» напечаталъ статью Шевырева «О возможности найти единый законъ для изящнаго». Затѣмъ, достаточно будетъ указать здѣсь на статью Ив. Кирѣевскаго «Нѣчто о

[1]) Л. Майковъ, 184.

характеръ поэзіи Пушкина», какъ на ближе другихъ касающуюся занимающихъ насъ отношеній между журналомъ и П-ымъ. Высоко цѣня талантъ П-а, «М. В.» давалъ въ этой статьѣ, какъ и въ другихъ статьяхъ, посвѣщенныхъ характеристикѣ П-а и другихъ выдающихся русскихъ поэтовъ, именно такую критику, какой требовалъ П-ъ. Во то время, какъ прочіе журналы ограничивались въ своихъ «критическихъ» статьяхъ или рядомъ восклицаній по адресу «критикуемаго» писателя, бранчливыхъ или хвалебныхъ, или же въ лучшемъ случаѣ—ограничивались простыми придирками къ нѣкоторымъ отдѣльнымъ выраженіямъ и словамъ, критикуя ихъ преимущественно съ грамматической точки зрѣнія, Кирѣевскій въ упомянутой статьѣ давалъ характеристику творчества П-а, показывалъ развитіе его художественнаго таланта, намѣчая три главныхъ момента: періодъ итальянско-французскій, байроническій и русско-пушкинскій. Въ первомъ періодѣ, къ которому относится «Русланъ и Людмила», П-ъ только поэтъ, «передающій чисто и вѣрно внушенія своей фантазіи», во второмъ онъ уже поэтъ-философъ, что обнаруживается въ «Кавказскомъ плѣнникѣ» и «Евг. Онѣг.», гдѣ находимъ *современныхъ* людей съ ихъ пустотою и прозою, и въ третьемъ періодѣ, который открытъ появленіемъ на свѣтъ «Бориса Годунова», этого одного изъ знаменій поэзіи русскопушкинской,—поэзія П-а становится безусловно самостоятельной, національной.—Въ статьѣ своей Ив. Кирѣевскій, можно сказать, вполнѣ слѣдовалъ завѣту Д. В-а, который говорилъ: «Я раздѣляю вообще поэтовъ на два класса: на хорошихъ и дурныхъ; *хорошихъ читаю, перечитываю, и стараюсь опредѣлить себѣ ихъ характеръ*; дурныхъ кладу въ сторону.» [1])—Такой же характеръ, какимъ отличается статья Ив. Кирѣевскаго, носятъ на себѣ и другіе критическіе разборы «М. В.», хотя, конечно, далеко не всѣ они такъ умны и талантливы.

Опредѣляя причины, вызвавшія союзъ П-а съ шеллингистами, академикъ Л. Майковъ указываетъ на «ихъ честный образъ мыслей, изъ умъ, даровитость и въ особенности ихъ искреннюю, безкорыстную преданность интересамъ литературы и искусства [2])». «Честный образъ мыслей», «искренняя, *безкорыстная* преданность интересамъ

---

[1]) Соч. Д. В-а, 221.

[2]) Историко-литер. очерки, 171.

литературы и искусства,» были, конечно, весьма важны въ глазахъ П-а. Извѣстна продажность значительной части тогдашнихъ журналистовъ, служившихъ исключительно мамонѣ, ничѣмъ не стѣснявшихся для достиженія низменныхъ своихъ цѣлей (доносы тайные etct.), руководившихся въ своихъ сужденіяхъ даже о чистолитературныхъ, казалось бы намъ, вопросахъ—исключительно своекорыстными расчетами (Булгаринъ и К°); извѣстна также страсть части нашихъ критиковъ 20-хъ и 30-хъ годовъ въ чистолитературныхъ спорахъ сводить дѣло на личности, прибѣгать къ неблаговиднымъ намекамъ *для устраненія* противника—это отнюдь не было въ ихъ глазахъ предосудительнымъ и, дѣйствительно, было дѣломъ самымъ обычнымъ, заурядным; вспомнимъ, напримѣръ, какой выходкой ознаменовалась со стороны Каченовскаго полемика между его «Вѣстникомъ Европы» и «М. Т.» [2]) Въ «Критическихъ замѣткахъ» (1830—31 года) П-ъ говоритъ: «...оскорбленія личныя и клеветы нынѣ, къ несчастію, слишкомъ обыкновенны.» [2]) Однако на то же самое жаловался П-ъ еще и въ 1824 году. Письмо къ издателю «Сына Отечества» начинается такъ: «Въ теченіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ мнѣ случилось быть предметомъ журнальныхъ замѣчаній. Часто несправедливыя, *часто непристойныя*, иныя не заслуживали никакого вниманія; на другія *издали* [3]) отвѣчать было не возможно». [4]) И въ 1829 году П-ъ свидѣтельствуетъ, что «въ критикахъ собственно литературныхъ» мы нерѣдко слышимъ то «брюзгливое ворчаніе какого-нибудь стараго педанта», то «непристойные крики пьянаго семинариста» [5]). Онъ въ «Литературной газетѣ» помѣстилъ даже замѣтку «О личностяхъ въ критикѣ», гдѣ ярко показалъ, къ какимъ абсурдамъ приходятъ критики, руководящіеся въ своихъ сужденіяхъ о чистолитературныхъ предметахъ личными расчетами [6]).

П-ъ никогда не могъ спокойно переносить рѣзкаго, грубаго тона, неумѣнія высказать свое мнѣніе въ спокойной формѣ, вполнѣ «при-

---

[1]) См. объ этомъ въ соч. Пушкина, IX, 205—213 или у Чернышевскаго „Очерки Гоголевскаго періода русской литературы“ и въ другихъ книгахъ.

[2]) Соч. П-а, IX, 91.

[3]) Курсивъ въ подлин., выше намъ.

[4]) Соч. П-а, IX, 175.

[5]) Соч. П-а, IX, 207. Намеки на Каченовскаго и Надеждина.

[6]) Соч. П-а, IX, 252—3.

личной». Это было въ его глазахъ непростительнымъ недостаткомъ. Онъ самъ сказалъ: «то же бы ты слово, да не такъ бы молвилъ [1])».

Онъ всегда требовалъ отъ критики благородства въ выраженіяхъ. Онъ самъ былъ аристократъ, и все вульгарное чрезвычайно шокировало его. Онъ, напримѣръ, никакъ не можетъ не упрекнуть Надеждина за «лакейскій тонъ» его статеекъ, за плоскость его шутокъ [2]), хотя Надеждина нельзя заподозрить въ честности побужденій, и хотя онъ самъ признаетъ, что критики Надеждина написаны «съ живостью, а иногда съ краснорѣчіемъ» [3]). Пушкинъ записалъ о Надеждинѣ: «онъ показался мнѣ весьма простонароднымъ, vulgar, скученъ, заносчивъ и *безъ всякаго приличія*. Напримѣръ онъ поднялъ платокъ, мною уроненный» [4]). Однимъ словомъ, П-а шокировали плебейскія привычки Надеждина. Ничего подобнаго П-ъ, конечно, не рисковалъ встрѣтить среди издателей «М. В.». Они почти всѣ были такіе же чистокровные аристократы, какимъ былъ Пушкинъ, а если кто и не былъ аристократомъ по природѣ, то зналъ «хорошій тонъ». Это засвидѣтельствовано даже самимъ П-ымъ, который говорилъ, что издатели «М. В.» доказали, что имъ сродно чувство приличія». [5])—Мы указывали выше (приводя слова г. Иванова), въ какомъ смыслѣ надо называть аристократами издателей «М. В.» Въ такомъ же смыслѣ надо прилагать это названіе и къ П-у. Такого именно аристократизма и требовалъ П-ъ въ литературныхъ обычаяхъ какъ видно изъ его сочиненій [6]).

Итакъ, къ указаннымъ г. Майковымъ условіямъ, способствовавшимъ союзу Пушкина съ «М. В.», мы присоединяемъ еще, помимо сходства эстетическихъ воззрѣній, аристократизмъ членовъ Веневитиновскаго кружка, въ указанномъ выше смыслѣ этого слова.

Привлекала къ сотрудникамъ «М. В.» П—а и ихъ стойкость въ своихъ убѣжденіяхъ, не доходившая, впрочемъ, никогда до фанатизма, предубѣжденія, чѣмъ такъ прославился въ свое время изда-

---

[1]) Соч. П—а, „Объ исторіи русск. нар. Полевого“, IX, 228.

[2]) Ibid., т. IX, 214 (1829 годъ).

[3]) Ibid, IX, 147.

[4]) Ibid. IX, 147.

[5]) Соч. П-а, IX, 228.

[6]) Помимо сдѣл. въ этомъ смыслѣ указ. выше, см. также въ „соч. П-а“ IX, 95, 109—110, 255, 228, 261 и т. д.

тель «М. Т.» [1]). Могла привлекать его къ нимъ и ихъ самостоятельность въ мнѣніяхъ, свобода мысли. Всѣ эти качества, вообще обладающія притягательною силою, П-ъ ставилъ весьма высоко. [2]) Ничего подобнаго въ другихъ журналистахъ того времени—кромѣ только Полевого въ началѣ его дѣятельности, но къ нему П-ъ не благоволилъ—найти было нельзя.

Наконецъ сходились члены Веневитиновскаго кружка съ П-ымъ и въ уваженіи къ народной словесности, къ родной старинѣ и въ серьезныхъ занятіяхъ этими предметами.

Такимъ образомъ, привлекали П-а къ московской молодежи причины самого общаго характера, имѣвшія мало общаго въ своей сущности съ германскою философіею. И къ ея философствованіямъ П-ъ относился всегда весьма сдержанно. Его натура была вообще слишкомъ страстна, подвижна и жизненна для того, чтобы онъ могъ сочувствовать отвлеченнымъ философскимъ занятіямъ. Любопытно въ этомъ отношеніи припомнить свидѣтельство М. П. Погодина, который записалъ въ своемъ дневникѣ (за 1827 годъ), что, когда онъ заходилъ къ Пушкину, тотъ даже «декламировалъ противъ философіи» [3]).

Итакъ, въ 1827 году сталъ въ Москвѣ издаваться новый журналъ «Московскій Вѣстникъ».

Любопытно сопоставить отзывъ Д. В-а и отзывъ П-а о немъ вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ первыхъ книжекъ. В-овъ, переѣхавшій уже въ то время въ Петербургъ, писалъ Погодину: «Публика ожидаетъ отъ него (т. е. отъ журнала) статей дѣльныхъ и даже безъ всякой примѣси этого вздора, который украшаетъ другіе журналы. Говорю это рѣшительно; потому что вслушивался съ намѣреніемъ во всѣ толки о «Московскомъ Вѣстникѣ». Двѣ книжки кажутся немного бѣдными, особенно первая, а вотъ тому причины: во-первыхъ,

---

[1]) Объ немъ см. у Чернышевскаго „Очерки Гогол. періода рус. лит.“, у Ив. Иванова „Ист. рус. крит.“ и въ другихъ книгахъ.

[2]) Онъ, напримѣръ, въ особую честь вмѣнялъ Баратынскому, что тотъ „шелъ своею дорогою одинъ и не зависимъ“. См. Соч. П-а, IX, 61.

[3]) Барсук., II, 71.

мало листовъ, во вторыхъ, слишкомъ крупны статьи. Наконецъ, нѣтъ почти никакихъ современныхъ извѣстій» [1]).

Пушкинъ тоже не былъ удовлетворенъ, но отзывъ его радикально противоположенъ отзыву Д. В-а. Онъ писалъ тому же Погодину (въ 1827 году, 31 августа): «Главная ошибка наша была въ томъ, что мы хотѣли быть слишкомъ дѣльными; стихотворная часть у насъ славная; проза, можетъ быть, еще лучше, но вотъ бѣда: въ немъ (т. е. въ журналѣ) слишкомъ мало вздору... Кстати о повѣстяхъ: они должны быть непремѣнно существенной частью журнала, какъ моды у «Телеграфа». У насъ не то, что въ Европѣ—повѣсти въ диковинку. Онѣ составили первоначальную славу Карамзина, у насъ про нихъ еще толкуютъ. Ваша индѣйская сказка «Переправа» въ европейскомъ журналѣ обратитъ общее вниманіе, какъ любопытное открытіе учености; у насъ тутъ видятъ просто повѣсть и важно находятъ ее глупою. Чувствуете разницу? «Московскій Вѣстникъ», по моему безпристрастному, совѣстному мнѣнію—лучшій изъ русскихъ журналовъ. Въ «Телеграфѣ» похвально одно трудолюбіе, а хороши одни статьи Вяземскаго; но за то за одну статью Вяземскаго въ «Телеграфѣ» отдамъ три дѣльныя статьи «М. В.». Его критика, положимъ, несправедлива, но образъ его побочныхъ мыслей и ихъ выраженія рѣзко оригинальны; онъ мыслитъ, сердитъ и заставляетъ мыслить и смѣяться: важное достоинство, особенно для журналиста». [2]) Правда была на сторонѣ Пушкина. Онъ вѣрно подмѣтилъ слабыя стороны новаго журнала: Пушкинъ былъ гораздо ближе къ пониманію практической жизни, чѣмъ его товарищъ, идеалистъ-философъ. Къ чести Погодина надо сказать, что онъ принялъ въ соображеніе замѣчанія Пушкина: отдѣлъ повѣстей значительно былъ расширенъ, въ началѣ же онъ совсѣмъ почти игнорировался—въ самыхъ первыхъ книжкахъ его даже совсѣмъ не было.

На первыхъ порахъ П-ъ очень близко къ сердцу принималъ судьбу новаго журнала. 31 іюля 1827 года онъ пишетъ, напримѣръ, Дельвигу: «...у меня на рукахъ «Московскій Вѣстникъ», и я не могу его оставить на произволъ судьбы». [3]) Осенью того же года

---

[1]) Барсук., II, 76.

[2]) Соч. П-а VIII, 346—7.

[3]) Соч. П-а VIII, 164.

его редактору: «Что вы дѣлаете? Что нашъ «Вѣстникъ»? Посылаю вамъ лоскутокъ Онѣгина на шапку. Фаустъ и другіе стихи не вышли еще изъ-подъ цензуры; коль скоро получу, перешлю къ вамъ» [1]). Онъ старается привлечь къ участію въ журналѣ своихъ друзей Въ 1826 году 21. ноября пишетъ Языкову: «Вы знаете по газетамъ, что я участвую въ «Моск. Вѣстникѣ», слѣдственно и вы также... Непремѣнно будьте же нашъ»; и тутъ же выражаетъ сѣтованіе по поводу отказа князя Вяземскаго оставить «М. Т.» и перейти въ «М. В.». «Одинъ Вяземскій остался твердъ и вѣренъ «Телеграфу»—жаль, но что-жъ дѣлать?» [2]) Точно также и въ письмѣ къ самому кн. Вяземскому (9 ноября 1826 года) находимъ слѣдующія строки: «Я ничего не говорилъ тебѣ о твоемъ рѣшительномъ намѣреніи соединиться съ Полевымъ, а ей-Богу грустно» [3]).

Когда на Погодина находили сомнѣнія и онъ начиналъ отчаиваться въ успѣхѣ журнала, П-ъ неизмѣнно являлся его утѣшителемъ. Въ 1828 году (1 іюля) онъ пишетъ Погодину: «Московскій Вѣстникъ», конечно, будь сказано между нами, первый, единственный журналъ на святой Руси; должно терпѣніемъ, добросовѣстностію, благородствомъ и особенно настойчивостію оправдать ожиданія истинныхъ друзей словесности и одобреніе великаго Гёте. — Честь и слава милому нашему Шевыреву. Вы прекрасно сдѣлали, что напечатали письмо нашего германскаго патріарка. Оно, надѣюсь, дастъ Шевыреву болѣе вѣсу во мнѣніи общемъ. А того-то и надобно. Пора уму и знаніямъ вытѣснить и Булгарина, и Ѳедорова... Впередъ! и да здравствуетъ «Московскій Вѣстникъ»! Растолковали ли вы «Телеграфу», что онъ дуракъ?...» [4]). Если П-ъ и позволяетъ себѣ упрекнуть редактора, то упреки его самаго благодушнаго, незлобиваго характера, которые скорѣе подстрекнутъ ослабѣвающую энергію, чѣмъ отобьютъ послѣднюю охоту продолжать начатое дѣло. «Издатель журнала» говоритъ, напримѣръ, П-ъ Погодину «долженъ всѣ мѣры употребить, дабы сдѣлать свой журналъ какъ можно совершеннымъ, а не бросаться за барышомъ». [5])—И са-

[1]) Соч. П-а, VIII, 345.
[2]) Ibid., VIII, 335.
[3]) Ibid., VIII, 53.
[4]) Ibid. VIII, 349.
[5]) Соч. П—ва, VIII, 347.

мому редактору журнала П-ъ даетъ весьма вѣрную характеристику: «Погодинъ очень, очень дѣльный и честный молодой человѣкъ, истинный нѣмецъ по чистой любви своей къ наукѣ, трудолюбію и умѣренности» [1]).

Все это—и вполнѣ вѣрныя замѣчанія о «М. В.», и мѣткая характеристика его редактора, которая, сказать къ слову, съ полнымъ успѣхомъ приложима и къ всѣмъ прочимъ членамъ Веневитиновскаго кружка,—показываетъ, что П—ъ не только близко стоялъ къ журналу, но и хорошо понималъ его значеніе въ дѣлѣ просвѣщенія Россіи. Это вполнѣ подтверждается и тѣмъ отзывомъ о русскихъ шеллингіанцахъ, который далъ П—ъ уже нѣсколько лѣтъ спустя послѣ прекращенія «М. В.». Именно, въ 1836 году (въ статьѣ по поводу «Мнѣнія М. А. Лобанова о духѣ словесности, какъ иностранной, такъ и отечественной») онъ писалъ между прочимъ:

«Мы не принадлежимъ къ числу подобострастныхъ поклонниковъ нашего вѣка, но должны признаться, что науки сдѣлали шагъ впередъ. Умствованія вѣликихъ европейскихъ мыслителей не были тщетны и для насъ. Теорія наукъ освободилась отъ эмпиризма, возымѣла видъ болѣе общій, оказала болѣе стремленія къ единству. Германская философія, особенно въ Москвѣ, нашла много молодыхъ, пылкихъ, добросовѣстныхъ послѣдователей, и хотя говорили они языкомъ мало понятнымъ для непосвященныхъ, но тѣмъ не менѣе ихъ вліяніе было благотворно и часъ отъ часу становится болѣе ощутительно» [2]). Здѣсь вѣрно указана роль русскихъ шеллингіанцевъ въ исторіи нашего просвѣщенія. Мы съ своей стороны прибавимъ только, что успѣхамъ общественнаго развитія они способствовали никакъ не проповѣдью германской философіи самой по себѣ, а историческими статьями, въ большомъ довольно количествѣ помѣщавшимися въ «Московскомъ Вѣстникѣ» и главнымъ образомъ литературною критикою.

Однако, съ какимъ живымъ сочувствіемъ ни отнесся П—ъ сначала къ «М. В.», вполнѣ справедливо замѣчаніе проф. Кирпични-

---

[1]) Соч. П—а, VIII, 320.

[2]) Соч. П—а, IX, 431.

кова, что «въ его отношеніяхъ къ Московскому кружку нельзя не замѣтить нѣкоторой двойственности» [1]).

Дѣйствительно, давши обѣщаніе редакціи «М. В.» печатать свои стихотворенія въ этомъ журналѣ [2]), и, какъ мы видѣли, называя даже журналъ своимъ [3]), онъ уже въ 1828 году подъ предлогомъ, что «М. В.» напечаталъ его отрывокъ изъ «Евгенія Онѣгина» (подъ заглавіемъ «Москва» въ № 1 «Московскаго Вѣстника» за 1828 г.) съ непростительными ошибками позволилъ Булгарину перепечатать этотъ отрывокъ въ его «Сѣверной Пчелѣ» [4]).

Затѣмъ, будучи сотрудникомъ «М. В.», П—ъ въ то же время считаетъ своимъ долгомъ поддерживать изданіе своего *друга*, барона Дельвига, печатаетъ свои произведенія и въ его «Сѣверныхъ Цвѣтахъ». Напримѣръ, уже въ срединѣ 1827 года—годъ основанія «М. В.»—онъ пишетъ Дельвигу: «Вотъ тебѣ обѣщанная элегія [5]), душа моя. Теперь у тебя отрывокъ изъ Онѣгина, отрывокъ изъ Бориса да эта пьеса. Постараюсь прислать еще что-нибудь... Если кончу «Посланіе» къ тебѣ о черепѣ твоего дѣда, то мы и его тиснемъ [6]). Въ «Сѣверныхъ» же «Цвѣтахъ» напечатанъ въ 1828 году «Графъ Нулинъ».

Проф. Кирпичниковъ объясняетъ такую двойственность въ отношеніяхъ П—а къ «М. В.» слѣдующимъ образомъ: «Онъ (т. е. Пушкинъ) вполнѣ сочувствовалъ его серьезному взгляду на литературу, его убѣжденію въ правѣ искусства на безграничную свободу и желанію низвергнуть господство французскаго вкуса, но онъ вовсе не хотѣлъ подчинять нашу юную словесность философскимъ нѣмецкимъ теоріямъ (которыя онъ и понималъ неясно)» [7]). Къ указанной здѣсь главной причинѣ охлажденія П—а къ «М. В.» надо присоединить еще и другія, хотя и не столь глубокія, но коренившіяся въ самой натурѣ поэта.—Всѣмъ извѣстно, что дружба для П—а была чѣмъ-то святымъ, религіознымъ, что онъ подъ ея вліяніемъ часто доходилъ даже

---

[1]) Энциклопед. Словарь, изд. Брогкаузъ и Ефронъ, полут. 50, 839.

[2]) См. въ „М. В." объявл. о подпискѣ на 1828 г.

[3]) См. выше стр. 72—73, а также стр. 64—65.

[4]) Подробности см. у Барсук., II, 181 стр. и слѣд.

[5]) „Подъ небомъ голубымъ страны своей родной".

[6]) Соч. Ц—а, VIII, 163—4.

[7]) Энцикл. Слов. Брогкауза и Ефрона, полут. 50, стр. 839.

до пристрастія въ своихъ литературныхъ сужденіяхъ, что иной разъ въ поэтѣ онъ любилъ и защищалъ только своего друга, хотя, какъ справедливо замѣчаетъ академикъ Л. Майковъ, это происходило, «конечно, только по его добродушію, а не по односторонности или ограниченности его литературнаго пониманія» [1]). А между тѣмъ нѣкоторые изъ сотрудниковъ «М. В.» не чествовали иныхъ изъ друзей П—а. Такъ, П—ъ никакъ не могъ переварить того, что Шевыревъ не признавалъ поэзіи Баратынскаго. Въ 1828 году (19-го февраля) въ письмѣ къ Погодину, очевидно, по прочтеніи статьи Шевырева о Баратынскомъ, напечатанной въ первой книжкѣ «М. В.» за этотъ годъ, П—ъ говоритъ съ горечью: «Шевыреву пишу особо. Грѣхъ ему не чувствовать Баратынскаго, но Богъ ему судья» [2]). Точно также Шевыревъ въ своихъ воспоминаніяхъ свидѣтельствуетъ, что П—ъ «досадовалъ на московскихъ литераторовъ за то, что они разбранили «Андромаху» Катенина, хотя «Андромаха» эта довольно была плохая вещь» [3]). П—ъ не только не раздѣлялъ такого взгляда на Катенина и его произведенія, а держался прямо, можно сказать, діаметрально противоположнаго этому мнѣнія. Онъ очень высоко ставилъ литературные таланты Катенина и даже рѣшался утверждать, что «изъ нашихъ Шлегелей одинъ Катенинъ знаетъ свое дѣло; прочіе попугаи или сороки низовскія, которыя картавятъ одну имъ натверженную» [4]). Онъ одинъ, по мнѣнію П—а, правильно понималъ правила драматическаго искусства, а объ «Андромахѣ», которую такъ безпощадно «разбранили московскіе литераторы», онъ писалъ (въ 1830 году), что это—«можетъ быть лучшее произведеніе нашей драмы по силѣ истинныхъ чувствъ, по духу истинно трагическому» [5]). Не по сердцу, вѣроятно, были П—у и возраженія на статьи князя Вяземскаго, сотрудника «М. Т.», не разъ появлявшіяся на страницахъ «М. В.». Хотя П—ъ далеко не всегда соглашался съ мнѣніями князя Вяземскаго, однако очень высоко цѣнилъ его.

Мы видѣли уже, что въ одномъ изъ писемъ къ Погодину онъ прямо заявлялъ, что «за одну статью Вяземскаго въ «Телеграфѣ»

---

[1]) „Историко-литер. очерки", 184.

[2]) Соч. П—а, VIII, 348.

[3]) Л. Майковъ „Истор.-лит. очерки", 166.

[4]) Письмо къ Плетневу, 1831 г. 7 января (соч. П—а, VIII, 313).

[5]) Соч. П—а, IX, 283.

отдастъ три дѣльныхъ статьи «Московскаго Вѣстника» [1]). И въ 1830 году въ замѣткѣ «О статьяхъ князя Вяземскаго» находимъ такія строки: «Критическія статьи князя Вяземскаго носятъ на себѣ отпечатокъ ума тонкаго, наблюдательнаго, оригинальнаго. Часто не соглашаешься съ его мыслями, но онъ заставляетъ мыслить» [2]).

Вотъ на почвѣ всѣхъ этихъ данныхъ и создавалось недовольство П—а «Московскимъ Вѣстникомъ», откуда и двойственность его отношеній къ этому журналу. Въ 1830 году, когда была основана «Литературная Газета», онъ помѣстилъ въ ней даже полемическую замѣтку, направленную противъ «М. В.» [3]).

Уже одно это двойственное отношеніе П — а къ журналу даетъ намъ право не довѣрять тому, что говоритъ Шевыревъ объ извѣстномъ стихотвореніи П—а «Чернь», напечатанномъ впервые въ «М. В.» (1829 годъ, № 1). По его словамъ, «П—ъ написалъ эту пьесу *подъ вліяніемъ* художественной теоріи Шеллинга, проповѣдовавшей освобожденіе искусства, и съ которою П—ъ познакомился въ кружкѣ Веневитинова» [4]). Однако, какъ мы уже указывали, къ такому взгляду на искусство и поэзію поэтъ пришелъ совершенно самостоятельнымъ путемъ, независимо отъ чужихъ критическихъ указаній,—еще въ свою бытность въ селѣ Михайловскомъ. Поэтому, мы вслѣдъ за академикомъ Майковымъ рѣшительно отвергаемъ достовѣрность показанія Шевырева о происхожденіи «Черни» [5]). Не можетъ быть рѣчи о вліяніи теоріи московскихъ шеллингіанцевъ о поэзіи и ея задачахъ на сужденія П—а объ томъ же предметѣ. Правда, поэтъ ратовалъ за ту же «нравственную свободу въ литературѣ» [6]), какую проповѣдывалъ Д. Веневитиновъ, а вмѣстѣ съ нимъ и прочіе сотрудники «М. В.», но тутъ было *простое совпаденіе* теоретическихъ убѣжденій, къ которымъ каждая сторона пришла независимо отъ другой, своимъ собственнымъ путемъ—не больше, какъ мы указывали уже и выше. Эстетическія убѣжденія П—а, сло-

---

[1]) Соч. П—а, VIII, 346.
[2]) Ibid., IX, 243.
[3]) Ibid., IX, 228, въ статьѣ „О исторіи русск. народа, Полевого“ (статья 2-я).
[4]) Л. Майковъ, 178.
[5]) Ibid., 179.
[6]) Собр. соч. Д. В—а, 169.

жившіяся уже къ этому времени, весьма точно и вмѣстѣ съ тѣмъ сжато формулированы проф. Кирпичниковымъ: «Апоѳеозъ поэзіи и отвращеніе отъ прозы практической, филистерской жизни, доведенное до абсурда Шлегелями, у П. выразилось твердымъ убѣжденіемъ въ независисимости искусства отъ какихъ бы то ни было извнѣ наложенныхъ цѣлей и въ его высокогуманномъ вліяніи» [1]). Но къ такому убѣжденію П—ъ могъ прійти—и дѣйствительно пришелъ, какъ мы видѣли—и на основаніи простого изученія народной поэзіи и классическихъ писателей Западной Европы, чему онъ съ такимъ увлеченіемъ предавался со времени своей ссылки, особенно въ селѣ Михайловскомъ. Тутъ нѣтъ нужды видѣть вліяніе идей шеллингіанцевъ—тѣмъ болѣе, что, какъ мы показали выше, П—ъ въ сущности не особенно благоволилъ къ нимъ, когда поспалъ первый пылъ увлеченія, и даже отдѣлился впослѣдствіи отъ ихъ журнала, когда былъ основанъ литературный органъ его другомъ—«Литературная Газета» барона Дельвига, основанная въ 1830 году.

Что касается вопроса спеціально о «Черни», въ которой большинство прежнихъ нашихъ критиковъ и изслѣдователей исторіи отечественной литературы хотѣли видѣть цѣльное художественное profession de foi П—а, что и было исходной причиной ихъ неправильныхъ сужденій, то, намъ кажется, онъ вполнѣ выясненъ академикомъ Майковымъ, и мы, не надѣясь изложить выводы, къ которымъ пришелъ уважаемый изслѣдователь, лучше его, рѣшаемся представить вниманію читателей громаднѣйшую выписку изъ его очерка: «О «Черни» у насъ было много писано; ее толковали на разные лады. Но кажется, главною ошибкой большинства критиковъ было то, что они (въ числѣ ихъ, очевидно, и Шевыревъ) искали въ Пушкинскомъ стихотвореніи того, чего и не думалъ давать авторъ, именно искали цѣльной художественной теоріи, и объяснивъ по своему найденное, одни одобряли мысль поэта, другіе осуждали ее.

Чтобы не выйти изъ предѣловъ мысли, намѣченныхъ авторомъ «Черни», слѣдуетъ прежде всего имѣть въ виду, что въ рукописи

---

[1]) Энцикл. Слов. Брокгауза и Ефрона, полут. 50, 846—7; или, А. Кирпичниковъ „Очерки по исторіи новой русской литературы“, стр. 132; здѣсь послѣ слова *жизни* слѣдуетъ: „такъ сильно выраженныя въ Вертерѣ и доведенныя до абсурда“ и т. д., какъ и въ Словарѣ.

эта пьеса была названа «Ямбомъ», по примѣру «Ямбовъ» Андрея Шенье, то-есть, тѣхъ произведеній, въ которыхъ столь любимый Пушкинымъ французскій поэтъ бросалъ укоры и обличенія своимъ обезумѣвшимъ современникамъ. Тотъ же смыслъ жесткой сатиры имѣетъ и «Чернь» русскаго поэта: въ спорѣ между толпою и пѣвцомъ П—ъ изображаетъ два различные взгляда на поэзію: одинъ—принадлежащій людямъ, не посвященнымъ въ тайны творчества, и другой—свойственный самому художнику. Сопоставленіе двухъ воззрѣній естественно требовало, чтобы каждое изъ нихъ было очерчено въ краскахъ рѣзко различныхъ, чтобы, грубому требованію пользы было противопоставлено спокойное служеніе свободному вдохновенію. Между тѣмъ какъ въ желаніи толпы услышать смѣлые уроки звучитъ голосъ лицемѣрія, поэтъ отвѣчаетъ ей равнодушіемъ и презрѣніемъ, и предпочитаетъ уйти въ свѣтлый, ему одному доступный міръ творчества. Таковъ смыслъ послѣднихъ четырехъ строкъ стихотворенія, тѣхъ самыхъ, которыя всего больше подвергались критическимъ пересудамъ. Въ упоминаніи «звуковъ сладкихъ и молитвъ» хотѣли видѣть убѣжденіе поэта, будто вся задача искусства заключается въ мастерствѣ изящнаго исполненія, въ художественной отдѣлкѣ формы. Но для того, чтобы признать, какъ далеко такое объясненіе отъ прямой мысли П—а, достаточно припомнить, что въ одинъ годъ съ «Чернью» написаны имъ «Воспоминаніе» «26-е мая 1828 года» (Даръ напрасный, даръ случайный), «Предчувствіе», «Анчаръ», «Опричникъ», «Полтава» и другія произведенія, въ которыхъ совершенство художественной формы сочетается съ глубокимъ нравственнымъ смысломъ. Такъ всегда было въ поэтической дѣятельности П—а послѣ того, какъ онъ пережилъ періодъ раннихъ юношескихъ увлеченій. А между тѣмъ, обвиненіе въ безнравственности было однимъ изъ обычныхъ пріемовъ нападенія, къ которымъ прибѣгали современные Пушкину критики, относившіеся къ нему враждебно.

Обвиненія такого рода начались еще очень давно, съ появленія «Руслана и Людмилы»; не прекращались они и во второй половинѣ двадцатыхъ годовъ, когда, по возвращеніи Пушкина изъ ссылки, различныя обстоятельства обязывали его къ особливой осторожности, чтобы не подвергаться новымъ стѣсненіямъ: это было время, когда онъ получалъ моральныя и литературныя наставленія даже отъ гра-

фа Бенкендорфа и оказывался въ необходимости оправдываться противъ выговоровъ. Не можетъ подлежать сомнѣнію, что стихотвореніе «Чернь» есть именно отвѣтъ со стороны поэта его непризванныхъ, лицемѣрныхъ судьямъ, какъ въ обществѣ, такъ и въ журналистикѣ. Что Пушкинъ обращался въ немъ не къ народной черни, а къ пустой толпѣ свѣтской, это видно, между прочимъ, изъ любопытнаго разсказа Шевырева о чтеніи стихотворенія самимъ авторомъ въ салонѣ княгини З. А. Волконской» [1]). А Шевыревъ разсказываетъ по этому поводу вотъ что: «Будучи откровенъ съ друзьями своими, не скрывая своихъ литературныхъ трудовъ и плановъ, радушно сообщая о своихъ занятіяхъ людямъ, интересующимся поэзіей, П—ъ терпѣть не могъ, когда съ нимъ говорили о стихахъ его и просили что-нибудь прочесть въ большомъ свѣтѣ. У княгини Зинаиды Волконской бывали литературныя собранія понедѣльничныя; на одномъ изъ нихъ пристали къ Пушкину, чтобы прочесть. Въ досадѣ онъ прочелъ «Чернь» и, кончивъ, съ сердцемъ сказалъ: «Въ другой разъ не станутъ просить» [2]).

Въ виду всего сказаннаго мы вмѣстѣ съ академикомъ Майковымъ охотно присоединяемся къ мнѣнію Н. Н. Страхова. «Говорятъ» пишетъ онъ «въ Москвѣ въ то время (въ половинѣ двадцатыхъ годовъ) начало распространяться нѣмецкое ученіе о великомъ значеніи поэтовъ, и нѣкоторые приписываютъ вліянію этого ученія тогдашнія высокомѣрныя стихотворенія Пушкина. Кажется однако же, они могутъ быть объяснены тѣмъ, что совершалось тогда съ самимъ П—ымъ. Прямо изъ своей собственной жизни онъ вынесъ необходимость уединиться отъ народа»—мы бы сказали только: отъ публики, отъ «непризванныхъ, лицемѣрныхъ судей, какъ въ обществѣ, такъ и въ журналистикѣ»,—а не отъ народа—«такъ или иначе перенести его равнодушіе и остаться самимъ собою. Съ нимъ случилось то самое, что онъ вообще предвѣщаетъ «поэту»:

„Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной“ [3]).

---

[1]) Л. Майковъ „Истор.-литер. очерки“, 180, 181, 182.

[2]) Ibid., 166.

[3]) Н. Страховъ „Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ“. Спб. 1888 года, 8—9; есть и второе изданіе, Кіевъ, 1897 г.

И такъ, въ концѣ-концовъ мы приходимъ къ заключенію, что Веневитиновскій кружокъ и его журналъ не имѣлъ вліянія на развитіе художественнаго таланта Пушкина и на выработку его эстетическихъ воззрѣній.

Нельзя также говорить и о томъ, чтобы Д. В—овъ имѣлъ вліяніе на самый способъ творчества, процессъ созданія художественныхъ произведеній Пушкинымъ. Д. В—овъ самъ въ статьѣ «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала» далъ намъ указаніе на послѣдовательность процесса въ его поэтическомъ творчествѣ, и къ нему вполнѣ приложимы слова, сказанныя Льюисомъ въ біографіи Гёте: «Поэтъ можетъ «освободить свою грудь отъ опаснаго матеріала», изливъ этотъ матеріалъ въ художественное произведеніе; но во всякомъ случаѣ онъ необходимо долженъ предварительно пережить то, что̀ изображаетъ,—долженъ предварительно побѣдить свои страсти, совладать съ тревожащими его мыслями, и только тогда уже можетъ онъ облечь свои страсти и мысли въ классическое выраженіе... Художникъ не рабъ, а господинъ; онъ властвуетъ надъ страстями, а не страсти надъ нимъ. Художественное творчество принимаетъ въ свое святилище великія скорби міра, но само оно не есть скорбь. Моментъ творчества наступаетъ для художника только тогда уже, когда буря миновала, когда громовыя тучи смѣнились спокойными массами облаковъ, когда уже сквозь облачныя массы проглянуло солнце и озарило ихъ своими лучами» [1]). Слова эти одинаковымъ образомъ приложимы и къ творчеству П—а, по крайней мѣрѣ, въ его зрѣлую пору. Подтверждаетъ это и свидѣтельство самого поэта о процессѣ его творчества въ эпоху созданія «Бориса Годунова», который именно уже съ полнымъ правомъ можно назвать «однимъ изъ знаменій русско-пушкинской поэзіи» [2]).

Въ письмѣ отъ 1825 года (сентябрь) къ Ник. Ник. Раевскому онъ, говоря о томъ, какъ создавался «Борисъ Годуновъ», замѣчаетъ: «Я пишу и *думаю*» [3]). Затѣмъ къ 1824 году относится слѣдующая замѣтка: «Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображеній понятій, слѣдственно и объясненію

[1]) Lewes „Life of Goethe"; нами взято изъ соч. Тихонравова, т. III, ч. I, прим. стр. 85; по-русски, насколько намъ извѣстно, есть только сокращ. изложеніе.

[2]) См. Кирѣевскій „Нѣчто о характерѣ поэзіи А. С. Пушкина".

[3]) Соч. П—а, VIII, 287.

оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи. Восторгъ исключаетъ *спокойствіе — необходимое условіе прекраснаго.* [1]) Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому. Восторгъ не продолжителенъ, не постояненъ, слѣдовательно не въ силахъ произвесть истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмѣримо выше Пиндара. Ода стоитъ на низшихъ ступеняхъ творчества. Она исключаетъ *постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго*» [2]). Итакъ, трудъ, по Пушкину, первое и непремѣнное условіе истиннаго поэтическаго творчества, безъ него невозможно созданіе истинно великихъ поэтическихъ произведеній [3]).

О «Нѣсколькихъ мыслях въ планъ журнала» Пушкинъ знать въ это время ничего еще не могъ и знакомъ съ Д. В—ымъ и его кружкомъ еще не былъ. Слѣдовательно, онъ самъ лично дошелъ до того «новаго способа», о которомъ говоритъ въ приведенномъ выше письмѣ къ Рылѣеву, и который только совпадалъ со способомъ творчества В—а,—и дошелъ до него, очевидно, просто путемъ детальнаго изученія произведеній Байрона, Вальтеръ-Скотта и Шекспира (въ ссылкѣ), безъ всякихъ съ чьей бы то ни было стороны критическихъ указаній: мы, по крайней мѣрѣ, ничего не знаемъ ни о какихъ подобнаго рода сторонніхъ вліяніяхъ на П—а за время его ссылки. П—ъ послѣ «Бориса Годунова» уже до самаго конца дней своихъ не покидалъ своего «новаго способа».

Конечно, возможно, — и даже не подлежитъ сомнѣнію — что въ своихъ частныхъ бесѣдахъ какъ съ Д. В—ымъ, такъ и съ другими членами кружка, Пушкинъ говорилъ объ этомъ предметѣ, и, конечно, то обстоятельство, что они сходились въ своихъ сужденіяхъ, должно было взаимно укрѣплять въ нихъ рѣшимость строго слѣдовать принятому уже мнѣнію. Что касается П—а, то задатки «новаго способа», намъ кажется, можно найти и въ его юношескихъ произведеніяхъ. Онъ, напримѣръ, очень долго и усидчиво работалъ надъ поэмою «Русланъ и Людмила», такъ что про нее никакъ нельзя сказать,

---

[1]) Курсивъ послѣд. слова и въ подлин., остал. нашъ.

[2]) Соч. П—а, IX, 68; послѣдній курс. нашъ.

[3]) Подробнѣе объ этомъ см. у Тихонравова, рѣчь о А. С. П—ѣ, 1880 года, 6 іюня, въ собр. соч. Тих. т. III, ч. I.

чтобы она была плодомъ «перваго впечатлѣнія». Эти задатки «новаго способа» благодаря благопріятнымъ условіямъ только получили свое окончательное развитіе во время его ссылки [1]).

Такимъ образомъ, о чемъ-нибудь болѣе значительномъ, чѣмъ о простомъ сходствѣ принятаго Пушкинымъ уже ранѣе самостоятельно правила для послѣдовательности процесса художественнаго творчества съ мнѣніемъ В — а о томъ же предметѣ, на нашъ взглядъ, не можетъ быть и рѣчи.

Нѣтъ сомнѣнія, что, и не сблизься Пушкинъ съ Веневитиновымъ и кружкомъ «московскихъ литераторовъ», онъ не оставилъ бы выработаннаго еще въ ссылкѣ «новаго способа» творчества.

Мы рѣшительно не согласны съ г. Пятковскимъ, который, сопоставляя поэзію П — а съ поэзіей В—а говоритъ: «Тамъ (т. е. у Пушкина) страшная сила *непосредственнаго* творчества, тутъ (т. е. у Веневитинова) глубокая внутренняя работа, въ которой талантъ не вдругъ обнаруживаетъ свои скрытыя силы» [2]). «Непосредственное творчество», т. е. творчество подъ впечатлѣніемъ «перваго чувства», по выраженію Веневитинова, можно найти у Пушкина развѣ только въ юношескихъ произведеніяхъ, относящихся къ тому времени, когда талантъ его еще не развернулся во всей его силѣ.

Намъ остается теперь сказать только о «Новой сценѣ между Фаустомъ и Мефистофелемъ» и вообще объ отношеніи Пушкина къ Гёте.

Анненковъ говоритъ: «За нѣсколько времени до смерти своей, Веневитиновъ написалъ «Посланіе Пушкину», въ которомъ призывалъ пѣвца Байрона и Шенье—воспѣть великаго германскаго старца, Гёте. Пушкинъ въ превосходной сценѣ, созданной въ это же

---

[1]) Мы отнюдь не хотимъ сказать этимъ, чтобы ссылка была вообще полезна, благодѣтельна для П—а и его таланта; конечно, въ лучшемъ положеніи П—ъ развился бы еще скорѣе; онъ только сумѣлъ, къ великой своей чести, обратить себѣ на пользу и тѣ дурныя обстоятельства, въ которыя попалъ — не больше, онъ не былъ сломленъ судьбою, упорно выдержалъ натискъ всякаго рода непріятностей, которымъ подвергался. Подъ „благопріятными условіями“ мы разумѣемъ его занятія за время ссылки западно-европейскими классиками и изученіе народнаго творчества. Но все это могло быть и безъ ссылки.

[2]) Соч. В—а, 58; курсивъ нашъ.

время и названной имъ: Новая сцена между Фаустомъ и Мефистофелемъ, — измѣнилъ, отчасти, образы германскаго поэта, но съ замѣчательною силою, энергіей поэзіи» [1]).

Данная выше характеристика Д. В—а, какъ поэта, показываетъ, что по роду своего поэтическаго дарованія онъ всего ближе подходитъ къ Гёте; этотъ поэтъ былъ для него, какъ и для его друзей, идеаломъ; и В—овъ оставилъ намъ нѣсколько прямо, можно сказать, превосходныхъ и по близости къ подлиннику и по красотѣ выраженія переводовъ изъ произведеній великаго германскаго поэта, что лучше всего показываетъ, какъ хорошо понималъ его В—овъ [2]). Мы знаемъ, съ какимъ высокимъ уваженіемъ относился В—овъ къ поэзіи Пушкина и его таланту, что такъ ярко выразилось и въ «Посланіи» и въ его критическихъ статьяхъ о П—ѣ; поэтому, происхожденіе «Посланія Пушкину» для насъ вполнѣ понятно.

«Посланіе» относится къ 1826 году [3]). «Новая сцена между Фаустомъ и Мефистофелемъ» появилась впервые въ печати въ 1828 году (въ № 9 «Московскаго Вѣстника» [4]). Но мы имѣемъ свидѣтельство М. П. Погодина, который въ своемъ дневникѣ *за 1826 годъ* (сентябрь мѣсяцъ) записалъ слѣдующія слова Д. В — а, въ семьѣ, котораго наканунѣ (10 сентября) Пушкинъ читалъ своего «Бориса Годунова»: «Борисъ Годуновъ чудо. У него (т. е. у Пушкина) еще Самозванецъ, Моцартъ и Сальери, Наталья Павловна, *продолженіе Фауста, 8-я пѣснь* [5]) Онѣгина» [6]). Тутъ необходимо обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство. У Погодина записано: «8-я пѣснь», «Моцартъ и Сальери». Между тѣмъ намъ извѣстно, что у Пушкина въ это время могли быть только *наброски* 8-й главы «Евг. Онѣг». (8-я глава такъ и не была отдѣлана въ этомъ году). Точно такъ же и «Моцартъ и Сальери» могъ быть въ это время только въ черновомъ видѣ, или же даже просто лишь въ замыслахъ у поэта: настоящій свой видъ эта пьеса получила много позднѣе (по «хро-

---

[1]) „Матеріалы“, 177.

[2]) В—овъ перевелъ изъ Гёте: „Земная участь и апофеозъ художника“, отрывки изъ „Фауста“ — стихами, и „Сцены изъ Эгмонта“—проза.

[3]) См. въ Собр. соч. Д. В—а, стр. 101—2.

[4]) Въ изданіи „соч. П—а“ Суворина ошибочно указанъ 1826 годъ (см. т. II, 284).

[5]) Курсивъ нашъ.

[6]) Барсуковъ, II, 42.

нологическому списку произведеній Пушкина» въ 1830 году). Имѣя въ виду неполную точность въ сообщеніяхъ Погодина, касающихся «Моцарта и Сальери» и «8-й пѣсни Евг. Онѣгина», можно думать, что и «Продолженіе Фауста» (т. е., очевидно, «Новая сцена между Фаустомъ и Мефистофелемъ») въ то время, когда была сдѣлана Погодинымъ запись, представляло изъ себя еще *только наброски*, и не было отдѣлано окончательно. Въ хронологическомъ спискѣ произведеній А. С. П—а «Новая сцена между Ф. и М.» отнесена къ 1826 году [1]), такъ что она довольно долго пролежала въ портфелѣ П — а, что́, какъ извѣстно, вообще нерѣдко случалось съ его произведеніями, или же, что́ кажется намъ болѣе вѣроятнымъ, получила свой окончательный видъ, въ какомъ явилась въ печати, не сразу, а претерпѣла до этого рядъ переработокъ, отнесена же составителемъ списка къ 1826 году, очень возможно, исключительно на основаніи приведенной выше записки Погодина.

Не можетъ быть сомнѣнія, что П—ъ зналъ Веневитиновское «Посланіе», и поэтому весьма правдоподобно, что «Новая сцена между Ф. и М.» явилась подъ вліяніемъ призыва со стороны В—а. Мы видѣли уже, съ какимъ уваженіемъ отзывался П — ъ о критической статьѣ В—а (по поводу первой главы «Евг. Онѣг.»). Отсюда естественно предположить, что онъ со вниманіемъ отнесся къ «Посланію» молодого поэта-мыслителя, и принялъ къ свѣдѣнію его совѣтъ.

В—овъ призывалъ П—а къ созданію поэтическихъ произведеній въ духѣ Гёте, но еще Бѣлинскій въ статьяхъ о П—ѣ сказалъ, что «Сцена изъ Фауста» — превосходная пьеса, но что «пафосъ ея не совсѣмъ Гётевскій» [2]). И это было весьма справедливое сужденіе. Чѣмъ же объяснить, что П — ъ не далъ въ своемъ произведеніи Гёте? Здѣсь возникаетъ вопросъ, понималъ ли онъ Гёте и, слѣдовательно, могъ ли дать его.

Извѣстно, что П—ъ неохотно читалъ по-нѣмецки и никогда хорошо не зналъ нѣмецкаго языка. Поэтому, надо думать, что Гёте онъ читалъ не въ подлинникѣ. Это подтверждаетъ и Шевыревъ въ своихъ воспоминаніяхъ. «Шекспира (а равно Гёте и Шиллера)

---

[1]) Соч. П—а, т, I, L.

[2]) Соч. Бѣл., VIII, 409.

разсказываетъ онъ «онъ (т. е. Пушкинъ) не читалъ въ подлинникѣ, а во французскомъ старомъ переводѣ, поправленномъ Гизо, но понималъ его геніально» [1]). Необходимо внести небольшія поправки въ свидѣтельсто Шевырева. Во-первыхъ, изъ словъ Шевырева можно понять, пожалуй, что П—ъ читалъ и Шекспира, и Гёте, и Шиллера во французскомъ переводѣ Гизо, тогда какъ въ дѣйствительности въ переводѣ Гизо онъ могъ читать, конечно, только Шекспира по той простой причинѣ, что Гизо не переводилъ ни Гёте, ни Шиллера. И Шиллера, и Гёте Пушкинъ могъ читать—и, безъ сомнѣнія, читалъ—не на нѣмецкомъ языкѣ, а на французскомъ, который онъ такъ отлично зналъ, но не въ переводѣ Гизо, а чьемъ-нибудь еще. Во-вторыхъ, нельзя вполнѣ принять и свидѣтельства Шевырева о томъ, что П—ъ читалъ Шекспира только въ переводѣ Гизо. Въ библіотекѣ П—а найдены экземпляры сочиненій Шекспира на англійскомъ языкѣ. Вообще поэтъ, какъ извѣстно, *могъ* читать по-англійски, хоть, можетъ быть, и не особенно свободно и бѣгло. Байрона онъ читалъ, напримѣръ, безъ сомнѣнія, въ подлинникѣ. Шекспира читать въ подлинникѣ, конечно, гораздо труднѣе, чѣмъ Байрона. Но то обстоятельство, что въ библіотекѣ П—а оказался Шекспиръ на англійскомъ языкѣ, кажется, даетъ намъ право сдѣлать, по меньшей мѣрѣ, такого рода заключеніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда надо было прочесть что-нибудь наскоро или поскорѣе навести какую-нибудь справку, поэтъ бралъ французскій переводъ Шекспира, въ другихъ же случаяхъ обращался къ англійскому подлиннику.— Какъ бы то ни было, не можетъ быть спора относительно справедливости замѣчанія Шевырева, что «Пушкинъ понималъ Шекспира геніально»: поэтъ прекрасно доказалъ это своимъ «Борисомъ Годуновымъ».—Могъ Пушкинъ читать Гёте и во французскомъ переводѣ, а не въ подлинникѣ, и несмотря на это, понимать его «геніально». Такъ это и было.

Къ нашему счастью, сохранился весьма не большой, но крайне любопытный отрывокъ одного письма Пушкина изъ Одессы къ неизвѣстному лицу въ Москвѣ, относящійся къ марту 1824 года.

Вотъ этотъ отрывокъ: «Читая Библію, святой духъ иногда мнѣ по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. Ты хочешь узнать,

[1]) Л. Майковъ, 165.

что я дѣлаю?—Пишу пестрыя строфы романтической поэмы и беру уроки чистаго аѳеизма. Здѣсь англичанинъ, глухой философъ, единственный умный аѳей, котораго я еще встрѣтилъ. Онъ исписалъ листовъ тысячу, чтобы доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent createur et regulateur, мимоходомъ уничтожая слабыя доказательства безсмертія души. Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, болѣе всего правдоподобная» [1])... Насколько можно уловить изъ этого уцѣлѣвшаго отрывка связь мыслей П—а, надо полагать, что Гёте сопоставляется съ Библіею вовсе не съ точки зрѣнія поэтическихъ достоинствъ. Изъ отрывка видно, что въ то время, когда писалось письмо, П—ъ былъ увлеченъ атеистическими идеями. Поэтому, можно думать, что П—ъ зачитывается Гёте, предпочитая даже его Библіи,—не столько потому, что находитъ въ немъ бо́льшую поэтическую глубину, чѣмъ въ Библіи, сколько потому, что прельщается въ произведеніяхъ Гёте, его увлеченіемъ природой, которое въ соединеніи съ философскими стремленіями дѣлаетъ Гёте однимъ изъ самыхъ видныхъ поэтовъ—пантеистовъ.

Атеистическими идеями П—ъ уже по самой своей натурѣ не могъ увлекаться глубоко и надолго: онъ былъ, какъ извѣстно, довольно-таки суевѣренъ, суевѣріе же никогда не уживается съ атеизмомъ. И въ данномъ случаѣ увлеченіе атеизмомъ не могло быть—да и не было—глубокимъ и продолжительнымъ. Слѣдовательно, если бы въ Гёте увлекала П—а исключительно только вышеуказанная сторона, то вскорѣ же по минованіи увлеченія атеизмомъ или одновременно съ нимъ должно было миновать и увлеченіе Гете. Въ дѣйствительности же было не такъ. П—ъ не переставалъ изучать Гёте и послѣ того, какъ остыло его недолговременное увлеченіе атеизмомъ. Но въ 1824 году, въ годъ увлеченія атеистическими идеями, *главнымъ образомъ*, повидимому, увлекала П—а въ Гёте не глубина его поэзіи въ всемъ ея объемѣ, а именно указанная выше сторона его произведеній.

Кромѣ вышеприведеннаго отрывка, къ тому же 1824 году—но не къ марту, а къ іюню мѣсяцу—относится еще одно, впрочемъ, весьма незначительное замѣчаніе П—а о Гёте [2]). Именно, въ письмѣ

[1]) Соч. П—а, VIII, 207—8, или 333.

[2]) Соч. П—а, VIII, 192 (письмо къ Бестужеву).

къ Бестужеву Пушкинъ называетъ Гете «полупокойникомъ». Однако въ названіи этомъ никакъ нельзя видѣть чего-нибудь оскорбительнаго для памяти великаго германскаго поэта. Это—просто необычайно яркое, пластическое выраженіе, на которое былъ способенъ только Пушкинъ,—но не болѣе. Въ то время, къ которому относится письмо Пушкина, Гете, дѣйствительно, былъ, можно сказать, полупокойникомъ: въ іюнѣ 1824 года ему было почти уже семьдесятъ шесть лѣтъ—возрастъ такой, когда въ большинствѣ случаевъ человѣкъ уже шагнулъ, такъ сказать, одной ногой въ могилу и, дѣйствительно, можетъ быть названъ *полупокойникомъ*.

Послѣднее и приводившееся выше упоминанія поэта о Гёте при всей ихъ краткости важны для насъ во всякомъ случаѣ въ томъ отношеніи, что показываютъ, что П—ъ еще въ 1824 году читалъ—и читалъ, повидимому, съ большимъ увлеченіемъ — произведенія Гёте. Но то обстоятельство, что Гёте предпочитается Библіи по отмѣченной уже нами причинѣ, даетъ намъ, кажется, право заключить, что П—ъ, увлекшись *преимущественно* матеріалистическипантеистическимъ міросозерцаніемъ, отраженнымъ въ произведеніяхъ Гёте, недостаточно вникъ въ нихъ для того, чтобы постигнуть глубину поэзіи Гете во всей ея полнотѣ и не увлекаться по преимуществу одной какой-нибудь ея стороной.

Затѣмъ, когда П — ъ въ 1826 году пріѣхалъ въ Москву и здѣсь сошелся съ В — ымъ и его друзьями, то, конечно, отчасти подъ вліяніемъ его призыва — «Посланіе Пушкину» относится, впрочемъ, еще ко времени, предшествовавшему личному знакомству В—а съ П—ымъ, да и сама «Новая сцена между Ф. и М.», хотя и не въ окончательной формѣ, а только вчернѣ, какъ то можно видѣть изъ приводившагося выше свидѣтельства М. П. Погодина, была написана П—ымъ еще въ Михайловскомъ, и привезена оттуда имъ съ собою въ Москву,— а главнымъ образомъ подъ вліяніемъ тѣхъ бесѣдъ о Гёте и его поэзіи, которыя, безъ сомнѣнія, не разъ приходилось ему слышать въ кружкѣ издателей «Московскаго Вѣстника», такъ высоко цѣнившихъ этого поэта и давшихъ въ своемъ журналѣ не мало переводовъ изъ него и критическихъ статей о немъ, — онъ снова принялся за изученіе его произведеній, и въ этотъ разъ результаты были совсѣмъ иные. Не подлежитъ сомнѣнію, что и самое изученіе было гораздо детальнѣе и глубже, чѣмъ прежде.

П—ъ уже не увлекался преимущественно какой-нибудь одной стороной поэзіи Гёте, а одинаково постигъ всѣ ея стороны, — всю поэзію Гёте во всей ея полнотѣ. Иначе какъ объяснить тѣ замѣчанія о Гёте и его значеніи, какія находимъ у П—а, начиная съ 1827 года? Безсознательно пѣть съ чужого голоса онъ, конечно, не могъ. Въ «Отрывкахъ изъ писемъ, мысляхъ и замѣчаніяхъ» (1825—1827 года) встрѣчаемъ, въ концѣ ихъ, такое мѣсто, изъ котораго явствуетъ, что П—ъ находитъ въ Фаустѣ Гёте «смѣлость воображенія, созданія, гдѣ планъ обширный объемлется творческою мыслію» и ставитъ Гёте наравнѣ съ Шекспиромъ, Dante, Milton'омъ [1]). Въ 1827 году въ статьѣ «О Байронѣ»: «Фаустъ есть величайшее созданіе поэтическаго духа, служитъ представителемъ новѣйшей поэзіи, точно такъ же какъ Иліада служитъ памятникомъ классической древности» [2]).

Чтобы прійти къ такимъ сужденіямъ, требовалось близкое и внимательное изученіе поэзіи Гёте. А въ «мелкихъ замѣткахъ» (1829 — 31 года) читаемъ: «Гёте имѣлъ большое вліяніе на Байрона. Фаустъ тревожилъ воображеніе Чайльдъ Гарольда. Два раза Байронъ пытался бороться съ великаномъ романтической поэзіи — и остался хромъ, какъ Іаковъ» [3]). Итакъ, П — ъ, какъ видно изъ этой выписки, дошелъ уже до сознанія того, что Гёте выше Байрона. — Наконецъ, въ статьѣ «О сочиненіяхъ П. А. Катенина» опять говорится (въ 1833 году), что «*Байронъ* въ своемъ Манфредѣ... *ослабилъ* духъ и формы своего образца (т. е. Фауста» [4]). Всѣ эти четыре замѣчанія — особенно три послѣднія — свидѣтельствуютъ не только о глубокомъ и вѣрномъ пониманіи поэзіи Гёте самой по себѣ, но и объ изученіи ея роли въ исторіи всеобщей литературы. Во всѣхъ нихъ говорится спеціально о Фаустѣ. Это для насъ важно, потому что показываетъ, что изъ всѣхъ произведеній Гёте П—ъ съ особенною любовью и вниманіемъ изучалъ именно это безсмертное твореніе Гёте.

---

[1]) Соч. П—а, IX, 80.
[2]) Соч. П—а, IX, 168.
[3]) Ibid., IX, 82.
[4]) Ibid., IX, 322; курсивъ нашъ.

Итакъ, наше мнѣніе таково, что П—ъ понималъ «геніально», по выраженію Шевырева, не только прочія созданія величайшаго поэта Германіи, но и «Фауста», вопросъ о которомъ преимущественно интересуетъ насъ. Въ дѣлѣ пониманія поэзіи Гёте Пушкинъ врядъ ли нуждался въ указаніяхъ В — а и его друзей.

Что же касается спеціально вопроса о «Новой сценѣ между Ф. и М.,» то—повторяемъ—она явилась, вѣроятно, исключительно благодаря «Посланію» Веневитинова.

Почему же однако Пушкинскій Фаустъ (т. е. «сцена между Ф. и М.»)—не то, что Гетевскій? Потому ли что П-ъ *не могъ* дать Гетевскаго Фауста? Или потому что онъ и *не хотѣлъ* давать его? Можетъ быть, и потому, что въ то время, когда создавалась сцена (*1826 годъ*), П-ъ еще не проникся вполнѣ духомъ Гетевскаго Фауста: изъ приведенныхъ выше четырехъ отзывовъ о Фаустѣ только одинъ относится къ 1827 году, всѣ другіе болѣе поздняго времени; да и сама «Сцена» была создана или, по меньшей мѣрѣ, набросана, еще до знакомства П-а съ В-ымъ и его друзьями. Но намъ кажется, что на созданіе Пушкинымъ своего, а не Гетевскаго Фауста гораздо большее вліяніе имѣли причины совсѣмъ иного свойства, чѣмъ пониманіе или непониманіе Гете,—именно причины психологическаго характера, связанныя тѣсно съ тѣмъ, что переживалъ самъ поэтъ; т. е. мы склонны думать, что П-ъ и *не думалъ* давать въ своемъ «Фаустѣ» Гете.

Еще въ 1846 году Бѣлинскій писалъ о «Сценѣ между Ф. и М»: «Это былъ не переводъ какого-нибудь отрывка изъ знаменитой драматической поэмы Гете, но варіація, разыгранная на ея тему. Многимъ эта сцена такъ понравилась, что они, не зная Гетева «Фауста», порѣшили, будто она лучше его. Дѣйствительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между ею и Гетевымъ «Фаустомъ» нѣтъ ничего общаго. Она — не что иное, какъ развитіе и распространеніе мысли, выраженной Пушкинымъ въ его маленькомъ стихотвореніи «Демонъ». Этотъ демонъ былъ «довольно мелкій, изъ самыхъ нечиновныхъ». Онъ соблазнялъ однихъ юношей.

> Въ тѣ дни, когда имъ были новы
> Всѣ впечатлѣнья бытія.

Поэтому, ему легко было подшучивать надъ ними, и они со страхомъ смотрѣли на него, ибо

Неистощимый клеветою
Онъ провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою;
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ;
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ—
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

«Печальны, говоритъ Пушкинъ, были мои встрѣчи съ нимъ!» Знакомое съ демономъ другого поэта, наше время съ улыбкою смотритъ на Пушкинскаго чертенка.» [1]) И далѣе: «Его (т. е. Пушкина) Мефистофель, въ «сценѣ изъ Фауста», все тотъ же мелкій чертенокъ, котораго воспѣлъ онъ въ молодости подъ громкимъ именемъ «Демона». Это просто-на-просто острякъ прошлаго столѣтія, котораго скептицизмъ наводитъ теперь не разочарованіе, а зѣвоту и хорошій сонъ. Фаустъ Пушкина—не измученный неудовлетворенною жаждою знанія человѣкъ, а какой-то пресытившійся гуляка, которому уже ничего въ горло нейдетъ, un homme blasé. Несмотря на то, пьеса эта написана ловко и бойко, и потому читается легко и съ удовольствіемъ.» [2]) То же самое повторила и критика «Современника» въ пятидесятыхъ годахъ, сдѣлавъ только незначительные пропуски, сути дѣла не измѣняющіе [3]).

Что касается характеристики Мефистофеля, то мы согласны съ Бѣлинскимъ, и, хотя его безпощадный анализъ и ближе къ настроенію Гётева Мефистофеля, чѣмъ настроеніе Фауста къ настроенію своего прототипа, въ немъ все-таки нельзя не видѣть отзвука Пушкинскаго «Демона». Но мы несогласны съ тѣмъ, что Фаустъ Пушкина—«какой-то пресытившійся гуляка, которому уже ничего въ горло нейдетъ, un homme blasé».

Вопросъ о Пушкинскомъ Фаустѣ выяснялъ, между прочимъ, покойный профессоръ С.-Петербургскаго Университета Незеленовъ [4]). Онъ сравнивалъ «отношенія къ Фаусту творца его и нашего Пушкина», и находилъ, что «сцена Пушкина—поправка (съ русской точ-

[1]) Соч., Бѣл. VIII, 669.
[2]) Соч. Бѣл., VIII, 671.
[3]) Чернышевскій „Критич. статьи“, стр. 110.
[4]) Онъ относитъ написаніе сцены почему-то къ 1825 году.

ки зрѣнія) великаго созданія Гете,» что «взглядъ Пушкина на жизнь оказался нравственно выше міросозерцанія Гете», что умственный кругозоръ его оказался шире». Въ то время какъ Гете «не оцѣниваетъ по достоинству дѣйствій своего героя относительно наивной и чистой дѣвушки», «вполнѣ сочувствуетъ Фаусту: нигдѣ незамѣтно, чтобы онъ судилъ своего героя за его возмутительно-безнравственный поступокъ съ Гретхонъ», Пушкинъ «произноситъ строгій приговоръ надъ ученымъ докторомъ, надъ его отношеніями къ Маргаритѣ». Итакъ, по мнѣнію Незеленова, Пушкинскій Фаустъ не то, что Гетевскій Фаустъ, потому что Пушкинъ *созналъ*,—чего нѣтъ у Гете,—что «Гретхенъ»—«жертва прихоти Фауста», что «любовь ученаго мыслителя къ ней»—«тщетное злое дѣло», и потому заставилъ Фауста, когда Мефистофель началъ «ядовито анализировать, что думалъ Фаустъ на свиданіяхъ съ Маргаритою», воскликнуть съ ужасомъ:

„Сокройся, адское творенье,
Бѣги отъ взора моего“!

Восклицаніе это вызвано у Фауста тѣмъ, что Мефистофель «обнажилъ язвы его совѣсти» [1]).

Итакъ, Фаустъ Пушкина способенъ только забыться на время, на минуту,—и то въ мечтахъ, оторвавшись, такъ сказать, отъ дѣйствительности, «обманувъ себя услужливымъ воспоминаніемъ»; вообще же духъ его снѣдаемъ «рефлексіею», убивающею всякое наслажденіе;—и это единственная черта, которую сохранилъ Пушкинскій Фаустъ отъ своего прототипа. Однако и ее нельзя считать взятой или заимствованной у Гетевскаго Фауста.

Бѣлинскій въ 1841 году писалъ: «рефлексія (размышленіе) есть законный элементъ поэзіи нашего времени.» [2]) Человѣчество давно уже пережило вѣкъ полноты своихъ вѣрованій; можетъ быть, для него наступитъ эпоха еще высшей полноты, нежели какою когда-либо прежде наслаждалась оно; но нашъ вѣкъ есть вѣкъ сознанія, философствующаго духа, размышленій, «рефлексіи.» *Вопросъ* — вотъ альфа и омега нашего времени...—*и многіе* изъ людей нашего вре-

---

[1]) А. Незеленовъ „Пушкинъ въ его поэзіи“ (первый и второй періоды жизни и дѣятельности). Спб., 1882 год., 231, 232, 233.

[2]) Соч. В. Бѣлинскаго, т. 4, стр. 300.

мени могутъ примѣнить къ себѣ сцену между Фаустомъ и Мефистофелемъ, у Пушкина». [1]) Эти слова Бѣлинскаго весьма справедливы, справедливы они и по отношенію къ двадцатымъ годамъ текущаго столѣтія, хотя тогда еще нельзя было «сцену между Фаустомъ и Мефистофелемъ, у Пушкина, примѣнить къ себѣ» *«многимъ* изъ людей нашего времени», а только очень небольшой кучкѣ «умственныхъ аристократовъ» русскаго общества того времени. Примѣнимы эти слова и къ самому Пушкину двадцатыхъ годовъ столѣтія, — время, когда создавалась «Новая сцена между Фаустомъ и Мефистофелемъ», начатая еще въ Михайловскомъ и окончательно обработанная, вѣроятно, уже въ Москвѣ.

По пріѣздѣ изъ ссылки, П—ъ уже не нашелъ въ обществѣ, гдѣ ему надлежало вращаться, тѣхъ людей, единомышленникомъ которыхъ онъ считалъ себя прежде; а тотъ, кто уцѣлѣлъ, молчалъ, и тѣ идеи, сторонникомъ которыхъ мнилъ себя еще недавно Пушкинъ, замерли. Правда, въ Москвѣ онъ нашелъ небольшой кружокъ молодыхъ ученыхъ, съ которымъ болѣе или менѣе и сблизился, но не былъ имъ вполнѣ удовлетворенъ, какъ мы видѣли выше; а общество въ его цѣломъ «представилось ему чинною и вмѣстѣ чиновною толпою, съ которою у него не нашлось почти ничего общаго. Высшій или аристократическій кругъ, къ которому Пушкинъ принадлежалъ по своимъ родственнымъ связямъ, отличался невниманіемъ и холодностью ко всему русскому» [2]), къ которому Пушкинъ питалъ такое высокое уваженіе, особенно со времени пребыванія въ селѣ Михайловскомъ. Всѣ общественные и политическіе интересы въ это время были подавлены; на поэта публика, по свидѣтельству самого Пушкина [3]), смотрѣла какъ на свою собственность, которой можетъ распоряжаться, какъ угодно ей, считая себя въ правѣ требовать у него отчета чуть ли не въ малѣйшемъ его шагѣ, признавая его рожденнымъ для ея пользы и удовольствія, живущимъ только для того, чтобы ради нея «сочинять» и «подбирать риѳмы». Но разъ интересы публики были крайне мелочны, то и требованія, предъявлявшіяся ею къ поэту, не могли быть, конечно, вполнѣ разумны. Извѣстно, какъ

---

[1]) Соч. Бѣлинск., т. 4, стр. 298—9.

[2]) В. Стоюнинъ „Историческія сочиненія", ч. II, Пушкинъ. Спб., 1881; 305—6.

[3]) См. напр. „Поэту", „Отвѣтъ Анониму", „Египетск. ночи" и друг.

отнеслась не только публика, но и критика къ «Графу Нулину», потому что имѣя «дѣтское или темное понятіе о нравственности, смѣшивала ее съ нравоученіемъ» [1]); извѣстны столкновенія съ графомъ Бенкендорфомъ etc. etc... Всѣ благія начинанія Пушкина разбивались, понятно, объ эту крѣпкую стѣну общественной пошлости и мелочности. Немного, само-собою разумѣется, понадобилось времени, чтобы П—ъ отлично узналъ эту мертвящую среду и проникся къ ней чувствомъ отвращенія, что̀—сказать къ слову—вѣроятно, тоже не мало способствовало быстрому сближенію П—а съ Веневитиновскимъ кружкомъ, гдѣ онъ видѣлъ въ членахъ его много и таланта, и ума, и энергіи, и свѣжихъ, молодыхъ силъ, и энтузіазма служить на пользу отечеству и его просвѣщенію.

Въ письмахъ къ Осиповой (1827 и 1828 гг.) Пушкинъ жалуется, вскорѣ по переѣздѣ изъ Москвы въ Петербургъ: «Пошлость и глупость нашихъ обѣихъ столицъ одна и та же, хотя и въ различномъ родѣ... это житье довольно пошло, и я горю желаніемъ измѣнить его тѣмъ или другимъ образомъ. Не знаю, пріѣду ли еще въ Михайловское, хотя это искреннее мое желаніе. Признаюсь, что шумъ и суета Петербурга сдѣлались мнѣ совершенно чужды, я съ трудомъ ихъ переношу. Я предпочитаю вашъ прекрасный садъ и красивый берегъ Сороти. Вы видите, что у меня вкусъ еще поэтическій, несмотря на *скверную* прозу моего настоящаго существованія» [2]). Къ тому же времени относятся первые наброски VIII главы «Евгенія Онѣгина»:

„Несносно видѣть предъ собою
Однихъ обѣдовъ длинный рядъ,
Глядѣть на жизнь какъ на обрядъ,
И вслѣдъ за чинною толпою
Итти, *не раздѣляя съ ней*
Ни общихъ мнѣній, ни страстей!“ [3])

26-го мая 1828 года написано стихотвореніе «Даръ напрасный, даръ случайный»—гдѣ читаемъ:

---

[1]) Соч. П—а, IX, 107.
[2]) Соч. П-а, VIII, 249 и 250.
[3]) Соч. П—а, V, 224 (изъ строфы XI).

„Кто...
Душу мнѣ наполнилъ страстью,
Умъ *сомнѣніемъ* взволновалъ?
Цѣли нѣтъ передо мною,
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ“ [1]).

Итакъ, преобладающимъ чувствомъ Пушкина въ данное время—приблизительно, время созданія «Новой сцены между Фаустомъ и Мефистофелемъ»—«было томительное, тоскливое состояніе, которое онъ называлъ *скукою* [2]). Это не та обыкновенная скука празднаго человѣка, не знающаго куда дѣвать свое время. Это совсѣмъ особенное чувство, являющееся отъ неудовлетворенныхъ требованій духовной жизни, не оставляющее человѣка и во время труда, и въ минуты пріятныхъ впечатлѣній» [3]).

Еще знаменательнѣе выше приведенныхъ мѣстъ для насъ то, что еще изъ Михайловскаго въ 1825 году, т. е. раньше времени созданія «Сцены между Фаустомъ и Мефистофелемъ», Пушкинъ писалъ Рылѣеву: «Тебѣ скучно въ Петербургѣ, а мнѣ скучно въ деревнѣ. *Скука есть одна изъ принадлежностей мыслящаго существа* [4]). Какъ быть?» [5]) Изъ этихъ словъ видно, что чувство скуки, неудовлетворенности современной русской дѣйствительностью снѣдало Пушкина еще во время жизни въ Михайловскомъ—не лишнее, кажется, вспомнить здѣсь также стихотвореніе «Деревня» и другія съ нимъ однородныя—такъ что и начата была сцена подъ впечатлѣніемъ этого чувства; а по пріѣздѣ въ Москву, когда первое, впрочемъ, очевидно, очень кратковременное увлеченіе свѣтскими удовольствіями, которыхъ Пушкинъ такъ долго былъ лишенъ, прошло послѣ того, какъ онъ понялъ пошлость «высшаго свѣта»,—это чувство только усилилось, обострилось, стало еще болѣзненнѣе, чѣмъ раньше, найдя благопріятную для себя пищу; такъ что, и окончательную отдѣлку сцена

---

[1]) Соч. П—а, IV, 98.
[2]) Курсивъ и въ подлинникѣ.
[3]) В. Стоюнинъ, 309.
[4]) Курсивъ нашъ.
[5]) Соч. П—а, VIII, 202.

получила подъ впечатлѣніемъ того же чувства «скуки». Изъ приведеннаго отрывка, взятаго изъ письма къ Рылѣеву, явствуетъ, что Пушкинъ считалъ такое состояніе духа какъ бы «типической чертой» современнаго образованнаго, мыслящаго человѣка.

Мы вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе В. Стоюнина, что «Новая сцена между Ф. и М.» находится въ тѣсной связи съ этимъ взглядомъ Пушкина. Она была создана, по словамъ Стоюнина, или, вѣрнѣе, получила окончательную обработку какъ разъ «вскорѣ послѣ того, какъ онъ снова вступилъ въ кругъ столичной жизни и, отдаваясь ея удовольствіямъ, быстро дошелъ до мысли объ ея пошлости. Скука его лишь усилилась и подъ ея впечатлѣніемъ *создался* у него образъ Фауста съ неизбѣжнымъ его сопутникомъ Мефистофилемъ» [1])—таково мнѣніе Стоюнина, не совсѣмъ справедливое только въ послѣдней своей части: сцена начата была еще до пріѣзда изъ ссылки, и по пріѣздѣ изъ ссылки могла только *досоздаться, а не создаться*. «Пушкинскій Фаустъ», справедливо говоритъ далѣе Стоюнинъ, «съ родни Евгенію Онѣгину, который въ свою очередь съ родни самому Пушкину. Это — русскій Фаустъ, т. е. современный Пушкину образованный человѣкъ, развитый чтеніемъ и не нашедшій себѣ въ общественной жизни дѣятельности по душѣ; какъ существо мыслящее, онъ осудилъ всѣ свои прежнія сердечныя увлеченія, свою пустую свѣтскую жизнь, для которой и былъ воспитанъ.

Но напрасно онъ искалъ себѣ дѣятельности внѣ канцелярскаго міра, внѣ полкового ученія и парадовъ, внѣ той механической службы, которую предлагала жизнь; онъ оставался только при напряженномъ состояніи ума размышляющаго, анализирующаго, резонерствующаго; но эти безцѣльныя упражненія ума не могли удовлетворять природной потребности человѣческаго духа — жить всѣми силами; а тутъ оказывалось силъ много, примѣнять же ихъ было не къ чему, и чѣмъ больше пріобрѣталось познаній, тѣмъ больше являлось пищи для размышленій и тѣмъ яснѣе видѣлись жизненныя противорѣчія, при которыхъ невозможно было ихъ примѣненіе. При такихъ условіяхъ могла быть только одна дѣятельность — *борьба*; но для этого нужно было, во-первыхъ, проникнуться какимъ-либо высокимъ идеаломъ, во имя котораго начать борьбу, и во-вторыхъ, сознать въ самомъ себѣ

---

[1]) Стоюнинъ, 310.

силы или характеръ, котораго не могло развить и образовать свѣтское воспитаніе: Оставалось только размышлять и скучать въ бездѣятельности, потому что въ безцѣльномъ размышленіи нѣтъ дѣятельности. Вотъ какого рода скука была знакома многимъ русскимъ людямъ изъ свѣтскаго общества, у которыхъ умъ былъ возбужденъ односторонне и которые рано извѣдали жизнь въ разныхъ юношескихъ увлеченіяхъ, ослабивъ ими энергію своей души. Это были люди раздвоенные: у нихъ не было дѣятельности, которая занимала бы одинаково ихъ умъ и сердце; оно было пусто и искало себѣ жизни; а между тѣмъ размышляющій умъ анализировалъ всякое чувство и увлеченіе, находилъ его пошлымъ, осуждалъ и подавлялъ въ самомъ началѣ, не давъ развиться тому наслажденію, которое отъ него ожидалось. Люди безъ идеаловъ и съ идеалами, но непримѣнимыми къ жизни, одинаково скучали и постоянно думали о томъ, чѣмъ бы подавить свою скуку. Если ихъ можно сблизить съ настоящимъ Фаустомъ, то развѣ противоположностями»—что, впрочемъ, отнюдь не исключаетъ, конечно, принадлежности, и Пушкинскому, и Гётевскому Фаусту общей имъ «рефлексіи»: разница въ цѣляхъ, къ которымъ они стремились.—«Тотъ искалъ познаній, *чтобы удовлетворить жажду своего ума*; эти, утомляясь одними размышленіями ума, *искали жизни для сердца*, которое не удовлетворялось тѣмъ, что давала жизнь. Пушкинскій Фаустъ нашелъ, что «въ глубокомъ знаньи *жизни* нѣтъ» и «проклялъ знаній ложный свѣтъ» [1]). Мы согласны съ В. Стоюнинымъ также и въ томъ, что «подъ этотъ типъ (т. е. типъ, отразившійся въ Евгеніи Онѣгинѣ и Фаустѣ) мы не можемъ вполнѣ подвести нашего поэта, который находилъ себѣ исходъ въ своемъ творчествѣ и ясно сознавалъ задачу своей жизни; но тѣмъ не менѣе онъ переживалъ такое чувство (т. е. чувство скуки въ указанномъ выше смыслѣ), въ виду тѣхъ противодѣйствій жизни, которыя мѣшали ему исполнять эту задачу» [2]).

Такимъ образомъ, если уже и сближать «Новую сцену между Ф. и М.» съ поэтическими произведеніями классиковъ Западной Европы, то придется вмѣстѣ съ проф. Кирпичниковымъ признать, что Пушкинскій Фаустъ представляетъ «амальгаму изъ Гёте и Байрона» [3]),

[1]) В. Стоюнинъ, 311—12.

[2]) В. Стоюнинъ, 314.

[3]) Энцикл. Слов. Брокг. и Ефр. полут. 50, стр. 839.

такъ какъ находимъ въ немъ тѣ же байроническіе отголоски, какіе встрѣчаемъ, напримѣръ, и въ «Евгеніи Онѣгинѣ», и вмѣстѣ съ тѣмъ общую и Гётевскому и Пушкинскому Фаусту рефлексію. Однако при этомъ надо замѣтить, что какъ байроническіе отголоски Евгенія Онѣгина, «который съ родни самому Пушкину» и Фауста (Пушкинскаго), который «съ родни Евгенію Онѣгину», такъ равнымъ образомъ и рефлексія, которая присуща и самому поэту, коренятся въ самыхъ условіяхъ жизни тогдашняго русскаго общества, а не представляютъ просто заимствованнаго, наноснаго явленія въ произведеніяхъ Пушкина, т. е. здѣсь простое сходство, совпаденіе настроеній, а не заимствованіе.

Все вышеизложенное даетъ намъ право сказать, что и въ дѣлѣ созданія «Новой сцены между Фаустомъ и Мефистофелемъ» значеніе Д. Веневитинова было неособенно велико. Все ограничилось *вызовомъ*, на который откликнулся нашъ великій поэтъ. Но дальше дѣло не шло. «Новая сцена между Фаустомъ и Мефистофилемъ» *по характеру* дѣйствующихъ лицъ является вполнѣ самостоятельнымъ твореніемъ Пушкина, созданнымъ въ его собственномъ духѣ, а не въ духѣ Гёте — простое совпаденіе одной черты въ Фаустахъ нельзя считать заимствованіемъ со стороны Пушкина, а Мефистофель Пушкинскій то же, что его «Демонъ» молодости — созданнымъ независимо отъ какихъ бы то ни было сторонникъ указаній, подъ впечатлѣніемъ условій окружавшей поэта дѣйствительности, къ которой онъ всегда былъ такъ чутокъ.

Если Гёте и сыгралъ тутъ какую-нибудь роль, то никакъ не бо̀льшую—а по степени силы своего вліянія на Пушкина неизмѣримо меньшую — той, какую въ свое время сыгралъ для Пушкина Байронъ. А Байронъ, по удачному выраженію Веневитинова, «былъ для Пушкина тѣмъ же, чѣмъ были для самого Байрона приключенія его бурной жизни», потому что «при развитіи поэта (какъ вообще при всякомъ нравственномъ развитіи) необходимо, чтобы воздѣйствіе уже зрѣлой силы обнаружило предъ нимъ самимъ: какимъ возбужденіямъ онъ доступенъ. Такимъ образомъ, приведутся въ дѣйствіе всѣ пружины его души и подстрекнется его собственная энергія». Но «первый толчекъ не всегда рѣшаетъ направленіе духа», онъ только «сообщаетъ ему полетъ» [1]). Такъ и въ данномъ случаѣ, Гёте и вызовъ

[1]) Соч. Д. Веневитинова, 191—2.

со стороны Веневитинова могли «подстрекнуть» въ Пушкинѣ «его собственную энергію», «обнаружить передъ нимъ самимъ, какимъ возбужденіямъ онъ доступенъ»—но не болѣе.

Подводя итогъ всему сказанному о значеніи Д. Веневитинова и «Московскаго Вѣстника» въ исторіи развитія поэтическаго таланта Пушкина и его взглядовъ на искусство и поэзію (т. е. эстетическихъ воззрѣній), мы никакъ не можемъ признать справедливымъ заявленіе Анненкова, что Д. Веневитиновъ и его кружокъ сильно повліяли на направленіе «его мыслей и предпочтеній» въ ту, а не другую сторону [1]).

1899 г., марта 22 дня.

---

[1]) Анненковъ, „Матеріалы", 169—177.

Грибоѣдовъ и Пушкинъ.

Среди крупныхъ русскихъ поэтовъ конца XVIII-го и первыхъ десятилѣтій XIX-го вѣка Пушкинъ и Грибоѣдовъ отличаются прежде всего наиболѣе реальнымъ, непосредственнымъ отношеніемъ къ жизни. Припомнимъ, напримѣръ, Державина съ его разсужденіями о Божьемъ величіи и о таинствѣ смерти, Жуковскаго и его мечтанія объ идеальномъ мірѣ, гдѣ «погибшее намъ возвратится»; изъ младшихъ современниковъ Пушкина укажемъ на Лермонтова съ его постояннымъ противоположеніемъ земли небу и страстнымъ исканіемъ Бога; наконецъ, на Баратынскаго и Тютчева, которые могутъ быть названы по преимуществу «поэтами-мыслителями» — несомнѣнно, что среди нихъ Пушкинъ и Грибоѣдовъ по своему міросозерцанію занимаютъ довольно своеобразное положеніе. Ихъ жалобы, чаянія и надежды сравнительно рѣдко выходили за предѣлы земного существованія, и тѣ тайны и загадки, которыми отовсюду окружена человѣческая жизнь, не возбуждали въ нихъ особеннаго интереса. У нихъ менѣе, чѣмъ у кого либо изъ вышеуказанныхъ поэтовъ, было охоты къ метафизическимъ умозрѣніямъ или задатковъ для развитія мистицизма. Пушкинъ, напр., думая о смерти, находилъ утѣшеніе не въ мечтаніяхъ о сверхчувственномъ мірѣ, но въ сознаніи, что и послѣ него на землѣ «младая будетъ жизнь играть». Грибоѣдовъ также преимущественно интересовался такими вопросами, которые могли найти свое разрѣшеніе, не выходя за предѣлы земной жизни [1]).

[1]) Несмотря на близкія товарищескія отношенія Грибоѣдова къ шеллингіанцамъ кн. В. Ѳ. Одоевскому и Кюхельбекеру, только въ одномъ небольшомъ его стихотвореніи („Душа“) замѣтно вліяніе философіи.

Можно, пожалуй, упрекать обоихъ нашихъ поэтовъ за то, что мысль ихъ мало работала въ философскомъ и религіозномъ направленіи, но не слѣдуетъ забывать, что недостатки у каждаго человѣка часто бываютъ только обратною стороною его же достоинствъ, и что особенности замѣчательныхъ людей, которыя намъ кажутся недостатками, бываютъ порою прямо необходимы для совершенія той роли, которую такимъ людямъ приходится играть въ исторіи. Благодаря своимъ особенностямъ, Пушкинъ съ Грибоѣдовымъ и явились наиболѣе яркими представителями того литературнаго переворота, какъ по отношенію къ содержанію, такъ и къ формѣ, который, вдохнувъ жизнь въ литературу, тѣмъ самымъ ввелъ литературу въ жизнь, причемъ русскій стихъ, приноравливаясь къ болѣе конкретному содержанію, пріобрѣлъ невиданную дотолѣ простоту и выразительность.

Общественныя настроенія, при которыхъ Пушкинъ и Грибоѣдовъ выросли и воспитались, какъ нельзя болѣе благопріятствовали развитію въ нихъ задатковъ реальнаго отношенія къ жизни. «Дней Александровыхъ прекрасное начало»; далѣе, «Отечественная война», пробудившая національное самосознаніе; наконецъ, походы 1813—14 годовъ, занесшіе къ намъ отголоски западныхъ идей—все это создало надежную почву для возбужденія въ обществѣ интереса къ русской дѣйствительности и вѣру въ возможность самобытнаго развитія родной литературы.

Пушкина и Грибоѣдова не слѣдуетъ называть реалистами въ нынѣшнемъ смыслѣ этого слова: они принадлежали къ эпохѣ романтизма, который лишь по сравненію съ предшествовавшимъ ему ложно-классицизмомъ можетъ считаться близкимъ къ жизни. Но если послѣдующіе писатели пошли гораздо дальше въ дѣлѣ сближенія литературы съ русскою дѣйствительностью, чѣмъ Пушкинъ и Грибоѣдовъ, то путь имъ былъ указанъ этими двумя писателями. Впрочемъ, у Грибоѣдова гораздо меньше заслугъ въ этомъ отношеніи, чѣмъ у Пушкина. Дѣятельность Пушкина была неизмѣримо богаче, разнообразнѣе и плодотворнѣе. Онъ, по выраженію Гончарова, «занялъ собою всю свою эпоху, самъ создалъ другую, породилъ школы художниковъ,—взялъ себѣ въ эпохѣ все, кромѣ того, что успѣлъ взять Грибоѣдовъ и до чего не договорился Пушкинъ».

До сихъ поръ этимъ писателемъ, который взялъ себѣ то, «до чего не договорился Пушкинъ», интересовались почти исключительно какъ авторомъ «Горя отъ ума», а на другія его произведенія смотрѣли только съ точки зрѣнія знаменитой комедіи, а между тѣмъ интересно было бы освѣтить ту сторону въ творчествѣ Грибоѣдова, оставшуюся до сихъ поръ въ тѣни, которую можно, пожалуй, назвать «героической». Во многихъ отношеніяхъ Грибоѣдова удобно сблизить съ Пушкинымъ: у обоихъ были богатые природные задатки реальнаго направленія, но, живя въ эпоху романтизма, они въ значительной мѣрѣ явились романтиками. Впрочемъ, у Грибоѣдова нерѣдко, во всякомъ случаѣ чаще, чѣмъ у Пушкина, еще звучатъ отдаленные отголоски ложноклассицизма. Области творчества у нихъ также совершенно различны. Пушкинъ старательно отыскивалъ и отмѣчалъ все, что можетъ придать цѣнность земной мимолетной жизни, нашелъ цѣлый міръ поэзіи въ русской природѣ и людяхъ.—Грибоѣдовъ занялся темными сторонами русскаго быта, неурядицей общественныхъ отношеній и оцѣнкой людей своего времени съ точки зрѣнія тѣхъ требованій, которыя онъ къ нимъ предъявлялъ. Въ эпоху расцвѣта своего таланта тотъ и другой горячо отстаивали полную свободу творчества, и подчиненіе литературнымъ теоріямъ было для нихъ такъ же стѣснительно, какъ подчиненіе своей личной жизни ходячимъ догматамъ общественной морали. Здѣсь мы встрѣчаемся съ вліяніемъ романтизма. Принципъ полной свободы творчества былъ ранѣе обоснованъ теоретикомъ романтизма Шлегелемъ.

Въ самихъ натурахъ обоихъ поэтовъ уже были задатки и для развитія реальнаго отношенія къ дѣйствительности, и для сочувствія романтическимъ порывамъ. Страстный, нервный темпераментъ, требовавшій постоянно новыхъ впечатлѣній и возбужденія, и въ то же время удивительная ясность, трезвость разума—вотъ ихъ основныя свойства. Темпераментъ побуждалъ ихъ отдаваться безъ удержу жизненнымъ впечатлѣніямъ,—разумъ ограждалъ ихъ отъ излишней субъективности при оцѣнкѣ этихъ впечатлѣній; но благодаря различіямъ въ условіяхъ воспитанія, вліяніямъ окружающей жизни и перечитанныхъ книгъ, личность и міросозерцаніе того и другого поэта, складывались совершенно своеобразно.

Оба они происходили изъ старинныхъ дворянскихъ родовъ, нѣсколько уже обѣднѣвшихъ и захудалыхъ. Мать Грибоѣдова была

женщина неглупая, энергичная, но очень честолюбивая. Завѣтною цѣлью ея стремленій было возвысить значеніе своего древняго рода, и всѣ свои надежды въ этомъ отношеніи она возложила на единственнаго сына, рано угадавъ въ немъ большія способности. Имѣя въ виду для него блестящую карьеру, она позаботилась дать ему тщательное воспитаніе. Первымъ его воспитателемъ былъ ученый нѣмецъ-Петрозиліусъ, который своимъ педантизмомъ оттолкнулъ отъ себя живого мальчика. Послѣдующими руководителями его умственнаго развитія были также ученые нѣмцы, вводившіе въ свои занятія строгую размѣренность и порядокъ. А между тѣмъ у мальчика была способность въ каждое дѣло, которымъ онъ почему либо заинтересовывался, уходить цѣликомъ, безъ остатка. Уже будучи взрослымъ, вздумалъ однажды Грибоѣдовъ учиться по-гречески и въ теченіе нѣкотораго времени «отъ этого языка съ ума сходилъ». Легко можно себѣ представить, въ какомъ положеніи долженъ былъ находиться мальчикъ съ такою склонностью, когда ему приходилось согласовать свою живую любознательность съ сухимъ методическимъ преподаваніемъ его менторовъ. Изъ своихъ ученическихъ годовъ Грибоѣдовъ вынесъ громадный запасъ свѣдѣній по всевозможнымъ отрослямъ знанія, привычку и охоту къ умственному труду, но вмѣстѣ съ тѣмъ на всю жизнь у Грибоѣдова осталось отвращеніе ко всякаго рода «умѣренности и аккуратности» и убѣжденіе, что «быть нѣмцемъ на этомъ свѣтѣ очень глупая роль». Еще тяжелѣе приходилось Грибоѣдову отъ попеченій матери о его благовоспитанности. Мальчику хотѣлось бѣгать и рѣзвиться, а его наряжали по праздничному, читали длинныя наставленія о томъ, какъ чинно и благонравно долженъ онъ себя держать, а потомъ везли по скучнымъ родственнымъ визитамъ. Впослѣдствіи Грибоѣдовъ сказывался даже больнымъ, когда родные собирались «везти его на поклонъ» сильнымъ міра. Вполнѣ естественно, что излишнія старанія матери, рабольпно преданной свѣтскимъ предразсудкамъ, сдѣлать изъ своего горячаго и впечатлительнаго сына человѣка «образцоваго» въ томъ смыслѣ, въ какомъ она это понимала, не пришлись по душѣ молодому Грибоѣдову. Онъ скоро почувствовалъ гнетъ родственной опеки и возненавидѣлъ требованія свѣта, въ угоду которымъ мать и дядя стѣсняли его самостоятельность. Лекціи, слышанныя имъ въ Университетѣ, куда онъ ѣздилъ въ сопровожденіи гувернера, невольныя

встрѣчи съ товарищами, принадлежавшими къ различнымъ слоямъ общества, наконецъ, основательное знакомство съ литературой—все это должно было способствовать критическому отношенію къ окружающей средѣ. Сравненія напрашивались сами собой. Началась усиленная работа мысли. Юноша понялъ свое противорѣчіе съ окружающимъ обществомъ и почувствовалъ страшное одиночество. У него не было друга; ни въ комъ не встрѣчалъ онъ поддержки своимъ стремленіямъ или простого желанія понять его внутреннюю жизнь. Самолюбіе его обострялось. Ему хотѣлось вырваться изъ угнетавшей его обстановки, хотѣлось чего-нибудь чрезвычайнаго, незауряднаго. Обстоятельства, повидимому, приходили на помощь его стремленіямъ: началась отечественная война, и Грибоѣдовъ поступилъ въ ряды ополченцевъ. Но ему не пришлось участвовать ни въ одномъ сраженіи. Зато явилась независимость, и Грибоѣдовъ... отдался разгульной кавалерійской жизни. Здѣсь онъ нашелъ себѣ и вѣрнаго друга въ лицѣ Бѣгичева, который былъ лѣтъ на десять старше его. Драгоцѣнно указаніе, сохранившееся у насъ о причинахъ этой дружбы. Когда Грибоѣдова впослѣдствіи спрашивали, почему онъ такъ сблизился съ Бѣгичевымъ, который ни по лѣтамъ, ни по характеру, повидимому, не подходилъ къ нему, Грибоѣдовъ отвѣчалъ: «потому, что онъ первый сталъ меня уважать».

Первое время по своемъ вступленіи въ полкъ Грибоѣдовъ какъ-бы празднуетъ свое освобожденіе не только отъ родственнаго гнета и свѣтскихъ церемоній, но и отъ всякаго рода обязательныхъ и принудительныхъ научныхъ занятій. Торжествуя возможность пользоваться мгновеніемъ, онъ обращается со слѣдующими стихами къ покинутымъ имъ людямъ науки, сравнивая ихъ со своими новыми товарищами:

У васъ какъ-будто чародѣйство:
Отъ книгъ нейдете вы на часъ,
Минута дорога для васъ.
А мы на дней не ропщемъ скоротечность;
Они не истекутъ, доколѣ мы живемъ.

Послѣ серьезныхъ умственныхъ занятій Грибоѣдовъ очутился среди людей, которые не придавали никакого значенія тѣмъ научнымъ познаніямъ, въ которыхъ онъ могъ превзойти всѣхъ, но требовали отъ человѣка физической ловкости и смѣлости, въ чемъ

Грибоѣдовъ значительно уступалъ своимъ товарищамъ, (онъ, напр. хуже другихъ ѣздилъ верхомъ). Это должно было сильно дѣйствовать на самолюбіе и безъ того уже у него болѣзненно развитое и Грибоѣдовъ постарался выдвинуться въ шалостяхъ и всевозможнаго рода проказахъ. Впослѣдствіи, несмотря на всѣ старанія, онъ долго не могъ отстать отъ этой безпорядочной жизни. Въ новыхъ товарищахъ ему должно было нравиться отсутствіе того лицемѣрія, которое онъ замѣчалъ въ московскомъ свѣтскомъ обществѣ. Вообще, вражда къ Москвѣ и, какъ противовѣсъ ей, предпочтеніе, оказываемое Петербургу, сохранялось у Грибоѣдова очень долго, пока не смѣнилось одинаково отрицательнымъ отношеніемъ къ жизни обѣихъ столицъ. Въ Москвѣ его возмущала «праздность, роскошь, не сопряженная ни съ малѣйшимъ чувствомъ къ чему-нибудь хорошему». Въ первой своей печатной статьѣ: «Письмо изъ Брестъ-Литовска къ издателю Вѣстника Европы», относящейся къ 1814 году, Грибоѣдовъ, описывая праздникъ, данный офицерами генералу Кологривову, отмѣчаетъ, что въ этомъ праздникѣ — въ противоположность барскимъ затѣямъ — «участвуетъ сердце», что его «украшаетъ пріязнь, благотворительность и другія душевныя наслажденія». Здѣсь уже сказывается будущій авторъ «Горя отъ ума» съ его стараніемъ клеймить наружный блескъ при отсутствіи истинныхъ достоинствъ, съ его склонностью оцѣнивать явленія жизни и людей съ точки зрѣнія того идеала, который сложился въ его душѣ. Вполнѣ естественно, что дѣйствительность не могла удовлетворить его требованіямъ, поступиться же ими онъ не хотѣлъ, и вотъ источникъ отрицательнаго, а подчасъ и безотраднаго отношенія къ жизни.

Пушкинъ никогда не доходилъ до той степени безысходнаго отчаянія, которая была знакома Грибоѣдову. Для этого онъ былъ слишкомъ жизнедѣятельной натурой, да и развитіе его шло иначе. Прежде всего у него не было такого противорѣчія съ окружающей средой. Въ дѣтствѣ ему пришлось перенести много непріятностей отъ гувернантокъ и отъ взбалмошныхъ, безалаберныхъ родителей. Но чтенье книгъ изъ отцовской библіотеки, въ чемъ онъ рано сталъ искать себѣ удовлетворенія, не отчуждало, а только сближало его со взрослыми. У Сергѣя Львовича часто собирались самые извѣстные литераторы того времени. Будущій поэтъ привыкалъ жить ихъ интересами, усваивать ихъ литературные вкусы и привычки. Ученіе

въ лицеѣ, какъ и домашнее, не было правильнымъ и строго систематическимъ. Но самая эта безалаберность дала, по крайней мѣрѣ, возможность свободно и самостоятельно развиваться дарованіямъ великаго поэта. Первыя его произведенія были встрѣчены успѣхомъ; извѣстность его росла не по днямъ, а по часамъ. Слава сама къ нему пришла. Онъ рано опредѣлилъ себѣ свое призваніе и пошелъ по своему пути бодро и увѣренно. Какая разница съ Грибоѣдовымъ, который въ своихъ домашнихъ видѣлъ враждебное отношеніе къ литературнымъ занятіямъ и долгое время считалъ себя не признаннымъ, недостаточно оцѣненнымъ, даже друзьями! Болѣе благопріятное положеніе Пушкина сказывается между прочимъ и въ томъ, что благодаря бо́льшей самостоятельности, онъ получалъ обильный притокъ жизненныхъ впечатлѣній, что должно было изощрять его природную наблюдательность и фантазію.

Аристократическая обстановка и привилегированность того учебнаго заведенія, гдѣ воспитывался Пушкинъ, въ свою очередь должна была наложить извѣстный отпечатокъ на его общественныя симпатіи. Въ противоположность Грибоѣдову, онъ гордился своимъ дворянскимъ происхожденіемъ и всегда сочувствовалъ дворянству, какъ передовому и единственно образованному классу общества.

Въ 1820 году случился важный поворотъ въ жизни Пушкина: онъ былъ высланъ изъ Петербурга на югъ. За два года до этого уѣхалъ изъ Петербурга въ Персію Грибоѣдовъ въ качествѣ секретаря посольства. Въ сущности, это назначеніе было своего рода почетной ссылкой за участіе въ дуэли гр. Завадовскаго съ гр. Шереметевымъ, окончившейся смертью послѣдняго. Эта дуэль имѣла немаловажное значеніе не только въ судьбѣ, но и въ душевной жизни Грибоѣдова...

Официально Грибоѣдовъ былъ оправданъ за участіе въ дуэли, но чуткая совѣсть не давала ему покоя. На него напала ужасная тоска, онъ безпрестанно видѣлъ передъ собой умирающаго Шереметева... Тутъ Грибоѣдову первый разъ пришлось столкнуться съ общественнымъ мнѣніемъ, которое было всецѣло противъ него, обвиняя въ интригахъ противъ Шереметева. Пошли слухи, дѣлавшіе изъ мухи слона, начались сплетни. Грибоѣдовъ «почувствовалъ необходимость», какъ говоритъ Пушкинъ, «расчесться одиножды, на всегда съ своею молодостью и круто поворотить свою жизнь. Онъ

простился съ Петербургомъ и съ праздною разсѣянностью — и уѣхалъ въ Грузію». Поворотъ, дѣйствительно, былъ очень крутой. Грибоѣдовъ вдругъ очутился въ чуждой ему обстановкѣ, въ странѣ никогда не служившей для него предметомъ мыслей и стремленій. Его ожидалъ цѣлый рядъ впечатлѣній, совершенно несхожихъ съ прежними. Другая была природа, другіе люди! Наиболѣе сильное и глубокое впечатлѣніе произвелъ на него генералъ Ермоловъ, поразившій Грибоѣдова независимостью своего характера и страшною силою воли. Всѣ отзывы Грибоѣдова этого времени о кавказскомъ героѣ полны восторговъ, удивленія и восклицательныхъ знаковъ... На Кавказѣ Грибоѣдовъ выработалъ въ себѣ и необыкновенную физическую ловкость, выносливость и удивительное присутствіе духа... Всѣмъ этимъ онъ, подобно Байрону, обязанъ исключительно самому себѣ... Прежде онъ не обладалъ этими качествами. Отправляясь первый разъ въ продолжительное путешествіе, Грибоѣдовъ высказывалъ опасенія всевозможныхъ несчастныхъ случайностей. Впослѣдствіи онъ безусловно ничего не боялся и утверждалъ, что власть человѣка надъ самимъ собою ограничена только физическою невозможностью и что «во всемъ другомъ человѣкъ можетъ повелѣвать собою совершенно, и даже сдѣлать изъ себя все». Однако ему никогда не пришлось распоряжаться самостоятельно своей собственной судьбой. О его карьерѣ заботилась мать, и онъ былъ слишкомъ почтительнымъ сыномъ, чтобы пойти наперекоръ требованіямъ матери. Служба его тяготила. Онъ, какъ и Пушкинъ, считалъ себя призваннымъ къ литературной дѣятельности.

Слѣдуетъ отмѣтить и тутъ разницу въ положеніяхъ нашихъ поэтовъ: Грибоѣдова долгое вынужденное одиночество, тоска по родинѣ привели къ раздражительности; служба его тяготила, онъ постоянно стремился ее оставить,—и до смерти это ему не удалось; Пушкинъ же во время своихъ скитаній всегда отвоевывалъ себѣ независимое положеніе литератора.

Въ литературной дѣятельности Грибоѣдова можно намѣтить тѣ же три основныхъ періода развитія, какъ и у Пушкина. До отъѣзда изъ Петербурга оба они находились подъ сильнымъ вліяніемъ французской литературы XVIII в., одинъ—подъ вліяніемъ легкой французской лирики, другой—комедіи. Въ это время оба поэта вели довольно разсѣянную, безпорядочную жизнь. Это было періодомъ мел-

гинальностью моего дарованія» [1]), повліялъ и на Пушкина. «Ты», писалъ Пушкинъ Катенину въ февралѣ 1826 года, «отучилъ меня отъ односторонности въ литературныхъ мнѣніяхъ, а односторонность есть пагуба мысли». Такимъ образомъ Пушкинъ и Грибоѣдовъ оказались, въ сущности, гораздо ближе другъ къ другу, чѣмъ это можно было предположить, судя по принадлежности ихъ къ враждующимъ литературнымъ партіямъ.

Какъ мы уже говорили, время жизни, проведенное нашими писателями въ Петербургѣ до отъѣзда на Кавказъ, является первымъ періодомъ ихъ литературной дѣятельности. Это былъ періодъ выучки, усовершенствованія въ стихотворной техникѣ, въ выработкѣ языка,—періодъ различныхъ вліяній и подражательности и вмѣстѣ съ тѣмъ развитія все болѣе и болѣе пробуждающейся и заявляющей о себѣ самобытности. Грибоѣдовъ писалъ въ то время посредственныя и незначительныя по содержанію пьесы, бо́льшею частью передѣлки съ французскаго, которыя въ свое время давались на сценѣ, имѣли успѣхъ, но вполнѣ справедливо заслужили бы полнаго забвенія у потомства, если бы не имя ихъ автора.

Представляетъ извѣстный интересъ по этимъ пьесамъ прослѣдить, какъ творчество будущаго автора «Горя отъ ума» постепенно все болѣе сближается съ жизнью, какъ въ этихъ произведеніяхъ, написанныхъ къ сроку, на заказъ или изъ полемическихъ цѣлей—слѣдовательно, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, нѣтъ-нѣтъ да и проявятся личные взгляды Грибоѣдова и впечатлѣнія отъ пережитой жизни. Въ лицѣ Звѣздова въ лучшей комедіи этого періода: «Студентъ» мы уже видимъ отрицательное отношеніе нашего сатирика къ праздному барству съ его крѣпостничествомъ, тщеславіемъ и мелочностью, что впослѣдствіи нашло себѣ такое яркое выраженіе въ «Горѣ отъ ума». Комедія «Студентъ» написана въ 1817 г. въ сотрудничествѣ съ Катенинымъ. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ ней является бѣдный студентъ Беневольскій, поклонникъ сантиментальной поэзіи и самъ чувствительный поэтъ; на него то главнымъ образомъ и направлены стрѣлы авторскаго остроумія и насмѣшекъ. Несомнѣнно, что пьеса имѣла въ виду осмѣять поэзію

---

[1]) Соч. Гриб. Изд. Шляпкина. I т., 197 стр.

Жуковскаго и Батюшкова и обнаружить несогласимость мечтательной поэзіи съ жизнью, несогласимость, которая приводитъ къ безсознательной лжи и въ жизни, и въ поэзіи.

Беневольскій постоянно твердитъ о возвышенности своей души, о тонкости своихъ ощущеній и т. д., а въ то же время способенъ на выклянчиванье и карьеризмъ. Дѣйствительное отношеніе его къ поэзіи характеризуется тѣмъ, что онъ одинаково желаетъ быть: поэтомъ, министромъ и полководцемъ, и никакъ не можетъ рѣшить, что лучше: громкая поэтическая слава или важный постъ и высокій чинъ. Пьеса много выигрываетъ оттого, что Беневольскій не изображенъ ни сознательнымъ лгуномъ, ни обманщикомъ. Онъ только не можетъ дать себѣ отчета, къ чему собственно его тянетъ. Несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что и въ славѣ поэта и въ высокомъ посту онъ цѣнитъ одно только внѣшнее: извѣстность, блескъ, удовлетвореніе собственнаго тщеславія; болѣе же серьезнаго душевнаго содержанія у него совсѣмъ нѣтъ. Одна изъ нападокъ въ пьесѣ, можетъ быть, косвеннымъ образомъ, направлена и противъ Пушкина. Такъ мы встрѣчаемъ въ комедіи неодобрительный отзывъ о «пѣвцахъ своей печали». Данное выраженіе принадлежитъ Пушкину и находится въ одномъ изъ его стихотвореній 1816 года:— «Пѣвецъ». Если это такъ, то упрекъ этотъ по отношенію къ Пушкину едва ли попадаетъ въ цѣль. Грибоѣдовъ осуждаетъ романтизмъ Жуковскаго за отсутствіе простоты, естественности и реальнаго отношенія къ дѣйствительности. «Богъ съ ними, съ мечтаніями»;— говоритъ Грибоѣдовъ въ одной своей критической статьѣ—«нынѣ въ какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, пѣснь или посланіе, вездѣ мечтанія, а натуры ни на волосъ». Въ той же статьѣ онъ упрекаетъ Гнѣдича за то, что тотъ «непримиримый врагъ простоты». Нечего и говорить, что упреки за отсутствіе простоты не приложимы къ Пушкину. Будучи еще четырнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, онъ заявлялъ, что желаетъ быть понятнымъ всѣмъ, «отъ мала до велика», и находилъ, что «грѣшно» и «стыдно» писать «слишкомъ мудрено».

Романтизмъ у Жуковскаго грѣшилъ, какъ извѣстно, уже тѣмъ, что подражалъ нѣмецкимъ образцамъ, тогда какъ сущность романтизма заключалась въ возвращеніи къ своей собственной старинѣ и народности. Грибоѣдовъ, осуждая поэзію Жуковскаго, которая отра-

зила только туманно-фантастическую сторону романтизма, самъ былъ романтикомъ въ болѣе глубокомъ смыслѣ. Романтизмъ на Западѣ былъ реакціей чувства противъ разсудочности XVIII вѣка. На смѣну отвлеченнымъ космополитическимъ идеямъ явилась идея національности, вмѣсто принципа равенства—стремленіе къ индивидуализму, вмѣсто невѣрія—потребность непосредственной вѣры, вмѣсто стремленія къ соціальнымъ улучшеніямъ—возвращеніе къ своему прошлому, гдѣ жизнь, повидимому, была полна душевной цѣльности и поэзіи. Въ романтизмѣ были, слѣдовательно, и прогрессивныя и реакціонныя струи. И тѣ и другія отразились на отношеніяхъ романтиковъ къ наукѣ. Съ одной стороны, человѣчество усумнилось въ цѣнности схематическихъ построеній, къ которымъ былъ такъ пристрастенъ XVIII в., и потребовало болѣе вдумчивыхъ наблюденій надъ жизнью, что было прогрессомъ для науки. Съ другой,—признавъ ограниченность нашего разума, оно не остановилось на этомъ и превозгласило превосходство чувства надъ разумомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Вслѣдствіе этого явилось пренебрежительное отношеніе къ наукѣ и знанію. У Пушкина и Грибоѣдова мы всюду встрѣчаемъ вражду къ сухому разсудку и любовь къ искреннему энтузіазму, но иногда какъ будто вражду къ знанію и наукѣ, такъ какъ знаніе и наука уничтожаютъ этотъ благородный энтузіазмъ. Сожалѣя о томъ, что пришлось развѣнчать обманчивыя мечты юности, Грибоѣдовъ съ горькой ироніей восклицаетъ:

И что жъ съ тѣхъ поръ? Мы мудры стали,
Ногой отмѣрили пять стопъ,
Соорудили темный гробъ,
И въ немъ живыхъ себя заклали.
Премудрость! Вотъ урокъ ея:
Чужихъ законовъ несть ярмо,
Свободу схоронить въ могилу,
Не вѣрить въ собственную силу,
Отвагу, дружбу, честь, любовь.

У Пушкина въ параллель къ этому можно привести два стиха изъ «Фауста»

Въ глубокомъ знанья жизни нѣтъ—
Я проклялъ знаній ложный свѣтъ...

и слѣдующее мѣсто изъ «Героя»

Да будетъ проклятъ правды свѣтъ,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, къ соблазну жадной,
Онъ угождаетъ праздно! Нѣтъ,
Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ.

Не странно ли читать подобные отзывы, враждебные наукѣ и знанію у тѣхъ писателей, которые сами принадлежали къ образованнѣйшимъ людямъ своего времени и неоднократно высказывались за необходимость для общества самаго широкаго образованія? Главною причиною бѣдности родной литературы Пушкинъ и Грибоѣдовъ видѣли въ невѣжественности нашихъ писателей и въ отсутствіи у нихъ охоты къ самообразованію. «Мало у насъ писателей, которые бы учились»—сожалѣлъ Пушкинъ,—«бо́льшая часть только разучиваются». Грибоѣдовъ же смѣялся, что наши литераторы учатся только «читать и писать, и то плохо». Все это доказываетъ, что нападокъ нашихъ поэтовъ на науку и знаніе отнюдь не слѣдуетъ понимать въ буквальномъ смыслѣ; въ приведенныхъ стихахъ отразилось только вліяніе романтизма. У другихъ нашихъ романтиковъ мы встрѣчаемъ тотъ же мотивъ, у Лермонтова:

Мы изсушили умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.

Баратынскій описываетъ «послѣдняго поэта» въ такихъ стихахъ:

Воспѣваетъ простодушной
Онъ любовь и красоту,
И науки, имъ ослушной,
Пустоту и суету:
Мимолетныя страданья
Легкомыслiемъ цѣля,
Лучше, смертный, въ дни незнанья
Радость чувствуетъ земля!

Всего лучше этотъ же мотивъ выраженъ въ стихотвореніяхъ Баратынскаго «Истина» и «Примѣты», гдѣ говорится, что человѣкъ былъ счастливъ, пока жилъ непосредственною жизнью, заодно съ природой,

Но чувство презрѣвъ, онъ довѣрилъ уму,
Вдался въ суету изысканій,
И сердце природы закрылось ему,
И нѣтъ на землѣ прорицаній.

Глубокое вліяніе романтизма у Пушкина и Грибоѣдова сказывается еще въ томъ, что, въ противоположность Жуковскому, они обращаютъ серьезное вниманіе на русское народное творчество и на родную старину, и тамъ ищутъ себѣ сюжетовъ для вдохновенія. Дѣятельность Пушкина въ этомъ отношеніи достаточно извѣстна; напомнимъ только, что и у Грибоѣдова есть два стихотворенія, относящіяся къ послѣднимъ годамъ его жизни: «Востокъ» и «Домовой», отъ которыхъ вѣетъ народной поэзіей. Что касается до обращенія къ родной старинѣ, слѣдуетъ замѣтить, что Пушкинъ и Грибоѣдовъ съ особенною охотой останавливались на тѣхъ эпохахъ и событіяхъ, гдѣ наиболѣе ярко выразилась, по ихъ мнѣнію, та удаль и широкій размахъ, которые по традиціи принято считать основными свойствами русской души... Пушкинъ переносится въ эпоху Олега, Владиміра Красна-Солнышка, Петра Великаго и т. д. Этимъ же объясняется его интересъ къ поволжскимъ разбойническимъ движеніямъ. Грибоѣдовъ любилъ переноситься воображеніемъ почти исключительно въ самыя отдаленныя времена русской исторіи, времена Великаго Новогорода и Половецкихъ набѣговъ. Западные романтики любили обращать свои взоры къ среднимъ вѣкамъ и рыцарству; наши поэты искали въ русской исторіи соотвѣтствующей эпохи...

На ряду съ различными литературными вліяніями идетъ у нашихъ поэтовъ работа мысли подъ вліяніемъ лично пережитого опыта.

Въ юношескихъ своихъ произведеніяхъ Пушкинъ или воспѣваетъ беззаботное наслажденіе жизнью или изливаетъ «горести несчастливой любви». Но по мѣрѣ того, какъ въ молодомъ поэтѣ крѣпнетъ критическая мысль и вмѣстѣ съ тѣмъ расширяется жизненный опытъ, онъ начинаетъ сомнѣваться въ дѣйствительной цѣнности того, въ чемъ искалъ себѣ счастья. Съ теченіемъ времени сомнѣнія его еще болѣе усиливаются. Годы ссылки ознаменованы для него тяжелой внутренней борьбой. Онъ подвергаетъ критической оцѣнкѣ все то, что до сихъ поръ считалъ истинными благами жизни: дружбу, любовь, славу; во всемъ разочаровывается и долго не находитъ

выхода изъ томящей его неудовлетворенности. Горькая жалоба вырывается у него въ это время: «Я пережилъ свои желанья!»

Въ «Кавказскомъ плѣнникѣ», поэмѣ, написанной въ 1821 году и наиболѣе любимой самимъ поэтомъ, про героя поэмы говорится:

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,
И зналъ невѣрной жизни цѣну,
Въ сердцахъ друзей нашелъ измѣну,
Въ мечтахъ любви—безумный сонъ.

Въ слѣдующемъ году, посылая своему брату благія совѣты и правила общежитія, почерпнутыя изъ собственнаго тяжкаго опыта, Пушкинъ хотѣлъ предостеречь своего брата отъ обольщеній дружбы и любви, «но»—пишетъ онъ—«у меня не хватаетъ духу черствить твою душу въ пору ея сладчайшихъ мечтаній».

Въ «Сценѣ изъ Фауста» подвергается вопросу самая возможность личнаго счастья.

Желалъ ты славы—и добился,
Хотѣлъ влюбиться—и влюбился...
Ты съ жизни взялъ возможну дань,
А былъ ли счастливъ?

«Кавказскій плѣнникъ» и «Сцена изъ Фауста»—наиболѣе крупныя выраженія душевной борьбы Пушкина. Въ первомъ изъ этихъ произведеній отразилось вліяніе Байрона. Впрочемъ, вообще вліяніе Байрона на Пушкина было незначительно. Мрачная, протестующая поэзія англійскаго поэта мало гармонировала съ ясною натурою Пушкина.

Наиболѣе характерной чертой его байронизма явилось то, что у самого Байрона далеко не было существеннымъ—разочарованіе въ жизненныхъ благахъ. Въ «Цыганахъ» Пушкинъ уже пытается освободиться отъ вліянія Байрона, влагая въ уста стараго цыгана такой упрекъ гордому Алеко: «Ты для себя лишь хочешь воли». Въ первыхъ пѣсняхъ «Евгенія Онѣгина» Пушкинъ разлагаетъ жизненное разочарованіе на два основныхъ вида по его происхожденію: на пресыщеніе жизненными удовольствіями и на наивное исканіе абсолютной цѣнности въ любви, дружбѣ и славѣ. Первое онъ объективируетъ въ Онѣгинѣ, второе въ Ленскомъ. «Фаустомъ» заканчивается второй періодъ дѣятельности Пушкина—періодъ разочарованія.

Совершенно иначе пережилъ байроническое настроеніе Грибоѣдовъ. Чисто литературнаго вліянія, т. е. въ сюжетахъ, обрисовкѣ характеровъ и положеніяхъ, у Грибоѣдова, въ противоположность Пушкину, совсѣмъ нѣтъ, но многія характерныя черты байронизма мы находимъ у него въ болѣе сильной степени, чѣмъ у Пушкина:— негодованіе противъ общественнаго мнѣнія, непримиримую ненависть къ «ложной культурѣ», къ свѣту и къ безличной толпѣ и, какъ противовѣсъ этому, любовь къ исключительнымъ личностямъ, обреченнымъ судьбою на одиночество среди мелкаго и ничтожнаго общества или—къ дикимъ народамъ, простота жизни которыхъ замѣтно идеализируется, наконецъ, сочувствіе всѣмъ угнетеннымъ и изнемогающимъ подъ гнетомъ какого бы то ни было деспотизма. Все это приняло у Грибоѣдова своеобразный оттѣнокъ. Тутъ было, собственно говоря, не столько непосредственное вліяніе байронизма, сколько развитіе параллельнаго ему теченія на русской почвѣ, возникшее въ атмосферѣ всеобщаго увлеченія Байрономъ. Къ тому же, и обстоятельства личной жизни Грибоѣдова должны были способствовать развитію подобнаго настроенія. Чего стоилъ въ этомъ отношеніи одинъ гнетъ вѣчной зависимости отъ своихъ домашнихъ и службы! Но у Грибоѣдова не было свойственной англійскому поэту склонности позировать и любоваться самимъ собою, хотя одинъ изъ его современниковъ и заявляетъ, что Грибоѣдовъ старался казаться загадочнымъ и всю жизнь ходилъ на ходуляхъ. Къ сожалѣнію, мы не можемъ опредѣлить, когда Грибоѣдовъ впервые ознакомился съ созданіями Байрона. Мы знаемъ только, что онъ былъ очень начитанъ въ западной литературѣ [1]). Въ 1821—1822 годахъ, когда байроническое настроеніе входило у насъ въ моду, Грибоѣдовъ, по его собственнымъ словамъ, живя въ Грузіи, мало служилъ, за то вдоволь начитался. Какъ бы тамъ ни было, но для нашего драматурга достаточно было самаго незначительнаго вліянія: ему трудно было не поддаться настроенію «властителя думъ» своего времени, такъ какъ въ немъ самомъ были задатки для развитія такого настроенія. Уже

[1]) Онъ раньше Пушкина оцѣнилъ Шекспира: Пушкинъ оцѣнилъ Шекспира въ 1825 г., (см. письмо его къ Н. Н. Раевскому въ сент. 1825 г.); у Грибоѣдова преклоненіе предъ Шекспиромъ замѣтно въ письмѣ къ Бѣгичеву, написанномъ въ августѣ 1824 года.

въ первый періодъ дѣятельности у него было отрицательное отношеніе къ дѣйствительности, наклонность всюду замѣчать темныя стороны жизни и изрѣдка, для контраста отыскивать и указывать на примѣры добродѣтели и героизма. Во второй періодъ жажда подвиговъ усилилась, а отрицательное отношеніе перешло въ негодованіе.

Если Пушкину пришлось разочароваться въ лучшихъ душевныхъ наслажденіяхъ, то Грибоѣдовъ вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ былъ въ этотъ періодъ подвергнуть испытанію и свою вѣру въ героизмъ и добродѣтель. Разрушая обманчивые призраки юности онъ долженъ былъ усумниться и въ томъ, существуетъ ли въ дѣйствительности героизмъ и добродѣтель, идеалъ которыхъ сложился у него въ душѣ. Онъ чувствовалъ, что безъ этихъ идеаловъ жизнь для него станетъ жалкимъ прозябаніемъ, лишеннымъ всякаго смысла. И чѣмъ болѣе дѣйствительность расходилась съ мечтами Грибоѣдова, тѣмъ настойчивѣе цѣнилъ онъ свои идеалы, откапывая примѣры героизма въ отдаленномъ прошломъ или въ жизни полудикихъ народовъ. Здѣсь мы находимъ у Грибоѣдова сходство съ Байрономъ.

Одинъ изъ героевъ въ «Діалогѣ половецкихъ мужей» заявляетъ у Грибоѣдова, что

... человѣкъ рожденъ гонять врага,
Настичь, убить иль запетлить арканомъ,

и тотъ, по его мнѣнію, не живетъ, «кто на путяхъ не рыщетъ алчнымъ враномъ».

Въ одной своей прозаической статьѣ Гр. съ восторгомъ вспоминаетъ «тотъ вѣкъ необузданной вольности, въ который нѣсколько удальцовъ бросалось въ легкіе струги, спускались внизъ по протоку Ахтубѣ, по Бузанъ-рѣкѣ, дерзали въ открытое море, брали дань съ прибрежныхъ городовъ и селеній, не щадили ни красоты дѣвичьей; ни сѣдины старческой». Съ нравственной точки зрѣнія во всемъ этомъ, конечно, мало хорошаго, но дикая удаль всегда плѣняла воображеніе романтиковъ.

Байронъ склоненъ былъ идеализировать полудикіе народы на счетъ европейскаго культурнаго общества. То же мы встрѣчаемъ и у Грибоѣдова. Въ его стихотвореніи: «Хищники на Чечемѣ» дикіе горцы заявляютъ о попавшихся имъ въ плѣнъ русскихъ.

Узы—жребій имъ приличный.
Въ ихъ землѣ и свѣтъ темничный.

И ужасенъ ли обмѣнъ?
Дома цѣпи! Въ чужѣ плѣнъ!

Сочувствіе горцамъ замѣтно и въ письмахъ Грибоѣдова: «Пускаюсь въ Чечню—теперь это меня нѣсколько занимаетъ,—борьба горной и лѣсной свободы съ барабаннымъ просвѣщеніемъ (п. XXXVII).

Въ цѣломъ рядѣ задуманныхъ и большею частью не оконченныхъ произведеній Грибоѣдова мы находимъ одинъ и тотъ же основной мотивъ: трагическое положеніе выдающейся личности, одаренной благородной и «пламенной» душой, среди мелкаго и пошлаго общества.

Въ прологѣ «Юность Вѣщаго», гдѣ рѣчь идетъ о Ломоносовѣ, мы читаемъ:

„Ахъ! отъ нелень
„Томится сколько лѣтъ ревнитель славы!
Еще томится возмужалый онъ,
Отверженъ и не признанъ, угнетенъ...
Судьба! О, какъ тверды твои уставы!
Великимъ средь Австраліи зыбей,
Иль въ Сѣвера снѣгахъ, вездѣ одно ли
Присуждено?— Искать желанной доли
Путемъ вражды, препятствій и скорбей".

Въ задуманной трагедіи «Родамистъ и Зенобія» главное дѣйствующее лицо должно было обладать душой, «алчущей великихъ дѣлъ и нынѣ принужденной довольствоваться ловитвою вепрей и сернъ». Въ другой задуманной пьесѣ, въ драмѣ «1812 годъ»— главное дѣйствующее лицо крѣпостной человѣкъ, нѣкто М., совершаетъ чудеса храбрости, а по окончаніи войны обойденъ наградами и отпускается подъ палку своего господина.

Какъ мы видимъ, второй періодъ дѣятельности Грибоѣдова рѣзко отличается отъ перваго по характеру произведеній и по настроенію, которымъ они проникнуты. Прежде былъ молодой задоръ, склонность къ полемикѣ и насмѣшливость,—теперь авторъ склоняется къ трагизму [1]). Этотъ трагизмъ замѣтенъ и въ «Горѣ отъ ума».

---

[1]) Одинъ только разъ въ это время Грибоѣдовъ, что называется „тряхнулъ стариной"; онъ попробовалъ въ сотрудничествѣ съ Вяземскимъ написать оперу-водевиль: „Кто братъ? Кто сестра?" Водевиль этотъ вышелъ неудачнымъ и не имѣлъ успѣха на сценѣ.

Надъ этой великой комедіей Грибоѣдовъ работалъ съ самой ранней юности, но только въ этомъ, второмъ періодѣ характеръ Чацкаго и отношеніе его къ окружающему обществу пріобрѣли ясность и опредѣленность. (См. статью проф. Веселовскаго о Грибоѣдовѣ; Рус. Библ. стр. XXXVIII, 6—7 строки). Въ петербургскій періодъ Грибоѣдовъ, насколько мы его знаемъ по письмамъ и произведеніямъ этого времени, не могъ вложить въ своего героя ту силу и благородство негодованія, которымъ отличается Чацкій въ позднѣйшихъ редакціяхъ. Въ первоначальныхъ наброскахъ знаменитая пьеса могла отличаться колкостью, веселостью и остроуміемъ, но какъ и въ комедіи «Студентъ», въ ней не было ни энтузіазма, ни негодованія.

Чацкому Пушкинъ отказалъ въ умѣ и назвалъ его просто «пылкимъ малымъ». «Первый признакъ умнаго человѣка»—говоритъ Пушкинъ—«съ перваго взгляда знать, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и не метать бисера передъ Репетиловыми и т. п.» Разногласіе между Пушкинымъ и Грибоѣдовымъ произошло тутъ отъ различнаго пониманія слова «умъ». Чацкій несомнѣнно очень уменъ, но горе его происходитъ не отъ ума, а отъ пылкости. Дѣло въ томъ, что, по представленію Грибоѣдова, умъ всегда соединяется съ благородствомъ сердца и пылкостью, умовъ же холодныхъ, разсудительныхъ и осторожныхъ онъ не признавалъ. Это можно видѣть, какъ изъ многочисленныхъ отзывовъ Грибоѣдова, разсѣянныхъ въ его перепискѣ, о самомъ себѣ и друзьяхъ, такъ и изъ самой комедіи. Невозможно, напр., отрицать ума въ другѣ Чацкаго—Платонѣ Михайловичѣ, а между тѣмъ авторъ не выдѣлялъ его изъ общей толпы глупцовъ, какъ это можно заключить по извѣстному письму къ Катенину, гдѣ Грибоѣдовъ утверждаетъ, что въ его комедіи только одинъ умный человѣкъ—Чацкій. Платонъ Михайловичъ сходится съ своимъ другомъ во мнѣніяхъ объ окружающихъ, самъ дѣлаетъ очень ѣдкое замѣчаніе на счетъ Загорѣцкаго, но когда является случай заступиться за своего друга, онъ по вялости характера не рѣшается плыть противъ теченія и вопреки своему внутреннему убѣжденію соглашается, что если *всѣ* признаютъ Чацкаго безумнымъ, то приходится «вѣрить поневолѣ».

Такая вялая, пассивная личность не могла быть особенно симпатичной Грибоѣдову, который болѣе всего цѣнилъ пылкость чувства и тѣхъ, въ комъ находилъ это свойство, называлъ и умными; если

же онъ употребляетъ выраженіе «трезвый умъ», то это у него звучитъ обыкновенно синонимомъ пошлости [1]). Приведемъ нѣсколько отзывовъ Грибоѣдова о себѣ самомъ, разсѣянныхъ въ его перепискѣ... Грибоѣдовъ называетъ себя «пасынкомъ здраваго разсудка» (т. I, изд. Шл., 157 стр.), пишетъ, что у него все не на своемъ мѣстѣ, «а самое первое голова» (161 стр.); завидуетъ Бѣгичеву, что тотъ, не имѣя матери, никому не обязанъ казаться основательнымъ (157 стр.) «иной разъ»—сообщаетъ Грибоѣдовъ—«нападаетъ на меня охота остепениться, и тутъ ужъ я дѣйствительно глупѣю». (Письмо къ Ахвердовой. XCV; русскій переводъ). А вотъ что пишетъ Грибоѣдовъ изъ Петербурга объ извѣстномъ партизанѣ Денисѣ Давыдовѣ: «здѣсь нѣтъ эдакой буйной и умной головы, я это всѣмъ твержу; всѣ они, сонливые меланхолики, не стоятъ выкурки изъ его трубки» (195 стр.). Такихъ примѣровъ можно привести множество [2]).

Излагая Софьѣ свои преимущества передъ Молчалинымъ, Чацкій ставитъ въ упрекъ Молчалину, что онъ «смиренъ», «смолчитъ и голову повѣситъ», и что «та страсть, то чувство, пылкость та», которая присуща самому Чацкому, неизвѣстна Молчалину. Умѣренный и аккуратный Молчалинъ, пользующійся всеобщимъ расположеніемъ, является во всѣхъ отношеніяхъ наиболѣе яркою противоположностью Чацкому. Грибоѣдовъ со свойственной ему склонностью находитъ противорѣчія между наружнымъ видомъ и внутренними достоинствами, разоблачая услужливаго, скромнаго Молчалина, выказываетъ самыя горячія симпатіи къ «отъявленному моту и сорванцу». Смыслъ безсмертной комедіи не столько въ борьбѣ двухъ поколѣній, сколько въ трагической судьбѣ одинокой, пылкой и благородной личности среди окружающей ее пошлости. Всего лучше этотъ смыслъ выраженъ въ слѣдующихъ стихахъ:

„Ахъ, какъ судьбы игру постичь!
„Людей съ душой—гонительница, бичь!
„Молчалины блаженствуютъ на свѣтѣ".

Чацкій именно «человѣкъ съ душой». Это выраженіе, встрѣчающееся въ піесѣ еще одинъ разъ («..чтобъ искру заронилъ Онъ въ комъ-нибудь съ душой»...)—всего лучше его опредѣляетъ.

---

[1]) См. изд. Шляпкина, т. I, стр. 179—о „трезвыхъ умахъ".

[2]) См. т. I, изд. Шляпкина, стр. 30—31, 172, 188, 211 и т. д.

Такимъ образомъ «Горе отъ ума» по основной своей мысли примыкаетъ къ цѣлому ряду произведеній второго періода.

Негодованіе Грибоѣдова противъ мелочнаго, тщеславнаго и лицемѣрнаго общества, его презрѣніе къ общественнымъ мнѣніямъ и приговорамъ, такъ ярко выразившіяся въ «Горѣ отъ ума», отражаются и на частныхъ фактахъ его личной жизни и чуть ли не на каждой страницѣ его переписки. Вотъ что, напр., пишетъ онъ относительно кн. Шаховского въ одномъ изъ своихъ писемъ: «я у него бываю оттого, что всѣ другіе его ругаютъ, это въ моихъ глазахъ придаетъ ему нѣкоторое достоинство». (17 ок. 1824 г.). Не смягчилъ въ этомъ отношеніи Грибоѣдова и неожиданный шумный успѣхъ, который выпалъ на долю его комедіи среди этого общества. До появленія «Горя отъ ума» литературное самолюбіе Грибоѣдова искало, но не находило себѣ удовлетворенія: «Рожденный съ честолюбіемъ, равнымъ его дарованіямъ,—говоритъ о немъ Пушкинъ,—«долго былъ онъ опутанъ сѣтями мелочныхъ нуждъ и неизвѣстности... Нѣсколько друзей знали ему цѣну и видѣли улыбку недовѣрчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось имъ говорить о человѣкѣ необыкновенномъ. Люди вѣрятъ только славѣ и не понимаютъ, что между ними можетъ находиться какой-нибудь Наполеонъ, не предводительствовавшій ни одною егерскою ротою, или другой Декартъ, не напечатавшій ни одной строчки въ «Московскомъ Телеграфѣ». Пушкинъ не зналъ только, что, по мнѣнію самого Грибоѣдова, даже друзья не цѣнили его настолько, насколько онъ этого заслуживалъ. Съ появленіемъ «Горя отъ ума» долго ожидаемая слава наконецъ пришла, но не надолго вскружила она голову Грибоѣдову. Лесть и заискиванія, которыя онъ теперь встрѣтилъ, глубоко его возмутили. «Не могу пожаловаться, отовсюду колѣнопреклоненія и ониміамъ, но вмѣстѣ съ этимъ—сытость отъ ихъ дурачествъ, ихъ сплетенъ, ихъ мишурныхъ талантовъ, и мелкихъ ихъ душишекъ» (193 стр. I т.). Въ это же время Грибоѣдовъ переводитъ прологъ изъ «Фауста» Гёте, и не весь, а только ту его часть, гдѣ выражается презрѣніе поэта къ вкусамъ и требованіямъ толпы. Тутъ мы видимъ примѣръ того, какъ тѣсно творчество у нашего автора соприкасается съ жизнью. Въ письмѣ къ Бѣгичеву отъ августа 1824 года Грибоѣдовъ сердится на самого себя за то, что не можетъ «оторваться отъ побрякушекъ авторскаго самолюбія». «Ты, безцѣнный другъ мой,—пишетъ

онъ Бѣгичеву,—насквозь знаешь своего Александра; подивись гвоздю, который онъ вбилъ себѣ въ голову, мелочной задачѣ, вовсе несообразной съ ненасытностью души, съ пламенною страстью къ новымъ вымысламъ, къ новымъ познаніямъ, къ перемѣнѣ мѣста и занятій, къ людямъ и дѣламъ необыкновеннымъ. И смѣю ли здѣсь думать и говорить объ этомъ? Могу ли прилежать къ чему-нибудь высшему?» [1]) (см. соч. Гр.; изд. Шл. т. I, 186 стр.). Своей безсмертной комедіей Грибоѣдовъ не былъ вполнѣ удовлетворенъ и во всякомъ случаѣ считалъ себя способнымъ создать что-либо лучшее. Когда Булгаринъ помѣстилъ въ своихъ «Литературныхъ прибавленіяхъ» къ «Инвалиду» статью, гдѣ хвалилъ его, какъ автора только что появившейся превосходной комедіи, Грибоѣдовъ разорвалъ знакомство съ Булгаринымъ, заявивъ въ письмѣ, что правила благопристойности и собственное къ себѣ уваженіе не дозволяютъ ему быть предметомъ похвалы незаслуженной. «Вы меня хвалили какъ автора—говоритъ онъ — а я именно какъ авторъ ничего еще не произвелъ истинно изящнаго» [2]).

Усилившееся за это время у Грибоѣдова чувство уваженія къ самому себѣ отразилось между прочимъ и на его отношеніи къ полемикѣ. Самъ прежде страстный полемистъ («Лубочный театръ», «Отвѣтъ на разборъ» «Леноры», «Студентъ») теперь онъ называетъ полемику «борьбой ребяческой, вздорной», удобной только для тѣхъ, «которые отъ души желаютъ, чтобы отечество наше оставалось въ вѣчномъ младенчествѣ» (I т. 203 стр.). Возвращеніе въ Петербургъ въ 1824 году имѣло для Грибоѣдова еще то значеніе, что онъ возненавидѣлъ теперь и петербургское общество, какъ прежде ненавидѣлъ только московское.

Недаромъ въ знаменитомъ патріотическомъ монологѣ Чацкаго въ III дѣйствіи стихи, гдѣ первоначально упоминалось только объ одной

---

[1]) Гиперболическій способъ выраженія, свойственный романтикамъ вообще, очень замѣтенъ въ этомъ письмѣ Грибоѣдова.

[2]) Этотъ странный разрывъ съ Булгаринымъ, бывшій, впрочемъ, временнымъ, находитъ себѣ нѣкоторое объясненіе въ томъ фактѣ, что какъ разъ въ это время разорвалъ свои отношенія съ Булгаринымъ изъ-за взаимныхъ недоразумѣній одинъ изъ близкихъ друзей Грибоѣдова—кн. В. Ѳ. Одоевскій. См. Офиціальное письмо кн. В. Ѳ. Одоевскаго Булгарину, напечатанное въ IV книжкѣ „Мнемозины“. По своему тону и нѣкоторымъ выраженіямъ оно подходитъ къ Грибоѣдовскому.

Москвѣ, были въ послѣдствіи передѣланы Грибоѣдовымъ. Въ первоначальныхъ редакціяхъ читаемъ: «Москва — столичное въ Россіи мѣсто,—то... и т. д.» и «И въ этой же Москвѣ»;—въ позднѣйшихъ же редакціяхъ — «Москва и Петербургъ, во всей Россіи то»..., «И въ Петербургѣ, и въ Москвѣ»...

«Боже мой! Когда вырвусь изъ этого мертваго города!»—пишетъ Грибоѣдовъ изъ Петербурга (т. I, 190); «Что въ городѣ дѣлается», заявляетъ онъ въ другомъ письмѣ, «не знаю, да и знать не хочу» (195). Какъ изъ Персіи Грибоѣдовъ стремился въ Россію, такъ теперь онъ собирается за границу: «я еще не совсѣмъ погрязъ въ этомъ трясинномъ государствѣ... Скоро отправлюсь и — надолго». Побывать за границей Грибоѣдову, какъ и Пушкину, не удалось; но врядъ ли на всемъ свѣтѣ былъ такой уголокъ, гдѣ Грибоѣдовъ этого времени могъ бы найти себѣ душевное успокоеніе. «Какой міръ! Кѣмъ населенъ! И какая дурацкая его исторія!» — восклицалъ онъ въ отчаяніи. Въ своихъ взглядахъ на отношенія Россіи къ Западу наши поэты расходились. Пушкинъ стоялъ за то, чтобы брать хорошее отовсюду, гдѣ оно есть, между прочимъ изъ богатой сокровищницы запада, благо она подъ руками; Грибоѣдовъ же глубоко сожалѣлъ, что со времени Петра Великаго русская жизнь подчинилась западному вліянію и уклонилась отъ самобытнаго теченія. Патріотическія тирады Чацкаго вовсе не были случайны. Въ «Горе отъ ума» древнерусскія симпатіи Грибоѣдова выразились еще сравнительно слабо, и упреки въ старовѣрствѣ, дѣлавшіеся иногда по адресу Чацкаго, совершенно не основательны. Вѣдь Чацкій ратуетъ только противъ «пустого, рабскаго, слѣпого подражанья, противъ «толпноты» «по сторонѣ чужой»; что же касается до совѣта поучиться у Китайцевъ, то онъ предлагаетъ только «*нѣсколько* занять премудраго у нихъ незнанья иноземцевъ»—и развѣ не естественны подобныя пожеланія въ устахъ Чацкаго? Гораздо опредѣленнѣе высказался Грибоѣдовъ въ статьѣ «Загородная поѣздка». Русскій національный характеръ онъ предпочиталъ характерамъ другихъ націй, потому что видѣлъ въ немъ наклонность къ необузданной удали и размаху, что должно было соотвѣтствовать до извѣстной степени его идеалу героизма. Вообще, не принявъ во вниманіе стремленій Грибоѣдова къ «дѣламъ и людямъ необыкновеннымъ» и вытекающей отсюда вѣчной неудовлетворенности окружающею дѣйствительностью

невозможно ни понять личность Грибоѣдова, ни найти общую связь въ его убѣжденіяхъ, между тѣмъ какъ эти двѣ основныхъ черты объясняютъ намъ многое. То, что онъ зналъ и видѣлъ вокругъ себя, его глубоко неудовлетворяло, и онъ, какъ это часто бываетъ, невольно идеализировалъ то, чего не зналъ или что зналъ хуже: простой народъ—на счетъ высшихъ классовъ, и русскую старину—на счетъ современной ему дѣйствительности. Недаромъ Чацкій, укоряя свѣтское общество, указываетъ ему на «милый, добрый нашъ народъ» и на «старину святую». У русскихъ крестьянъ онъ находилъ «смѣлыя черты» и «вольныя движенія», но еще болѣе цѣнилъ ихъ за внутреннія качества. У простыхъ людей онъ видѣлъ «истинныя достоинства», чего такъ мало находилъ въ другихъ сословіяхъ. Всего ярче такое отношеніе выразилось въ задуманной имъ драмѣ «1812 годъ». Изъ дошедшаго до насъ плана этой драмы мы можемъ заключить, что Грибоѣдовъ собирался изобразить «всеобщее ополченіе безъ дворянъ» и указать на «трусость и отсутствіе истиннаго патріотизма въ этомъ сословіи». Отношеніе Грибоѣдова къ крѣпостному праву выразилось вполнѣ опредѣленно въ комедіяхъ «Горе отъ ума» и «Студентъ». Его всего болѣе возмущаетъ, что благосостояніе и счастіе крѣпостныхъ часто приносятся въ жертву для удовлетворенія пустыхъ барскихъ прихотей. Любопытно, что и Пушкинъ собирался въ Кишиневѣ написать комедію, направленную противъ крѣпостного права, гдѣ молодой легкомысленный свѣтскій франтъ проигрываетъ въ карты выходившаго его крѣпостного дядьку.

Относительно симпатій Грибоѣдова къ старинѣ мы уже упоминали, что онъ любилъ переноситься воображеніемъ въ самыя отдаленныя времена русской исторіи: времена Великаго Новогорода, Владиміра Святого, Святослава и т. д. Болѣе же позднюю эпоху, начиная съ царствованія Алексѣя Михайловича, когда уже замѣтно стало сказываться вліяніе запада, Грибоѣдовъ не любилъ. Главное зло русской жизни онъ видѣлъ въ томъ, что благодаря иноземному вліянію образованный классъ общества «на вѣки» разъединенъ съ простымъ народомъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Грибоѣдовъ, какъ и Пушкинъ, былъ убѣжденнымъ сторонникомъ всякаго истиннаго образованія и съ уваженіемъ относился къ западно-европейской литературѣ и наукѣ.

Съ 1826 года начинается третій и послѣдній періодъ жизни и литературной дѣятельности Грибоѣдова. Въ началѣ этого года онъ

былъ вызванъ съ Кавказа въ Петербургъ по дѣлу декабристовъ и просидѣлъ подъ арестомъ два мѣсяца, пока велось слѣдствіе. Самообладаніе и гордое презрѣніе къ людямъ не оставили его и тутъ. «Бояться людей, значитъ слишкомъ баловать ихъ», заявляетъ онъ, сидя подъ арестомъ. Зато послѣ, когда Грибоѣдовъ былъ оправданъ и освобожденъ, настроеніе его стало измѣняться. Вмѣсто непокорливости и гордой силы духа явились теперь безысходная грусть и смиреніе. «Я послушался твоего совѣта, пересталъ умничать»,—пишетъ онъ въ концѣ этого года Бѣгичеву, — «со всѣми видаюсь, слушаю всякій вздоръ, и нахожу, что это очень хорошо. Какъ-нибудь дотяну до смерти»... (т. I. 222). Онъ совѣтуетъ въ утѣшеніе своему другу читать Плутарха и довольствоваться тѣмъ, что герои встрѣчались въ древности; «нынѣ»,—добавляетъ онъ,—«эти характеры болѣе не повторятся» (т. I; 223 стр.). Во многихъ друзьяхъ своихъ Грибоѣдовъ разочаровался, завелъ переписку съ Булгаринымъ, котораго цѣнилъ за услужливость, но которому никогда не открывалъ своей души.

Въ первый петербургскій періодъ наибольшее вліяніе на Грибоѣдова имѣлъ Катенинъ, во второй—А. П. Ермоловъ. Теперь Грибоѣдовъ окончательно разошелся и съ тѣмъ, и съ другимъ. Въ умственномъ отношеніи онъ давно уже переросъ Катенина, міросозерцаніе котораго застыло на извѣстной ступени развитія, но воспоминанія о прежней дружбѣ долго еще послѣ этого ихъ связывало; теперь же они почувствовали себя столь чуждыми другъ другу, что совершенно прекратили переписку. О Ермоловѣ, своемъ бывшемъ кумирѣ, Грибоѣдовъ упоминаетъ въ замѣчательномъ письмѣ (отъ 9 дек. 1826 года), гдѣ онъ какъ бы прощается навсегда съ пламенными и гордыми порывами молодости... «Старикъ нашъ», — говоритъ Грибоѣдовъ про Ермолова, — «несмотря на превосходство, данное ему отъ природы, подверженъ страстямъ». Изъ прежнихъ друзей только къ тихому, уравновѣшенному и очень доброму Бѣгичеву, который по отношенію къ нему постоянно игралъ роль парашюта при воздушномъ шарѣ [1]), Грибоѣдовъ сохранилъ дружбу, но она уже не могла удовлетворять его: «что проку? Мы не вмѣстѣ... И жалѣть надобно меня: ты не одинъ» (Бѣгичевъ былъ женатъ). Нотка презрительнаго отношенія

---

[1]) У Пушкина такимъ другомъ-хранителемъ былъ Нащокинъ.

къ людямъ звучитъ все рѣже и слабѣе въ письмахъ Грибоѣдова; зато безпощаднѣе стало отношеніе къ самому себѣ: явилась потребность въ самооправданіи. Грибоѣдова мучитъ мысль, что люди, которыхъ онъ еще не переставалъ уважать, какъ, напр., кн. Ал. Одоевскій, могутъ быть о немъ почему-нибудь дурного мнѣнія. Онъ спустился съ одинокихъ и мрачныхъ вершинъ своего титанизма, подошелъ къ жизни ближе, и въ его отношенія къ людямъ прокрадывается та тихая и сдержанная задушевность, которая появляется только у человѣка, примирившагося съ неизбѣжностью въ жизни страданій. Въ это же время онъ ревностнѣе, чѣмъ когда-либо, занялся своей службой, стараясь принести хоть посильную помощь своей родинѣ. Въ идеалахъ своихъ онъ не извѣрился: ни высокій дипломатическій постъ, ни блестящая будощность попрежнему не имѣли въ его глазахъ никакого значенія, но самая суть жизни стала ему казаться проще и сѣрѣе. За полгода до смерти на Грибоѣдова вдругъ пахнуло тепломъ и свѣтомъ. Бракъ съ шестнадцатилѣтней княжной Чавчавадзе, подарившей ему свою первую любовь и навсегда уже оставшейся вѣрной его памяти, озарилъ жизнь «пламенному мечтателю» на самомъ ея закатѣ.

Въ творчествѣ третьяго періода мы уже не находимъ стремленій молодости... Въ стихотвореніяхъ «Освобожденный», «Востокъ», «Посланіе кн. А. И. Одоевскому», звучитъ мягкая, сдержанная грусть, но нѣтъ уже ни негодованія, ни дикой отваги. Основною мыслью не дошедшей до насъ «Грузинской ночи» — трагедіи въ духѣ Шекспировской «Бури», должна была быть нравственная идея, которую приблизительно можно выразить такъ: личная месть, какимъ бы зломъ она ни была вызвана, сама по себѣ есть зло, ничуть не меньшее, чѣмъ вызвавшее ее.

Обозрѣвая всю литературную дѣятельность Грибоѣдова, невольно бросается въ глаза, что всѣ замыслы и попытки его изобразить «дѣла и людей необыкновенныхъ» такъ и остались только попытками; ни одно изъ этихъ произведеній не было окончено. Здѣсь сказывается двойственность, противорѣчіе въ натурѣ Грибоѣдова. У него, какъ у Чацкаго, умъ былъ вѣчно не въ ладу съ сердцемъ. Съ одной стороны, его тянуло къ чему-то необыкновенному, онъ скучалъ и томился, не находя себѣ достойнаго поприща, и въ 1827 году радовался начавшейся войнѣ, которая до нѣкоторой

степени могла его удовлетворить; «все же это лучше, чѣмъ плѣснѣть въ городахъ»,—писалъ онъ (письмо 57 въ изд. Шл.), «кончится кампанія—и я откланяюсь. Въ обыкновенныя времена никуда не гожусь»; съ другой стороны, по самому свойству своего ума не къ фантазіи былъ въ сущности склоненъ Грибоѣдовъ, а къ точнымъ наблюденіямъ. Недаромъ же сестра его, Марья Сергѣевна, утверждала, что изъ брата долженъ былъ бы выйти не литераторъ, а второй Гумбольдтъ. Грибоѣдовъ самъ сознавалъ за собой и эту склонность къ детальному изученію, и сравнительную скудость воображенія. «Можно наблюдать дѣйствія другихъ только лично принимая участіе въ ихъ дѣйствіяхъ»... «Всегда нужно самому практиковаться въ томъ, что хочешь изучить»,—говорилъ онъ (изд. Шл., т. I, стр. 114, переводъ); «у меня дарованіе въ родѣ мельничнаго колеса, и коли дать ему волю, такъ оно вздоръ замелетъ» (т. I, стр. 211). У Грибоѣдова были двѣ склонности, которыя никакъ не могли прійти въ равновѣсіе и постоянно мѣшали другъ другу: жажда необыкновеннаго, возвышеннаго,—и способность изображать только то, что было лично наблюдаемо или пережито. Ему не съ кого было рисовать своихъ героевъ, потому что, чѣмъ болѣе онъ жилъ, тѣмъ болѣе убѣждался, что «люди мелки», «дѣла ихъ глупы», а то, чего онъ не видѣлъ и не испыталъ, не поддавалось у него творческой обработкѣ. Поэтому то единственное безсмертное произведеніе Грибоѣдова — сатира, а геройство единственнаго удавшагося ему героя — Чацкаго — заключается въ отрицаніи и осмѣяніи. Такимъ образомъ Грибоѣдовъ перешелъ въ потомство только со славой безпощаднаго сатирика, а все, что въ его душѣ было склоннаго къ героическому и необыкновенному, такъ и не нашло себѣ полнаго и достойнаго выраженія въ его творчествѣ. Въ этомъ можно видѣть духъ времени; эпоха увлеченія необыкновенными людьми и дѣяніями быстро проходила, въ литературѣ зашевелилось смутное сознаніе, что отдѣльные выдающіеся люди уже въ силу своей исключительности не могутъ имѣть первенствующаго значенія для историческаго развитія. Вмѣстѣ съ этимъ мало-по-малу пробуждался интересъ къ обыденной дѣйствительности. Въ поэзіи Пушкина преклоненіе передъ исключительными личностями не играетъ особенной роли; но и у него есть одинъ герой, который навсегда остался въ его воображеніи какимъ-то полубогомъ—Петръ Великій. Изъ отдѣльныхъ произведеній Пуш-

кина, по справедливому замѣчанію одного критика, могла бы составиться цѣлая «Петріада». Грибоѣдовъ же именно къ Петру Великому и не благоволилъ, считая его главнымъ виновникомъ западнаго вліянія и разрыва связи между образованнымъ классомъ русскаго общества и простымъ народомъ. Но характерно для Грибоѣдова, что онъ при этомъ старается уронить личныя качества Петра, чтобы не видѣть въ немъ героя. Въ характерѣ Великаго Преобразователя онъ отмѣчаетъ не только жестокость,—на это указывалъ и Пушкинъ, жестокость еще мирилась бы съ героизмомъ, нѣтъ! Онъ обвиняетъ Петра въ мелочности, лицемѣріи, «несказанной трусости» и тому подобныхъ недостаткахъ. Такимъ путемъ личность Петра Великаго лишалась въ глазахъ Грибоѣдова всякаго обаянія. Пушкинъ же полагалъ, что въ одномъ человѣкѣ могутъ совмѣщаться самыя рѣзкія противоположности. Онъ считалъ возможнымъ восхвалить Барклая де Толли—вовсе не героя въ томъ смыслѣ, въ какомъ понималъ это слово Грибоѣдовъ, и признать, что вдохновенный поэтъ можетъ быть однимъ изъ самыхъ ничтожныхъ дѣтей этого міра. Онъ всегда разграничивалъ въ себѣ человѣка отъ художника и, будучи крайне раздражительнымъ и «неуимчивымъ» въ жизни, въ творчествѣ отличался удивительною ясностью духа и спокойствіемъ. При неистощимомъ богатствѣ фантазіи каждое жизненное впечатлѣніе, полученное имъ, могло найти въ его поэзіи только очень далекое и своеобразное отраженіе. Связь между личною жизнью и творчествомъ у него менѣе близка и замѣтна, чѣмъ у Грибоѣдова. Вотъ почему онъ и поражаетъ насъ такимъ разнообразіемъ своего творческаго генія. Но всѣ его произведенія связываются между собою одною основною чертою Пушкинскаго міросозерцанія — идеаломъ душевной гармоніи и непосредственности. Несмотря на тяжелый жизненный опытъ, наложившій свой грустный отпечатокъ на его настроеніе, навсегда сохранилось у него какое-то бережное и нѣжное отношеніе къ «насъ возвышающему обману» и чудесная способность «надъ вымысломъ слезами обливаться». Послѣ періода разочарованія, періода невѣрія въ радости жизни и обезцѣниванья ихъ, поэтъ опять вернулся къ тому, что сталъ всюду отыскивать радости земной мимолетной жизни. Въ единственной драматической сценѣ второго періода—въ «Фаустѣ» Мефистофель доказываетъ своему патрону, что тотъ не испыталъ ни единаго мгновенія полнаго совершеннаго счастья;—въ третьемъ же

періодѣ Пушкинъ находитъ своеобразное очарованіе даже во многихъ бѣдствіяхъ жизни. Въ драматическую сцену: «Пиръ во время чумы», заимствованную у англійскаго писателя Вильсона, онъ вставляетъ отъ себя пѣснь предсѣдателя, лучшее мѣсто во всемъ драматическомъ отрывкѣ:

Есть упоеніе въ бою
И бездны мрачной на краю,
И въ разъяренномъ океанѣ
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы,
И въ аравійскомъ ураганѣ,
И въ дуновеніи чумы!
Все, все, что гибелью грозитъ,
Для сердца смертнаго таитъ
Неизъяснимы наслажденья...

Въ другихъ драматическихъ произведеніяхъ третьяго періода, являющихся въ художественномъ отношеніи высшими пунктами Пушкинскаго творчества, выводится рядъ лицъ, отличающихся своею необыкновенною, почти дѣтскою непосредственностью. Моцартъ, Донъ-Жуанъ, Альбертъ, Дмитрій Самозванецъ — всѣ они живутъ настоящею минутою и, какъ дѣти, придаютъ значеніе тому, что въ глазахъ другихъ, менѣе увлекающихся людей, призрачно и ничтожно. Самозванецъ, напр., послѣ пораженія подъ Сѣвскомъ сожалѣетъ не столько о проигранномъ сраженіи, сколько о потерѣ любимаго коня и навлекаетъ на себя справедливое замѣчаніе:

„Ну, вотъ о чемъ жалѣетъ,
Объ лошади, когда все наше войско
Побито въ прахъ!“

и далѣе: «Безпеченъ онъ, какъ глупое дитя». Геніальный музыкантъ Моцартъ простодушно забавляется у Пушкина игрою жалкаго скрипача и этимъ вызываетъ упрекъ со стороны Сальери: «Ты, Моцартъ, недостоинъ самъ себя». Здѣсь мы находимъ параллели къ Пушкинскому поэту, который по временамъ «межъ дѣтей ничтожныхъ міра, быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй»...

Тотъ же Моцартъ испытываетъ суевѣрный страхъ передъ приведеніемъ, что холодному уму Сальери кажется ребячествомъ... Замѣчательно, что Пушкинъ почти въ каждомъ драматическомъ произведеніи противополагаетъ непосредственной натурѣ — натуру разсу-

дочную, тяжелую и мрачную [1]). Не трудно убѣдиться, что всѣ симпатіи поэта на сторонѣ натуръ перваго рода; недаромъ же имъ у него такъ везетъ въ жизни. Натуры второго рода обладаютъ черствою или даже преступною душою—и всѣ онѣ глубоко несчастны. Бѣда Сальери въ томъ, что онъ хочетъ путемъ разсудка и тяжелыми усиліями воли достигнуть того, что дается только непосредственности. Скупой рыцарь жертвуетъ благами жизни для одного только сознанія своего мнимаго могущества; царю Борису отравляетъ существованіе нечистая совѣсть; наконецъ, въ «Каменномъ гостѣ» Донъ-Карлосъ, въ противоположность Донъ-Жуану, проповѣдуетъ Лаурѣ о тщетѣ всего земного. По замѣчанію Бѣлинскаго, въ старости изъ Донъ-Карлоса вышелъ бы отличный инквизиторъ. Для этихъ натуръ самая жизнь является несчастьемъ. Для натуръ же перваго рода жизнь—беззаботное наслажденіе, но зато и оканчивается она внезапной и неожиданной катастрофой. Смерть настигаетъ ихъ врасплохъ среди наслажденій, какъ Каменный гость — Донъ-Жуана. Самъ Пушкинъ далеко не былъ такою непосредственною натурою, какъ любимые имъ герои. Въ его письмахъ насъ прежде всего поражаетъ умѣніе владѣть собою. Какъ бы ни было тяжело у него на сердцѣ, тонъ его писемъ, въ противоположность Грибоѣдову, почти всегда шутливый. Необыкновенная деликатность по отношенію къ своимъ знакомымъ и литературнымъ собратьямъ у него всегда на первомъ планѣ; онъ скорѣе согласится погрѣшить противъ своего внутренняго убѣжденія, давая черезчуръ снисходительный отзывъ, чѣмъ позволить себѣ рѣзкою правдою безполезно огорчить или обидѣть человѣка; онъ бралъ человѣка всего, какъ онъ есть, со всѣми его достоинствами и недостатками; — Грибоѣдову же, чтобы любить человѣка, надо было закрыть глаза на его недостатки. Пушкину менѣе, чѣмъ Грибоѣдову, приходилось обманываться въ друзьяхъ, потому что онъ самъ менѣе ихъ идеализировалъ. Въ драматическихъ произведеніяхъ Пушкина, написанныхъ подъ вліяніемъ Шекспира, замѣчается вѣра въ конечное торжество справедливости, что особенно отразилось на «Борисѣ Годуновѣ» («Какъ жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста!»). «Грузинская ночь» Грибоѣдова написана тоже подъ вліяніемъ Шекспира и въ основаніе ея положена тоже нравственная идея. Такимъ

---

[1]) Ср. также Гринева съ Швабринымъ въ „Капитанской дочкѣ“.

образомъ творчества нашихъ поэтовъ, столь различныя по своему направленію, въ концѣ концовъ сошлись. Въ это же время сошлись между собою и сами поэты, взаимныя отношенія которыхъ до этихъ поръ никогда не были близки. Познакомились они впервые въ Петербургѣ въ 1817 году. Тогда они считались принадлежащими къ различнымъ литературнымъ лагерямъ, но видѣлись, вѣроятно, они не въ литературныхъ кружкахъ, а гдѣ-нибудь на вечеринкахъ кутящей молодежи, напр., у гусара Каверина, съ которымъ оба были одинаково близки. Впослѣдствіи, задумывая романъ «Русскій Пеламъ», Пушкинъ хотѣлъ изобразить тамъ и Грибоѣдова, какъ одного изъ представителей свѣтской молодежи второго десятилѣтія нашего вѣка. Въ 1818 году, съ отъѣздомъ Грибоѣдова изъ Петербурга, незадолго передъ тѣмъ начатое знакомство невольно прекратилось. Въ письмѣ Пушкина къ Вяземскому въ 1823 году, когда появились первые слухи о новой замѣчательной комедіи, звучитъ отголосокъ недоброжелательства къ Грибоѣдову. Зато, когда въ началѣ января 1825 года Пушкинъ благодаря Пущину познакомился съ «Горемъ отъ ума», онъ пришелъ въ восхищеніе отъ языка и нѣкоторыхъ сценъ комедіи. И тѣмъ не менѣе въ одномъ изъ писемъ, написанныхъ мѣсяца черезъ два, Пушкинъ не можетъ еще забыть, что Грибоѣдовъ былъ въ дурныхъ отношеніяхъ съ нѣкоторыми изъ его друзей [1]). Только въ 1828 году, когда два величайшихъ того времени русскихъ писателя встрѣтились вновь послѣ десятилѣтняго промежутка, они сблизились и полюбили другъ друга. Уѣзжая въ послѣдній разъ въ Персію, Грибоѣдовъ уже повѣряетъ Пушкину свои мрачныя предчувствія.

Мнѣніе Пушкина о комедіи Грибоѣдова сохранилось въ письмѣ къ Бестужеву. «Между мастерскими чертами этой прелестной комедіи,—говоритъ онъ тамъ,—недовѣрчивость Чацкаго въ любви Софьи къ Молчалину прелестна—и какъ натуральна! Вотъ на чемъ должна была вертѣться вся комедія; но Грибоѣдовъ, видно, не захотѣлъ — его воля». Здѣсь сказывается различіе въ пріемахъ у нашихъ писателей: Пушкинъ на первое мѣсто ставитъ занимательность сюжета и цѣльность впечатлѣнія. Грибоѣдовъ же, увлекаясь этическою стороною своего произведенія, пренебрегаетъ художественными требо-

[1]) Письмо 15 марта 25 года.

ваніями. Къ сожалѣнію, мы не можемъ въ точности опредѣлить, какого мнѣнія былъ Грибоѣдовъ о Пушкинѣ. Изъ писемъ его мы узнаемъ только, что онъ крайне интересовался «Борисомъ Годуновымъ» и не разъ просилъ своихъ друзей прислать ему эту драму. Такой интересъ былъ вполнѣ естественъ у Грибоѣдова; особенно—при его любви къ русской старинѣ. Сохранились и два характерныхъ его замѣчанія о «Борисѣ Годуновѣ». «Въ первой сценѣ «Бориса» (т. е. въ сценѣ «Келья въ Чудовомъ монастырѣ», напечатанной раньше другихъ)—«мнѣ нравится, — пишетъ онъ, — Пименъ-старецъ, а юноша Григорій говоритъ, какъ самъ авторъ, вовсе не языкомъ тѣхъ временъ». Другое замѣчаніе сохранилось въ письмѣ Пушкина къ Н. Н. Раевскому 30 янв. 1829 года: «Грибоѣдовъ критиковалъ личность Іова—патріархъ, конечно, былъ человѣкъ весьма умный, а я по разсѣянности сдѣлалъ его простякомъ».

Вліянія Пушкина на Грибоѣдова не замѣтно; вліяніе же Грибоѣдова на Пушкина отразилось въ VII главѣ «Евгенія Онѣгина». И у Пушкина, и у Грибоѣдова мы встрѣчаемъ относительно московской жизни нѣкоторыя одинаковыя указанія: отсутствіе въ ней рѣзкихъ перемѣнъ, силу родственныхъ отношеній, обиліе невѣстъ, и т. д. У Пушкина есть даже такія мѣста и отдѣльные стихи, которымъ можно найти прямое соотвѣтствіе у Грибоѣдова. Въ первомъ дѣйствіи «Горя отъ ума» Чацкій, удивляясь перемѣнѣ, происшедшей съ Софьей за время его отсутствія, и приводя ее этимъ въ смущеніе, оправдывается такъ:

„Помилуйте! не вамъ — чему же удивляться?
Что новаго покажетъ мнѣ Москва?“ и т. д.

затѣмъ онъ перебираетъ своихъ московскихъ знакомыхъ и разспрашиваетъ, всѣ ли они остались такими, какими были прежде

„Ну, что вашъ, батюшка? Все Англійскаго клоба
Старинный, вѣрный членъ до гроба?“ и т. д.

въ XLV строфѣ седьмой главы «Евгенія Онѣгина» мы встрѣчаемъ слѣдующее замѣчаніе о московскихъ родственникахъ Ларинныхъ:

„Но въ нихъ не видно перемѣны—
Все въ нихъ на старый образецъ!
У тетущки княжны Елены“ и т. д.

Между прочимъ про мужа какой-то Пелагеи Николаевны говорится,

что «онъ—все клуба членъ исправный». Въ XLII строфѣ одна изъ тетушекъ, собираясь показать Таню всей роднѣ, замѣчаетъ:

Жаль, разъѣзжать нѣтъ мочи мнѣ:
Едва-едва таскаю ноги"

невольно припоминаются изъ «Горя отъ ума» слова Графини-бабушки, сопровождающей всюду по баламъ свою внучку:

„Мнѣ, право, не подъ силу!
Когда нибудь я съ бала, да въ могилу".

Подобно тому какъ Хлестова припоминаетъ, что она когда-то дирала Чацкаго за уши, московскія родственницы Татьяны восклицаютъ:

Какъ Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
— А я такъ на руки брала!
— *А я такъ за уши драла!* (XLIV строфа).

Необходимо однако замѣтить, что если въ описаніяхъ московской жизни и есть значительное сходство у Пушкина съ Грибоѣдовымъ, то самый тонъ описанія у нихъ совершенно различный. У Пушкина преобладаетъ безобидный юморъ... Онъ описываетъ ту же пустоту, застой и мелочность общества, какъ и Грибоѣдовъ, но у него нѣтъ ѣдкой, негодующей насмѣшки. Со своею удивительною способностью отыскивать повсюду красоту Пушкинъ могъ съ любовью изобразить безхитростную жизнь семейства капитана Миронова, такъ какъ любилъ людей съ чистою совѣстью; онъ сумѣлъ найти красоту душевную и въ свѣтской дамѣ и въ крѣпостномъ рабѣ: въ Татьянѣ и въ Савельичѣ; Пушкинъ могъ, наконецъ, заинтересоваться психологіей сильной преступной страсти, напр. скупости, зависти и т. д.;— но мелкая порочность и пошлость не возбуждали въ немъ интереса. Онѣ почти совсѣмъ не подвергались его творческой обработкѣ, хотя и сильно возмущали въ жизни. Въ шестой главѣ «Евгенія Онѣгина» Пушкинъ упоминаетъ о мертвящемъ вліяніи суеты:

„Среди бездушныхъ гордецовъ
Среди блистательныхъ глупцовъ,
Среди лукавыхъ, малодушныхъ,
Шальныхъ, балованыхъ дѣтей,
Злодѣевъ и смѣшныхъ и скучныхъ,
Тупыхъ, привязчивыхъ судей,
Среди кокетокъ богомольныхъ,
Среди холопьевъ добровольныхъ" и т. д.

Какой богатый матерьялъ нашелъ бы здѣсь для себя Грибоѣдовъ! Онъ могъ бы остановиться поподробнѣе на каждомъ изъ указанныхъ типовъ и разработать ихъ; Пушкинъ же только наскоро ихъ перечисляетъ, какъ бы спѣша покончить съ непріятными ему лицами и перейти къ болѣе свѣтлымъ явленіямъ.

Легко можно не понять и даже осудить кое-за-что нашихъ поэтовъ, если не принять во вниманіе, что они были дѣтьми своего времени. Пушкинъ и Грибоѣдовъ принадлежали къ тому поколѣнію, которое поражаетъ насъ своею цѣльностью, непосредственностью, удалью, разгуломъ и молодечествомъ. Крайности и уродливыя проявленія этихъ свойствъ мы находимъ въ повѣстяхъ Бестужева—Марлинскаго, герои котораго съ «неистовыми» страстями, съ огненною кровью въ жилахъ» были въ значительной мѣрѣ отраженіемъ личности ихъ автора. Достаточная трезвость разума предохранила Пушкина и Грибоѣдова отъ крайностей романтизма, но силою и пылкостью чувства они въ значительной мѣрѣ обязаны господству въ первую треть девятнадцатаго вѣка этого направленія, которое оказала самое благодѣтельное вліяніе на развитіе русскаго искусства въ различныхъ его областяхъ, давши въ живописи Брюллова, въ музыкѣ—Глинку. Однимъ изъ наиболѣе типичныхъ романтиковъ въ литературѣ былъ Грибоѣдовъ. Глубокая неудовлетворенность окружающею жизнью приводила автора «Горя отъ ума» не къ вялому пессимизму, а къ негодованію. «Сонливый меланхоликъ» было въ его глазахъ едва ли не самымъ браннымъ и обиднымъ эпитетомъ. Осуждая людей не изъ-за личныхъ мелкихъ счетовъ, а съ точки зрѣнія того идеала, который сложился въ его душѣ, Грибоѣдовъ въ обыденныхъ отношеніяхъ проявлялъ много добродушія и производилъ обаятельное впечатлѣніе даже на тѣхъ, кого осуждалъ въ глаза. Вся жизнь Грибоѣдова была однимъ сплошнымъ горемъ отъ благородства сердца и отъ ума. Самая смерть его прекрасно характеризуетъ его личность. Не теряя присутствія духа, онъ вышелъ съ обнаженн й саблей къ разъяренной черни и мгновенно былъ изрубленъ до неузнаваемости толпою персіанъ, которыхъ онъ отъ души ненавидѣлъ. Будучи современниками и испытывая на себѣ во многихъ отношеніяхъ одинаковыя вліянія, Пушкинъ и Грибоѣдовъ являются по умственному складу и характеру творчества совершенно различными проявленіями человѣческаго духа, совершенно различными,

но одинаково важными и интересными. Комедія Грибоѣдова проникнута тѣмъ недовольствомъ современнымъ положеніемъ вещей, которое заставляетъ людей искать путей къ лучшему будущему; Пушкинъ же учитъ дорожить свѣтлыми мимолетными радостями жизни:

Все мгновенно, все пройдетъ...
Что пройдетъ, то будетъ мило,

и если настоящее наше пусто и мрачно, учитъ надѣяться на будущее и радоваться счастью подрастающихъ поколѣній. «Хандра хуже холеры» — писалъ онъ однажды Плетневу, — «одна убиваетъ тѣло, другая убиваетъ душу. Дельвигъ умеръ, Молчановъ умеръ; погоди, умретъ и Жуковскій, умремъ и мы. Но жизнь все еще богата; мы встрѣтимъ еще новыхъ знакомыхъ, новые созрѣютъ намъ друзья, дочь у тебя будетъ расти, выростетъ невѣстой. Мы будемъ старые хрычи, жены наши—старыя хрычевки; а дѣтки будутъ славные, молодые, веселые ребята; мальчики будутъ повѣсничать, а дѣвчонки сентиментальничать, а намъ то и любо».

Самая смерть у Пушкина ничтожна и безсильна передъ торжествомъ міровой жизни:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

Ив. Розановъ.

Вліяніе народной поэзіи на Пушкина и Мицкевича.

„Изъ-за Данте и Гомера спорили города о мѣстѣ ихъ рожденія. Изъ-за Коперника спорятъ два народа. Жалкія распри! Солнце мысли, солнце чувства свѣтитъ всѣмъ, всѣхъ согрѣваетъ".

Андрей Нѣмоевскій.

I.

Имена Пушкина и Мицкевича тѣсно связаны другъ съ другомъ, какъ имена создателей новаго направленія въ родственныхъ литературахъ: русской и польской.

Новое направленіе характеризуется народностью и самобытностью. Эти два неразрывныхъ опредѣленія предполагаютъ такого рода литературное состояніе, когда на смѣну рабской подражательности иноземному пробуждается интересъ къ національнымъ задачамъ, когда взглядъ на поэзію, какъ на пріятное занятіе въ часы досуга, уступаетъ мѣсто желанію воспѣвать «въ жестокій вѣкъ свободу и милость къ падшимъ призывать». Тогда содержаніе художественныхъ произведеній отражаетъ общественную жизнь съ ея запросами, а внѣшняя форма ихъ — живая рѣчь даннаго общества. Въ началѣ XIX вѣка, подъ вліяніемъ западныхъ идей, однимъ изъ наиболѣе прогрессивныхъ запросовъ, волновавшихъ Россію и Польшу, дѣлается освобожденіе крестьянъ и связанная съ нимъ потребность демократизаціи общественнаго строя. На этой почвѣ возникаетъ въ литературѣ необходимость широкаго знакомства съ народнымъ бытомъ.

Такимъ образомъ тѣмъ мірскимъ пѣснямъ, которыя находились

въ полномъ пренебреженіи и у русскихъ и у поляковъ, суждено было играть великую роль въ обновленіи литературы.

Народная поэзія становится предметомъ глубокаго общеславянскаго интереса, во многомъ предшествующаго романтическому направленію. Уже къ концу XVIII в. пробуждается этотъ интересъ.

Такъ Тредьяковскій, заимствуя французскій стиль, взялъ правила для стихотворенія «изъ самыхъ внутренностей свойства нашему стиху приличнаго», именно изъ поэзіи простого народа. «Державинъ [1]), отложивъ на время громы придворнаго стихотворства, поэтизируетъ народную дѣвичью пляску. Созрѣла потребность изображенія русской жизни; въ пьесахъ Фонвизина, имп. Екатерины, Аблесимова, Веревкина и др. появились вѣрныя черты, между прочимъ, людей изъ народа; Василій Майковъ въ шутливой, отчасти распущенной поэмѣ взялъ простонароднаго героя; Радищевъ воспѣвалъ «Бову», Карамзинъ «Илью Муромца». Въ концѣ XVIII в. въ Россіи выходятъ пѣсенники Чулкова и Новикова, сборники народныхъ пѣсенъ Прача, Попова, а въ первой четверти нашего вѣка Калаталина и Кирши Данилова.

Въ польской литературѣ мы встрѣчаемся съ аналогичнымъ явленіемъ: появленію романтизма и здѣсь предшествуетъ интересъ къ народности. Въ періодъ четырехлѣтняго сейма выдѣляется ксендзъ Станиславъ Сташичъ, истинный демократъ, лозунгъ котораго былъ: «сперва народъ — потомъ свобода». Гуго Колонтай, стремившійся къ демократизаціи государственнаго правленія, одинъ изъ выдающихся дѣятелей конституціи 3-го мая 1791 года, предложилъ проектъ записыванія народныхъ преданій и обычаевъ. Это письмо, въ которомъ Колонтай обратился съ своимъ проектомъ къ Краковскому книгопродавцу Яну Маю, написанное имъ въ тюрьмѣ, было сообщено Тадеушемъ Чацкимъ «Обществу любителей наукъ». Вслѣдъ за этимъ сообщеніемъ явилась статья въ «Варшавскихъ запискахъ» («Pamiętnik Warszawski») 1805 г., подъ заглавіемъ: «Сватовство, свадьбы, дни рожденія и крестьбины у русскаго народа въ Червонной Руси». Далѣе въ 1810 г. Янъ Павелъ Вороничъ печатаетъ свою «Бесѣду о народныхъ пѣсняхъ», въ слѣдующемъ году Игнатій Червинскій издаетъ во Львовѣ «Описаніе обычаевъ русскаго

[1]) А. Н. Пыпинъ. Ист. русск. лит. т. IV, стр. 106.

народа заднѣстрской области между Стрыемъ и Ломницой». Списокъ русскихъ и польскихъ сборниковъ народныхъ пѣсенъ краснорѣчиво доказываетъ, что изученіе послѣднихъ стало существенной потребностью. Этимъ изученіемъ подготовлялась почва для дальнѣйшаго литературнаго движенія съ Пушкинымъ и Мицкевичемъ во главѣ.

Мнѣ кажется, не будетъ ошибкой повторить слова извѣстнаго польскаго этнографа начала нашего вѣка Зорьяна Ходоковскаго для характеристики отмѣченной подготовительной работы. «Уже прогоркли» [1]), говоритъ онъ, «сладкіе чужеземные плоды, употребляемые безъ мѣры: чувствуется уже потребность въ простыхъ туземныхъ плодахъ; соберемъ ихъ старательно, а время, создающее все, дастъ намъ, быть можетъ, новаго Бояна, который, пользуясь современнымъ отшлифованнымъ языкомъ, будетъ описывать картины былого и станетъ творцомъ народной оригинальной литературы». Историческія условія благопріятствовали увлеченію народной поэзіей, постепенно охватывавшему русскихъ и поляковъ. Реакція Екатерининской эпохи сдѣлала недоступнымъ прогрессивное движеніе литературы по тому пути, который былъ указанъ Западомъ. Императрица Екатерина II круто перемѣнила послѣ французской революціи свои симпатіи къ выдающимся идеямъ вѣка просвѣщенія, и русской литературѣ было не подъ силу стать выразительницей этихъ откинутыхъ съ высоты престола идей. Такъ какъ нельзя было свободно отдаться влеченіямъ къ Западу, лучшимъ людямъ того времени приходилось искать у себя на родинѣ источниковъ для плодотворной литературной работы.

Отсюда возбуждается интересъ къ изученію древности, ощущается необходимость опредѣленія національныхъ задатковъ. Новиковъ и Радищевъ краснорѣчиво указываютъ, что общественная самодѣятельность — лучшее средство для исправленія современныхъ недуговъ. Необыкновенно сильное стремленіе ихъ разобраться въ національной жизни, расширить русское просвѣщеніе имѣло основой протестъ, вызванный реакціей. Въ этомъ смыслѣ реакція заключаетъ въ себѣ положительныя качества: она удерживаетъ отъ подражательности, возбуждая мало-по-малу активную общественную самодѣятельность. Новиковъ въ предисловіи къ своей «Вивліоѳикѣ» подчеркиваетъ неразумность крайнихъ увлеченій Западомъ; онъ не можетъ прими-

[1]) P. Chmielowski. Adam Mickiewicz. Zarys literacko—biograficzny. T. I.

риться съ несправедливой, по его мнѣнію, мыслью, что «природа, устроившая всѣ вещи съ такою премудростью и надѣлившая всѣ области свойственными ихъ климатамъ дарованіями и обычаями, столько была несправедлива, что одной Россіи, не давъ свойственнаго народу ея характера, опредѣлила скитаться по всѣмъ областямъ и занимать клочками разныхъ народовъ разные обычаи, чтобы изъ сей смѣси составить новый, никакому народу несвойственный характеръ, а еще наипаче Россіянину» [1]). Сознаніе необходимости войти въ близкое сношеніе съ народомъ, съ его прошлымъ—естественный результатъ мыслей такого рода. Царствованіе Александра I лишь на очень короткое время облегчило тягостный режимъ конца предшествовавшаго вѣка. Общественная самодѣятельность шла, естественно, медленными шагами на Руси, но необходимость ея ощущалась тѣмъ сильнѣе, чѣмъ стѣснительнѣе было положеніе.

Въ этомъ же духѣ пробуждается сознаніе въ Польшѣ, послѣ ея политическаго крушенія. Прежняя аристократическая замкнутость должна была неминуемо исчезнуть. Вмѣстѣ съ обѣднѣніемъ знатнаго шляхетства нарождается новое поколѣніе литературныхъ рабстниковъ, вышедшее изъ среды незнатныхъ фамилій, интересы которыхъ близко сталкивались съ интересами простого народа. Замолкли на время политическія смуты, патріотическія стремленія уступаютъ мѣсто научнымъ, и потому въ литературѣ увлеченіе подражательностью западнымъ образцамъ смѣняется критикой послѣднихъ. Вмѣстѣ съ приглашеніемъ Яна Снядецкаго «употребить плоды просвѣщенія на то, чтобы сдѣлать сносной жестоко удручающую поляковъ судьбу», раздаются голоса, требующіе народности въ литературныхъ произведеніяхъ. Въ то время, какъ въ другихъ странахъ Европы вступаетъ на путь уѣиленнаго культурнаго развитія третье сословіе, въ Россіи и Польшѣ обѣднѣвшее дворянство стремится къ знанію и сильно вліяетъ на жизнь умственную, художественную и экономическую. Событія начала XIX в. расчищаютъ путь для того движенія, которое было вызвано въ Германіи трудами Гердера. Въ связи съ этимъ движеніемъ возникаетъ романтизмъ, прославленный поэзіей Шиллера и Гёте. Источникомъ для новаго направленія служитъ народная поэзія, откуда писатели черпаютъ матеріалъ для содержанія и формы

[1]) А. Н. Пыпинъ. Исторія русской литературы. Т. IV СПБ. 1899 г.

новыхъ произведеній. Западное вліяніе благодаря событіямъ Двѣнадцатаго года, Священнаго союза и конгрессовъ быстро сказывается въ русской и польской литературахъ. Такъ приходитъ на смѣну ложноклассицизму новое направленіе, какъ протестъ противъ салонной эстетики во имя идей гуманности и свободы.

Русская литература обязана своимъ знакомствомъ съ романтизмомъ главнымъ образомъ Жуковскому. Весьма интересенъ тотъ фактъ, что сочиненія его оказали сильное вліяніе на кружокъ польской молодежи, среди котораго находился Мицкевичъ. Въ этомъ фактѣ отражается вліяніе русской литературы на польскую. Вотъ какъ разсказываетъ о немъ лучшій біографъ и критикъ Мицкевича Петръ Хмѣлевскій. «Въ 1819 году, во время собранія студентовъ Виленскаго университета», говоритъ г. Хмѣлевскій, «среди которыхъ находился Мицкевичъ, вбѣжалъ въ комнату товарищъ собравшихся Чернявскій, сынъ профессора русской исторіи литературы. У этого веселаго и всѣми любимаго товарища горѣли глаза: онъ находился подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только что прочитанной баллады Жуковскаго «Людмилы», передѣланной изъ Бюргеровой «Леноры». По желанію товарищей онъ съ чувствомъ продекламировалъ ее, и всѣ раздѣлили съ нимъ его восторгъ. На слѣдующій же день ближайшій другъ Мицкевича Ѳома Занъ написалъ балладу «Нерина», представлявшую изъ себя передѣлку баллады Жуковскаго [1]). Нѣсколько дней спустя онъ написалъ новую балладу «Свитезь».

Если мы примемъ во вниманіе польскую вражду къ нѣмцамъ, исторически выработанную, которая служила не малымъ препятствіемъ для заимствованія новаго направленія, то для насъ станетъ ясной возможность вліянія русской литературы на представителя романтическаго направленія въ Польшѣ Мицкевича.

Забѣгая нѣсколько впередъ, обратимъ вниманіе на слова Пушкина въ его предисловіи къ «Пѣснямъ западныхъ славянъ»: «Поэтъ Мицкевичъ, критикъ зоркій и тонкій и знатокъ въ славянской поэзіи, не усомнился въ подлинности сихъ пѣсенъ». Такая вполнѣ

---

[1]) Вмѣстѣ съ тѣмъ, но (наперекоръ польскимъ историкамъ литературы) лишь косвеннымъ образомъ, и ея нѣмецкаго подлинника. См. Р. Брандтъ. Ленора, Людмила и Нерина. Замѣтка по польской литературѣ. Варшава 1896, стр. 10 = Р. Ф. В., т. XXXV, стр. 180.

справедливая характеристика Мицкевича, какъ знатока народной поэзіи, можетъ быть сопоставлена со слѣдующими стихами изъ отрывка Пушкина «Мицкевичъ» (изъ черновой рукописи поэта):

„Дѣлились мы и чашей, и мечтами,
И пѣснями (онъ былъ изъ вдохновенныхъ
И глубоко взиралъ на жизнь)."

Это признаніе Пушкина наводитъ насъ на мысль о возможномъ вліяніи Мицкевича, оказанномъ имъ на своего друга въ области народной славянской поэзіи. Такимъ образомъ раскрывается смыслъ настоящей работы. Во-первыхъ, параллельное разсмотрѣніе вліянія народной поэзіи на Пушкина и Мицкевича способствуетъ уясненію тѣхъ узъ, которыя связывали поэтовъ-ровесниковъ. Во-вторыхъ, оно выясняетъ значеніе народной поэзіи, какъ основы для художественнаго самобытнаго творчества. Совмѣстное изученіе творцовъ національныхъ русской и польской литературъ дѣлаетъ это значеніе болѣе очевиднымъ. Для опредѣленія послѣдняго весьма важную роль долженъ играть, на мой взглядъ, психологическій анализъ воспринятія народныхъ образовъ и языка. Вѣдь дѣло въ томъ, что окружающая геніальныхъ поэтовъ атмосфера была такъ или иначе насыщена народнымъ духомъ, и чуткія воспріимчивыя натуры поэтовъ претворяли въ свою плоть и кровь этотъ духъ не сразу, а постепенно. Особенно сильна эта воспріимчивость у Пушкина: ей не могли послужить препятствіемъ ни ближайшая аристократическая офранцуженная среда, ни воспитаніе въ такомъ же направленіи. Исходя изъ біографическихъ данныхъ и слѣдя шагъ за шагомъ за этимъ воспріятіемъ, мнѣ кажется, можно было бы указать на основной характеръ воздѣйствія народности.

Какъ на примѣръ такого анализа, правда по другому вопросу, я укажу на статью проф. Овсяннико-Куликовскаго [1]) «Пушкинъ какъ художественный геній», гдѣ характеръ геніальности поэта опредѣляется художественной экономіей мысли, ея индуктивностью. Второе мѣсто для отвѣта на интересующій насъ вопросъ занимаетъ спеціально литературное изслѣдованіе, которое я подраздѣляю на двѣ части. Первая — это разсмотрѣніе непосредственнаго вліянія народ-

[1]) Журналъ „Жизнь". Май 1899 г. А. С. Пушкинъ—какъ художественный геній. Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

ной поэзіи, т. е. такого, гдѣ оно выражается въ заимствованіи народныхъ сюжетовъ. Вторая же часть заключается въ томъ, чтобы прослѣдить на всѣхъ произведеніяхъ даннаго автора это вліяніе со стороны языка и выраженій. Спеціально литературное изслѣдованіе должно быть сравнительнымъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ мы будемъ лишены необходимаго критерія для нашихъ выводовъ. Лучшимъ отрицательнымъ доказательствомъ этому могутъ служить этюды Н. Сумцова о Пушкинѣ. Разбирая, напримѣръ, балладу «Женихъ», онъ добросовѣстно указываетъ рядъ ходячихъ народныхъ сказаній на данную тему «отъ Уральскихъ до Пиринейскихъ горъ» [1]), но что можно вывести изъ приведенныхъ параллелей—на это нѣтъ отвѣта. Сказать, что данный сюжетъ заимствованъ, перечислить десятки его варіантовъ—слишкомъ мало, чтобы мы составили себѣ хоть какое-нибудь представленіе о характерѣ вліянія. Я считаю изслѣдованіе вліянія народной поэзіи на Пушкина и Мицкевича весьма сложнымъ: оно должно объединять собой указанныя точки зрѣнія въ связи съ исторіей эпохи и западнымъ вліяніемъ. Моя задача гораздо скромнѣе. Она состоитъ въ томъ, чтобы разсмотрѣть параллельно непосредственное вліяніе народной поэзіи на Пушкина и Мицкевича и сдѣлать возможные выводы о характерѣ этого вліянія. Безъ послѣднихъ утрачивается смыслъ словъ «народный», «національный», которыми характеризуется поэзія двухъ безсмертныхъ юношей, «стоявшихъ подъ однимъ плащемъ». Мы далеки отъ мысли разрѣшить намѣченный вопросъ, новый въ критической литературѣ, съ достаточной полнотой—мы можемъ представить только попытку разобраться въ одномъ изъ наиболѣе интересныхъ вопросовъ, связанныхъ съ изученіемъ поэтовъ-ровесниковъ.

II.

Каковы были условія, имѣвшія отношеніе къ воспринятію поэтами народной поэзіи? Они сложились гораздо благопріятнѣе для Мицкевича, чѣмъ для Пушкина.

Въ то время какъ Мицкевичъ, происходя изъ мелкой такъ называемой застѣнковой шляхты, воспитывался въ маленькомъ литов-

---

[1]) Н. Сумцовъ. Этюды объ А. С. Пушкинѣ. Вып. V-й. Оттискъ изъ „Р. филолог. Вѣст.“ Варшава 1897 г. стр. 14.

скомъ городѣ Новогрудкѣ и приходилъ въ постоянное соприкосновеніе съ простымъ народомъ, Пушкинъ, потомокъ родовитой дворянской семьи, росъ въ строго аристократической обстановкѣ, гдѣ французская рѣчь была господствующей и гдѣ молодые Пушкины слышали русскую рѣчь только отъ прислуги и отъ старухи бабушки Марьи Алексѣевны Ганнибалъ. Далѣе, если мы сопоставимъ Царскосельскій аристократическій лицей, гдѣ обучался Пушкинъ, съ доминиканской Новогродской школой и Виленскимъ университетомъ въ пору его высшаго процвѣтанія, гдѣ получилъ свое образованіе Мицкевичъ, то указанная разница въ условіяхъ окажется огромной. Обстановка, окружавшая Пушкина и въ домѣ и въ школѣ, благопріятствовала развитію въ немъ литературнаго интереса, но дала ему очень мало для изученія народности. Домашняя обстановка Мицкевича, если не считать чисто географическихъ условій, красоты мѣстности Новогрудка, не развила въ немъ литературныхъ интересовъ [1]), но запечатлѣла въ душѣ мальчика богатый запасъ народнаго творчества. Интересно сопоставить то значеніе, которое имѣла няня Пушкина Арина Родіоновна, съ тѣмъ вліяніемъ, которое оказалъ на Мицкевича его старый слуга Блажей. Старушка няня безхитростно разсказывала мальчику свои чудныя сказки, въ то время какъ старикъ Блажей старался комментировать свои фантастическіе разсказы не менѣе фантастическими вымыслами собственнаго сочиненія. Несомнѣннымъ является то, что уровень образованія Мицкевича былъ выше, чѣмъ у Пушкина. Русскій поэтъ вынесъ изъ школы далеко неудовлетворительное знакомство съ родной литературой и языкомъ. «Можно положительно сказать», говоритъ проф. В. Ѳ. Миллеръ, «что для изученія русскаго языка и народности благопріятнымъ событіемъ въ жизни Пушкина были его высылка изъ Петербурга, путешествіе на югъ, жизнь въ Кишиневѣ и затѣмъ пребываніе въ деревенской глуши въ Михайловскомъ». Дѣйствительно, это событіе восполняетъ пробѣлъ въ національномъ образованіи поэта, и если уже раньше въ его душѣ была несомнѣнная любовь къ родному языку, то теперь, имѣя непосредственное сношеніе съ простымъ народомъ, слушая пѣсни и сказки Арины Родіо-

[1]) О вліяніи въ такомъ смыслѣ его отца, славившагося въ своемъ кругу шуточными стихотвореніями, нѣтъ никакихъ извѣстій.

новны во время своего двухлѣтняго пребыванія въ деревнѣ, Пушкинъ съ его необыкновенной воспріимчивостью не могъ не поддаться вліянію народной поэзіи. Увлеченіе Байрономъ содѣйствовало ему до нѣкоторой степени внести этнографическій элементъ въ свои поэмы.

Обратимъ наше вниманіе на слѣдующій фактъ. Какъ ни были благопріятны условія для вліянія народности на Мицкевича, онъ далеко не сразу вноситъ въ свои произведенія народный элементъ и долгое время находится подъ вліяніемъ ложноклассицизма. Первое его произведеніе, какъ и произведеніе Пушкина, не многимъ отличается отъ господствовавшаго направленія. Польская литература переживала въ этотъ моментъ сильную борьбу стараго съ новымъ: романтизмъ служилъ предметомъ долгихъ споровъ Бродзинскаго, Снядецкаго и др. Нуженъ былъ сильный толчокъ для того, чтобы вывести Мицкевича на новый путь. Этимъ толчкомъ и было его ознакомленіе съ нѣмецкой литературой, отчасти при посредствѣ съ русской, какъ это я указалъ въ своемъ предисловіи. Не видимъ ли мы такой же процессъ въ творчествѣ Пушкина? Вѣдь невозможно отрицать въ немъ зародившагося уже до ссылки двадцатаго года интереса къ народности, проявленнаго въ лицейскихъ опытахъ, въ «Бовѣ» и въ поэмѣ «Русланъ и Людмила». Ссылка поэта и вліяніе Байрона являются здѣсь толчками, направившими его въ сторону народности. Почти одновременно оба представителя родственныхъ литературъ вступаютъ на этотъ путь, несмотря на различіе домашней обстановки и воспитанія. Чѣмъ же объяснить это явленіе? Разгадку его мы находимъ въ томъ, что оба поэта—не ученые этнографы, изучающіе народную поэзію съ сознательными цѣлями, а художники, воспринимающіе безсознательно впечатлѣнія отъ окружающей ихъ дѣйствительности.

Поэтому рѣшающее значеніе ссылки Пушкина должно быть въ значительной степени ограничено. Усвоенное безсознательной сферой мысли художникъ выражаетъ на бумагѣ вслѣдствіе того или иного толчка извнѣ. Опростѣніе Пушкина во время его ссылки было прямымъ результатомъ предшествующаго періода, когда онъ, среди самыхъ разнообразныхъ тормозовъ для народности, почувствовалъ любовь къ народной поэзіи. Итакъ, центръ тяжести переносится, мнѣ кажется, на тѣ мотивы самаго первоначальнаго воспріятія, которые

руководили психологіей поэтовъ. Этими мотивами руководитъ въ свою очередь историческая эпоха. Въ Россіи просвѣщенный абсолютизмъ вызываетъ въ обществѣ раздвоеніе между западными идеями, получившими еще болѣе широкій доступъ, чѣмъ въ лучшіе годы Екатерины, породившіе Новикова и Радищева, и дѣйствительною жизнію. Въ Польшѣ переживается періодъ политическаго крушенія, когда еще свѣжа рана, нанесенная потерею самостоятельности, и сознана роковая ошибка шляхетскихъ вольностей при полномъ индиферентизмѣ къ народу. Въ то время какъ въ Россіи мечта увидѣть «народъ освобожденный» опередила ея осуществленіе на нѣсколько десятилѣтій, въ Польшѣ стремленіе къ освобожденію отчизны и демократизаціи общественнаго строя имѣетъ гораздо болѣе опредѣленный характеръ.

Мы должны принять во вниманіе при выполненіи нашей задачи политико-общественные взгляды поэтовъ, сложившіеся подъ вліяніемъ характера эпохи. Въ этихъ взглядахъ много общаго. И Пушкинъ и Мицкевичъ считали освобожденіе крестьянъ дѣломъ первой необходимости. Если критики Пушкина обвиняютъ его въ измѣнѣ юношескимъ взглядамъ, высказаннымъ въ стихотвореніи «Деревня», ссылаясь на его статью «Мысли на дорогѣ», то эти обвиненія являются результатомъ недостаточно внимательнаго и зачастую пристрастнаго разбора упомянутой статьи. Вик. Евг. Якушкинъ блестяще доказалъ въ своей статьѣ «Радищевъ и Пушкинъ», что русскій поэтъ не измѣнялъ своихъ убѣжденій, что читающая публика обязана ему знакомствомъ съ произведеніями Радищева, знакомствомъ, которое было бы немыслимо безъ того «эзоповскаго» языка, которымъ воспользовался Пушкинъ.

Мы не будемъ подробно входить въ разсмотрѣніе этого вопроса, который разобранъ нами въ другомъ мѣстѣ, укажемъ только на тотъ краснорѣчивый фактъ, что русскій поэтъ въ своемъ «Памятникѣ», написанномъ въ 1836 г. за пять мѣсяцевъ до смерти, говоритъ:

„И долго буду я народу тѣмъ любезенъ,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что вслѣдъ Радищеву возславилъ я свободу“...

Нападки критиковъ должны невольно разбиваться объ этотъ послѣдній стихъ, который мы находимъ въ первоначальномъ варіантѣ

«Памятника». Выслушаемъ мнѣніе Мицкевича о его другѣ, съ которымъ онъ дѣлился «пѣснями и мечтами». Въ своемъ некрологѣ на смерть Пушкина Мицкевичъ говоритъ, что русскій поэтъ остался вѣренъ началамъ русскаго либерализма, побѣжденнаго въ декабрѣ 1825 г., и обреченъ былъ на роль бойца оппозиціи, протестующаго въ предѣлахъ возможности противъ водворившагося послѣ катастрофы режима. Онъ признаетъ вполнѣ естественнымъ и незаслуживающимъ упрековъ примиреніе Пушкина съ правительствомъ, такъ какъ оно было не измѣной первоначальнымъ убѣжденіямъ, а только приспособленіемъ къ болѣе сносной жизни, которая давала бы ему возможность дѣйствовать словомъ. «Я зналъ», говоритъ Мицкевичъ, «русскаго поэта близко въ теченіе достаточно продолжительнаго времени, и видѣлъ въ немъ человѣка впечатлительнаго, иногда легкомысленнаго, но неизмѣнно искренняго, благороднаго, открытаго». Для насъ является весьма цѣнной эта характеристика. На ряду съ легкомысліемъ Пушкина въ ней отмѣчаются его неизмѣнные общественные взгляды, общіе со взглядами Мицкевича. Оба поэта отстаивали необходимость просвѣщенія народныхъ массъ. Мицкевичъ, какъ и Пушкинъ, желалъ освобожденія крестьянъ: его панъ Тадеушъ освобождаетъ своихъ крестьянъ, а въ его «Дѣдахъ» слышатся справедливые упреки самовластнымъ помѣщикамъ. Но если въ отношеніяхъ поэтовъ къ простому народу есть много общаго, то въ складѣ ихъ характеровъ есть различныя черты, которыя послужатъ намъ ключомъ къ опредѣленію вліянія народной поэзіи на ихъ произведенія. Не вдаваясь въ подробности, припомнимъ то, что говорятъ другъ о другѣ сами поэты. Пушкинъ говоритъ о Мицкевичѣ, что онъ былъ «изъ вдохновенныхъ и глубоко взиралъ на жизнь». Мицкевичъ характеризуетъ Пушкина какъ человѣка благороднаго, но иногда легкомысленнаго. Различіе въ характерахъ обоихъ поэтовъ состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что первый скользитъ поверхностно въ анализѣ окружающихъ явленій, въ то время какъ второй предается глубокой хотя и зачастую безплодной работѣ ума для разрѣшенія того или иного вопроса. Пушкинъ признавалъ роковую необходимость примѣниться къ окружающимъ теченіямъ, и этимъ признаніемъ онъ какъ бы заставилъ свой умъ прекратить поиски разрѣшенія вопросовъ, почему дѣйствительность такова, а не иная. Мицкевичъ же, хотя и признавалъ надъ собой

власть условій, стремился всей душой сбросить съ себя ихъ гнетъ и уѣхалъ за границу. Впечатлительность Мицкевича доходила до болѣзненности. Всѣмъ извѣстна его необыкновенная способность къ импровизаціямъ, его платоническая любовь къ Маріи Верещаковнѣ, его увлеченіе Наполеономъ и т. п. На первомъ планѣ у польскаго поэта находится неутомимая дѣятельность ума, и вмѣстѣ съ тѣмъ фантазіи, полетъ которой поражаетъ насъ своей смѣлостью. Въ послѣднемъ случаѣ Мицкевичъ представляетъ изъ себя патологическое явленіе, и ничѣмъ инымъ нельзя объяснить его мистицизмъ во вторую половину его жизни. Какъ у польскаго патріота, у Мицкевича была необыкновенно сильная привязанность къ отчизнѣ. Слово «отчизна» выражало собой одинъ изъ главныхъ завѣтовъ кружка филоматовъ, къ которому въ юности принадлежалъ Мицкевичъ. Съ полной увѣренностью можно утверждать, что политическія мечты Мицкевича служили во многомъ препятствіемъ для его художественнаго творчества, и хотя онъ умеръ гораздо позднѣе Пушкина, но какъ художникъ скончался почти одновременно со своимъ русскимъ другомъ. Таковы тѣ условія, съ которыми мы должны считаться при дальнѣйшемъ разрѣшеніи нашего вопроса.

III.

Какъ уже было указано выше, въ мой разборъ входятъ только тѣ произведенія, гдѣ сюжетъ заимствованъ изъ народной поэзіи, народныхъ повѣрій и сказаній. Выборъ произведеній такого рода долженъ быть ограниченъ согласно требованіямъ параллельнаго изученія. Въ первый періодъ своей дѣятельности Мицкевичъ пишетъ преимущественно баллады, въ которыхъ мы встрѣчаемъ цѣлый калейдоскопъ народнаго творчества. Изъ нихъ двѣ перевелъ Пушкинъ, а именно баллады «Засада» (Czaty—подъ заглавіемъ «Воевода») и «Три Будрыса» (Trzech Budrysów—«Будрысь и его сыновья»). Переводъ отличается точностью, несмотря на то, что не былъ сдѣланъ съ подлинника, такъ какъ Пушкинъ не зналъ польскаго языка [1]). Мы не будемъ останавливаться на этихъ балладахъ, отмѣ-

[1]) Нельзя не согласиться съ мнѣніемъ проф. Р. Ѳ. Брандта, который переводы Пушкина считаетъ далеко неудачными въ отдѣльныхъ мѣстахъ. Но нельзя въ тоже время винить Пушкина, такъ какъ онъ не зналъ польскаго языка. Лучшимъ изъ переводовъ является „Будрысъ и его сыновья".

тимъ только очевидный интересъ Пушкина къ творчеству своего друга: онъ познакомился съ балладой «Засада» во время пребыванія польскаго поэта въ Москвѣ (сама баллада написана въ 1820 г.), а перевелъ ее много лѣтъ спустя въ 1833 г. Къ числу произведеній Пушкина, гдѣ мы можемъ усмотрѣть непосредственное вліяніе народной поэзіи, относятся: баллады «Женихъ», «Утопленникъ», драматическія сцены «Русалка» и его сказки. Поэму «Русланъ и Людмила» мы исключаемъ изъ нашего разбора, такъ какъ она представляетъ изъ себя юношескую во многомъ неудачную попытку поддѣлаться подъ народный эпосъ. Сопоставимъ наиболѣе характерныя баллады Мицкевича: «Lilie», «Switez», «Switezianka», «Rybka» и «Ucieczka» съ указанными произведеніями Пушкина.

Предъ нами двѣ баллады поэтовъ—«Женихъ» (25 г.) и «Бѣгство» (Ucieczka, около 20 г.). Проф. А. И. Кирпичниковъ и г. Сумцовъ предполагаютъ, что источникомъ для баллады Пушкина послужилъ одинъ изъ разсказовъ Арины Родіоновны. Въ запискахъ Смирновой мы находимъ подтвержденіе этому мнѣнію. «Наташа», говоритъ Смирнова, «менѣе (другихъ сказокъ) нравится мнѣ, но и она народна, и это разсказала ему Арина». Что касается до названной баллады Мицкевича, мы находимъ въ примѣчаніяхъ самого автора слѣдующее указаніе: «эту балладу я написалъ по образцу пѣсни, которую слышалъ когда-то въ Литвѣ на польскомъ языкѣ». Приведенные г. Сумцовымъ варіанты (болѣе 20) указываютъ на точное сохраненіе въ «Женихѣ» того порядка, который существуетъ въ ходячихъ народныхъ преданіяхъ на эту тему. Въ балладѣ Пушкина нельзя не замѣтить сильнаго вліянія Жуковскаго: она написана 8-строчной строфой съ риѳмами, какъ писалъ послѣдній. Обратимся къ основному содержанію «Жениха». Въ купеческой семьѣ исчезла дочь Наташа; только на третью ночью прибѣжала она домой «безъ памяти». На всѣ разспросы родителей о томъ, гдѣ она пропадала, Наташа не даетъ отвѣта. Однажды, когда она сидѣла съ подругами у воротъ «промчалась предъ ними лихая тройка съ молодцомъ». Наташа страшно испугалась, увидѣвши промчавшуюся тройку.

„Стремглавъ домой она бѣжитъ:
Онъ! онъ! узнала!“ говоритъ,
„Онъ, точно онъ! держите,
Друзья мои, спасите!“

На слѣдующее утро является отъ молодца сваха и «разговоръ съ отцомъ ея заводитъ»:

„У васъ товаръ, у насъ купецъ;
Собою парень молодецъ,
И статный и проворный,
Не вздорный, не задорный".

Родители невѣсты, которымъ сваха расхвалила богатство жениха согласились; согласилась и дочь, но при этомъ выпросила, чтобы на свадебный пиръ были позваны судьи. На свадьбѣ Наташа разсказываетъ свой сонъ, какъ она попала въ лѣсу къ разбойникамъ, спряталась и увидѣла, что разбойники привели красавицу-дѣвицу, убили ее и отрубили палецъ съ кольцомъ. При этомъ разсказѣ Наташа смотритъ жениху въ лицо говоритъ: «А это съ чьей руки кольцо?» и показываетъ всѣмъ припрятанное кольцо.

„Смутились гости—судъ гласитъ:
Держи, вязать злодѣя!
Злодѣй окованъ, обличенъ,
И скоро смертію казненъ.
Прославилась Наташа!
И вся тутъ пѣсня наша".

Такимъ образомъ выясняется, гдѣ Наташа пропадала три дня. Нельзя не согласиться съ проф. В. Ѳ. Миллеромъ, который въ своей статьѣ «Пушкинъ, какъ поэтъ-этнографъ», говоритъ: «Въ «Женихѣ» ясно обнаруживаются собственно Пушкинскіе элементы—въ яркости языка, въ бойкой игрѣ словъ, въ обрисовкѣ свахи и сватовства, въ отраженіи патріархальныхъ семейныхъ началъ русской жизни и русской природы, въ характерныхъ остаткахъ русской бытовой старины». Укажемъ для примѣра на слова свахи:

„У васъ товаръ, у насъ купецъ".

Эти слова Пушкинъ повторяетъ въ сказкѣ «О мертвой царевнѣ и семи богатыряхъ», записанной со словъ жизни:

„Аль товаръ не по купцамъ?"

спрашиваетъ старшій богатырь, дѣлая предложеніе царевнѣ. Это несомнѣнно народное выраженіе цѣликомъ занесено въ балладу. Изъ ближайшаго сравненія «Жениха» съ великорусскими сказками г. Сумцовъ приходитъ къ убѣжденію, «что народность «Жениха» не

проистекала изъ простого подражанія». При этомъ г. Сумцовъ приводитъ въ доказательство двѣ великорусскихъ сказки, одну изъ сказокъ Аѳанасьева въ т. IV, другую изъ сборника Садовникова. Въ первой изъ нихъ нѣтъ сватовства, которое мы видимъ въ балладѣ Пушкина, во второй мы встрѣчаемъ мотивъ о томъ, что дѣвица перебила 12 разбойниковъ. Такимъ образомъ, что касается самой фабулы, то въ ней у Пушкина нѣтъ почти никакихъ измѣненій за исключеніемъ весьма художественнаго сватовства, вытекающаго изъ содержанія обѣихъ великорусскихъ сказокъ. Если же мы примемъ во вниманіе только второй варіантъ, то Пушкинъ, окажется, выпустилъ мотивъ объ убійствѣ дѣвицей разбойниковъ. По замѣчанію проф. Сумцова, съ которымъ, мнѣ кажется нельзя несогласиться, «по отношенію собственно къ «Жениху» наиболѣе интересны великорусскіе варіанты, такъ какъ Пушкинская повѣсть построена несомнѣнно на великорусскомъ варіантѣ, что видно уже изъ «типически народнаго ея языка». Мы видѣли, какъ незначительно измѣненіе въ «Женихѣ» великорусскихъ мотивовъ. Поэтому намъ кажутся совершенно не убѣдительными слова Сумцова, что мы имѣемъ «типичное художественное воспроизведеніе народности *не столько въ основной фабулѣ, не столько въ ходѣ разсказа*, сколько въ обрисовкѣ всей сцены дѣйствія и дѣйствующихъ лицъ, въ особенности въ языкѣ, гдѣ подобрано все яркое, выразительное, мѣткое и сильное». Въ обоихъ отношеніяхъ, на нашъ взглядъ, воспроизведеніе народнаго мотива является одинаково точнымъ и художественнымъ, и у насъ нѣтъ никакихъ основаній заключить, что Пушкинъ видоизмѣнилъ самую фабулу слышанной имъ сказки. Въ «Женихѣ» сохраненъ даже порядокъ разсказа великорусскихъ варіантовъ, какъ поступалъ поэтъ и съ другими сказками, записанными со словъ Арины Родіоновны.

Перейдемъ къ балладѣ Мицкевича «Бѣгство». Женихъ уѣхалъ на войну, о немъ нѣтъ никакихъ слуховъ. Тоскующую невѣсту выдаютъ замужъ. На помощь къ ней является старуха - чародѣйка, которая склонила дѣвушку воспользоваться силою чаръ для возвращенія жениха. Послѣдній не замедлилъ прійти и увозитъ съ собой невѣсту. Какъ вихрь несется конь и только иногда останавливается, какъ бы испугавшись какого-либо препятствія. Этимъ препятствіемъ оказываются молитвенникъ, который везетъ съ собой не-

вѣста, и другіе священные предметы. По настоянію жениха дѣвица бросаетъ одинъ за другимъ эти предметы, а въ концѣ-концовъ даже крестикъ, который носила на шеѣ. И вотъ парочка достигаетъ такимъ образомъ кладбища. Запѣли пѣтухи. Женихъ, оказавшійся мертвецомъ, скрылся въ могилу вмѣстѣ съ невѣстой. Баллада Мицкевича, какъ можно убѣдиться изъ ея содержанія, заключаетъ въ себѣ два мотива, общіе съ балладами Жуковскаго «Людмилой» и «Свѣтланой», а именно: 1) отчаяніе дѣвицы и 2) призваніе жениха чарами. Весьма вѣроятно, что «Бѣгство» Мицкевича навѣяно балладами Жуковскаго, съ которыми онъ познакомился черезъ посредство своего товарища Чернявскаго. Несомнѣнно вмѣстѣ съ тѣмъ, прямое или косвенное вліяніе на это произведеніе баллады Бюргера «Ленора». Но такъ какъ мы привели уже выше указаніе автора на то, что баллада заимствована непосредственно изъ устъ народа, то вліяніе могло сказаться главнымъ образомъ въ обработкѣ сюжета, весьма распространеннаго въ народныхъ разсказахъ. Отмѣтимъ точность передачи, пользуясь указаніями г. Здярскаго [1]). Въ польской пѣснѣ такого же содержанія мы встрѣчаемъ стихи (O. Kolberg Lied. I st. 177).

„Odjeżdzając rzekł,
Marjo kocham cię!
Rok za rokiem biegł
On nie wraca, nie".

(Уѣзжая онъ сказалъ: «Марья, я люблю тебя!» Годъ за годомъ проходилъ, онъ не возвращается, нѣтъ).

У Мицкевича баллада начинается такъ:

„On wojuje — rok upłynął
On nie wraca—może zginął"

(Онъ на войнѣ—годъ протекъ; онъ не возвращается—быть можетъ погибъ).

Далѣе во всѣхъ варіантахъ народной пѣсни ѣзда мертвеца съ невѣстой описывается слѣдующими стихами:

„Miesiąc świeci,
Martwiec leci,
Sukieneczka szach, szach,
Panieneczko, czy nie strach?"

[1]) St. Zdziarski. Pierwiastek ludowy w poezyi A. Mickiewicza. Lwów 1898.

(Мѣсяцъ свѣтитъ, мертвецъ летитъ; платье шахъ, шахъ; барышня, развѣ не страшно?)

У Мицкевича это мѣсто:

„Miesiąc świeci—jeździec leci
Po zaroślach i po krzach:
Panno, panno, czy nie strach?“

(Мѣсяцъ свѣтитъ — ѣздокъ летитъ по зарослямъ и по кустамъ. Барышня, барышня, развѣ не страшно?)

Отмѣченнаго достаточно, чтобы замѣтить близость передачи и въ формѣ стиха и въ содержаніи. Несмотря на возможное вліяніе Жуковскаго, «Бѣгство» есть точная и художественная передача народнаго сказанія. Папортникъ, царь-зелье, которымъ приписывается сила чаръ, таинственный счетъ: десять скалъ, девять рѣкъ, девять горъ — все это взято изъ суевѣрій народа. Если мы сравнимъ народные варіанты съ «Бѣгствомъ», то увидимъ, по словамъ Здярскаго, что окончаніе баллады нѣсколько видоизмѣнено: въ народныхъ варіантахъ дѣвица умираетъ не сразу, какъ у Мицкевича, а сперва убѣгаетъ отъ преслѣдующаго ее мертвеца. Разница эта слишкомъ незначительна, чтобы о ней говорить. Бѣглый разборъ баллады приводитъ насъ къ убѣжденію, что Мицкевичъ остался вѣрнымъ въ содержаніи и формѣ народному сказанію. То же самое мы говорили о балладѣ Пушкина «Женихъ». У обоихъ поэтовъ очевидно превосходное знакомство съ народными сюжетами; красота передачи одинаково художественна. Весьма незначительная разница можетъ быть отнесена къ окончанію балладъ: у Мицкевича оно нѣсколько иное, чѣмъ въ народныхъ варіантахъ, въ то время какъ у Пушкина выдержана точность до конца.

IV.

Но чѣмъ дальше мы будемъ подвигаться въ нашемъ разборѣ, тѣмъ разница окажется существеннѣе.

Кому не извѣстна чудная баллада Пушкина «Утопленникъ»? Основной идеей этого произведенія является угрызеніе совѣсти рыбака, который не предалъ землѣ тѣло утопленника. Сюжетомъ послужило народное преданіе о бродячемъ мертвецѣ, душа котораго

не можетъ успокоиться, пока не будетъ совершенъ обрядъ похоронъ. Сказанія подобнаго рода существуютъ у всѣхъ народовъ, а потому весьма трудно отыскать здѣсь спеціально русскій народный варіантъ. Народное суевѣріе вставлено поэтомъ въ художественныя реальные рамки. Боязнь мужика «ввѣкъ не разобраться съ судомъ», его обращеніе съ дѣтьми, «дымная хата»—все это соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Какими яркими красками обрисованъ утопленникъ, когда онъ стучится у окна.

„Изъ-за тучъ луна катится—
Что же? Голый передъ нимъ
Съ бороды вода струится,
Взоръ открытъ и недвижимъ;
Все въ немъ страшно онѣмѣло,
Опустились руки внизъ,
И въ распухнувшее тѣло
Раки черные впились".

Мы видимъ передъ собою бытовую картину, мастерски исполненную безъ лишняго штриха. Рыбакъ, изображенный поэтомъ,—характера мрачнаго ворчливаго: съ дѣтьми онъ грубъ, негостепріименъ, какъ видно изъ его обращенія къ неизвѣстному страннику, просящему крова.

„Кто тамъ?"—Эй впусти, хозяинъ!
„Ну какая тамъ бѣда?
Что ты ночью бродишь, Каинъ?
Чортъ занесъ тебя сюда,
Гдѣ возиться мнѣ съ тобою?
Дома тѣсно и темно.

Но несмотря на грубость, его нельзя назвать дурнымъ человѣкомъ. Гдѣ тутъ пріютить странника, когда «дома тѣсно и темно». Самый проступокъ рыбака, которому слѣдовало бы заявить полиціи объ утопленникѣ, можетъ быть вполнѣ извиненъ основательной боязнью предъ «судомъ» властей, которые не прочь затянуть по существу простое дѣло, какъ это нерѣдко случается въ деревнѣ. Достаточно указать хотя бы на разсказъ Слѣпцова «Мертвое тѣло», гдѣ крестьяне изъ боязни передъ властями, извѣщенными о найденомъ мертвецѣ, оказавшемся здоровымъ парнемъ въ нетрезвомъ состояніи, упрашиваютъ прохожаго молодца притвориться мертвымъ предъ начальствомъ, чтобы только избѣжать могущихъ произойти

непріятностей. Поэтъ останавливается предъ вопросомъ, кто былъ утопленникъ:

Горемыка ли несчастный
Погубилъ свой грѣшный духъ,
Рыболовъ ли взятъ волнами,
Али хмѣльный молодецъ,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый купецъ—

и далѣе говоритъ:

Мужику какое дѣло?

Индеферентное отношеніе рыбака къ мертвецу, къ которому русскій человѣкъ относится съ большимъ уваженіемъ, нѣсколько странно, тѣмъ болѣе, что общая характеристика рыбака на основаніи указанныхъ данныхъ не можетъ быть признана вполнѣ отрицательной. Чѣмъ объяснить въ такомъ случаѣ то обстоятельство, что

„Съ той поры мужикъ несчастный
Въ день урочный гостя ждетъ?..“

Если мужикъ относился безучастно къ жалкой судьбѣ несчастнаго, приходится объяснить причину его повторяющагося изъ году въ годъ страха не какъ угрызенія совѣсти за неисполненный долгъ, а какъ суевѣрную боязнь передъ мертвецомъ. При такомъ объясненіи утрачивается внутренній смыслъ народнаго повѣрія, который заключаетъ въ себѣ элементъ психологическій, а именно угрызеніе совѣсти за дурной поступокъ. Если же мы примемъ въ разсчетъ угрызеніе совѣсти, то не совсѣмъ понятна безучастность рыбака къ погибшей жертвѣ.

Пушкинъ, какъ мнѣ кажется, обратилъ немного вниманія на анализъ того процесса, который совершался въ душѣ мужика въ моментъ его проступка и въ послѣдующее время, онъ передалъ намъ въ художественной рамкѣ повѣріе, имѣя въ виду общую бытовую картину, а не самое преданіе, какъ показатель народнаго міросозерцанія. Въ этомъ убѣждаютъ насъ и заключительные стихи баллады:

„Есть въ народѣ слухъ ужасный:
Говорятъ, что каждый годъ
Съ той поры мужикъ несчастный
Въ день урочный гостя ждетъ?..“

Поэтъ передаетъ намъ народный слухъ, то, о чемъ «говорятъ» въ простомъ народѣ. Слухъ этотъ ужасный, но для кого? Конечно, для суевѣрнаго простолюдина. Но не скрыто ли въ этомъ суевѣріи нѣчто ужасное для интеллигентнаго человѣка, что такъ прекрасно назвалъ Пушкинъ, «когтистымъ звѣремъ, скребящимъ сердце?» (Скупой рыцарь II). Авторъ не даетъ отвѣта на этотъ вопросъ.

Въ примѣчаніяхъ къ балладѣ «Лиліи» Мицкевичъ указываетъ, что сюжетъ заимствованъ имъ изъ народной пѣсни. Въ этомъ произведеніи, какъ и въ «Утопленникѣ», немаловажную роль играютъ угрызенія совѣсти. Вотъ содержаніе баллады. Нѣкая госпожа убила своего мужа, зарыла его въ рощѣ и на могилѣ посѣяла лиліи. Испуганная собственнымъ поступкомъ, она бѣжитъ къ старику-отшельнику и разсказываетъ ему о своемъ удрученномъ состояніи. Отшельникъ старается вызвать въ преступницѣ раскаяніе, но относительно страха наказанія успокаиваетъ ее тѣмъ, что только самъ убитый можетъ открыть злодѣяніе. Госпожа успокоилась, однако не надолго: ее мучаютъ угрызенія совѣсти. Не долго спустя возвращаются съ войны два брата покойнаго. Преступница увѣряетъ братьевъ, что мужъ ея погибъ на войнѣ. Братья, съ которыми покойный былъ вмѣстѣ, говорятъ, что онъ живъ и, вѣроятно, скоро вернется, а потому они ждутъ его возвращенія. Ждали день, другой и хотѣли ѣхать дальше, но хозяйка убѣдила ихъ остаться. Прошла зима, а затѣмъ весна, и братья, которымъ невѣстка понравилась дѣлаютъ ей предложеніе выйти за кого-нибудь изъ нихъ замужъ. Не зная, какъ поступить, госпожа, которую не оставляютъ угрызенія совѣсти, то утихающія, то снова усиливающіяся, обращается за совѣтомъ къ отшельнику. Старикъ попрежнему пытается вызвать раскаяніе у преступницы, но напрасно. Тогда онъ совѣтуетъ госпожѣ предложить братьямъ покойнаго мужа, что бы каждый изъ нихъ сплелъ ей вѣнокъ; чей будетъ лучше, за того пусть она выйдетъ замужъ, а на счетъ покойника онъ говоритъ ей, что тотъ не вернется, развѣ что она сама его призоветъ. Совѣтъ былъ выполненъ. Въ день, назначенный для свадьбы, госпожа входитъ въ церковь и беретъ одинъ изъ находящихся тамъ вѣнковъ, въ который были вплетены лиліи, сорванныя на могилѣ ея покойнаго мужа. Братья поднимаютъ между собой споръ, кому вѣнокъ принадлежитъ и кому изъ нихъ итти подъ вѣнецъ. Но вотъ по-

является покойный мужъ и говоритъ, что вѣнокъ его, такъ какъ лиліи сорваны на его могилѣ. Церковь вмѣстѣ съ присутствующими проваливается, а надъ проваломъ высоко вырастаютъ лиліи.

Изслѣдованіе Здырскаго наглядно показываетъ, что въ этой балладѣ Мицкевича объединено нѣсколько народныхъ сюжетовъ. Главные изъ нихъ: убійство мужа изъ-за страха наказанія вслѣдствіе супружеской невѣрности, историческая легенда о Болеславѣ Смѣломъ и его походѣ на Русь Червоную, споры братьевъ о томъ, кого невѣста предпочитаетъ имѣть мужемъ и легенда о провалѣ церкви. Всѣ детали точно переданы Мицкевичемъ изъ народныхъ повѣрій. Цвѣты, вырастающіе на могилѣ и обличающіе преступницу, вѣдь это тѣ же цвѣты, которые мы встрѣчаемъ въ сербской народной пѣснѣ «Сестра и братья», переведенной Пушкинымъ въ его «Пѣсняхъ западныхъ славянъ»; разсказъ о пустынникѣ скопированъ съ народныхъ разсказовъ (Ходяковъ. Великорусскія сказки III т.). Насколько выдержаны въ балладѣ народные мотивы, мы можемъ легко убѣдиться по слѣдующему отрывку, который я привожу согласно указаніямъ г. Здырскаго. Въ народной пѣснѣ:

Pani pana zabiła [1]),
Schowała go w ogrodzie
Pvzy tej studziennej wodzie,
Lelij na nim nasiała
I tak sobie spiewała:
Rośnij, rutko, wysoko,
Jak pan lezy głęboko.

У Мицкевича соотвѣтствующіе стихи:

„Zbrodnia to niesłychana [2]):
Pani zabiła pana.
Zabiwszy, grzebie w gaju,
Na łączce przy ruczaju,
Grób liliją zasiewa,

[1]) Переводъ цитированныхъ стиховъ народной пѣсни: „Госпожа убила господина, спрятала его въ огородѣ при той студеной водѣ. Насѣяла надъ нимъ лилій и такъ себѣ пѣла: „рости, травка высоко, какъ господинъ лежитъ глубоко".

[2]) Переводъ: „Неслыханное преступленіе: госпожа убила господина; убивши, хоронитъ въ рощѣ, на лугу при ручьѣ, могилу засѣваетъ лиліями и, засѣвая, такъ поетъ: рости, цвѣтокъ, высоко, какъ господинъ лежитъ глубоко, такъ ты рости высоко".

Zasiewając tak spiewa:
Rośnij Kwiecie wysoko,
Jak pan leży głęboko.
Jak pan leży głęboko,
Tak ty rośnij wysoko".

Въ указанныхъ отрывкахъ мы видимъ на 10 стиховъ почти семь общихъ! Риѳма такая же, какъ и въ народной пѣснѣ; выраженія отличаются необыкновенной простотой. Но зачѣмъ понадобилось автору объединеніе нѣсколькихъ сюжетовъ? Въ первоначальномъ народномъ варіантѣ жена-преступница была немедленно наказана братьями, которые, возвращаясь съ войны, узнали объ убійствѣ. Очевидно, Мицкевичъ не пожелалъ примириться съ такой банальной развязкой. Онъ психологически вѣрно изобразилъ угрызенія совѣсти преступницы; всѣ переходы внутренняго состоянія госпожи поражаютъ насъ своей правдивостью: то страхъ наказанія, то временное успокоеніе, то снова угрызенія совѣсти.

Этой вставкой, вполнѣ естественной, не нарушающей стройности разсказа, поэтъ объединилъ новые народные сюжеты: споръ братьевъ и провалъ церкви. Горе братьевъ, потерявшихъ въ убитомъ своего ближайшаго родственника, проходитъ довольно быстро. Такова участь въ большинствѣ случаевъ человѣческихъ радостей и печалей. Горе смѣняется желаніемъ воспользоваться утратой и занять мѣсто покойнаго, чувство эгоизма быстро смѣняетъ состраданіе.

„Do smaku im gospoda
Bo gospodyni młoda.
Ze chcą jechać udają.
A tymczasem czekają,
Czekają az do lata,
Zapominają brata".

(По вкусу имъ хозяйство, такъ какъ какъ хозяйка молода. Они притворяются, что хотятъ ѣхать, а между тѣмъ ждутъ, ждутъ до самаго лѣта, забываютъ брата. За эту вину свою братья гибнутъ вмѣстѣ съ самой убійцею). Но если даже поступокъ братьевъ покойнаго можно извинить, какъ поступокъ естественный: они ждали цѣлый годъ возвращенія брата и увлеклись молодой хозяйкой, то развѣ погибель нарушившаго нравственный долгъ не вовлекаетъ часто въ бѣду и неповинныя жертвы? Такимъ образомъ, идея бал-

лады вполнѣ понятна и отъ объединенія нѣсколькихъ народныхъ сюжетовъ получила лишь болѣе полное развитіе. Не выходя изъ предѣловъ народныхъ преданій, баллада представляетъ изъ себя разсказъ, выдержанный въ смыслѣ народности и глубокій по впечатлѣнію. Мицкевичъ ни однимъ словомъ не даетъ понять читателю, что это народный «слухъ», что это сказка. Онъ передаетъ разсказъ такъ, какъ будто вѣритъ самъ описываемымъ событіямъ. Поэтому міросозерцаніе, скрытое въ объединенныхъ имъ народныхъ пѣсняхъ, выступаетъ рельефно и убѣждаетъ насъ въ томъ, что польскій поэтъ заинтересовался этимъ міросозерцаніемъ. Отдѣльная пѣсня народа заключаетъ въ себѣ ясную просто выраженную истину, результатъ продуманнаго отношенія къ дѣйствительности. Изъ цѣлаго комплекса разсѣянныхъ то тамъ, то здѣсь крупицъ народнаго умозрѣнія, можно составить себѣ надлежащее представленіе о философіи народа, который мыслитъ просто, но глубоко. Только тогда станетъ намъ понятной эта философія, если мы отрѣшимся отъ обычныхъ взглядовъ на народное суевѣріе, если мы на время забудемъ о той обстановкѣ, которая насъ окружаетъ, если мы перенесемся на время вмѣстѣ съ народомъ въ таинственный міръ его сказаній. Эту истину осуществилъ Мицкевичъ въ своей балладѣ.

Въ то время, какъ Пушкинъ въ своемъ «Утопленникѣ» даетъ намъ реальную бытовую картину, въ которой кисть реализма затемняетъ для читателя мысль народную, Мицкевичъ старается въ своихъ «Лиліяхъ» смягчить реализмъ народной пѣсни; утаивая отъ братьевъ убійство, онъ замѣняетъ вполнѣ естественную кару въ народной пѣснѣ проваломъ церкви и вноситъ въ свое произведеніе новый таинственный элементъ, заимствованный изъ другого народнаго сюжета. Справедливо ли наше объясненіе смысла, который преслѣдовалъ Мицкевичъ, объединяя нѣсколько сюжетовъ,—покажетъ дальнѣйшій разборъ.

V.

Теперь намъ предстоитъ разсмотрѣть драматическія сцены Пушкина «Русалка», въ связи съ двумя балладами Мицкевича «Switezianka» и «Rybka». Я соединяю въ одно эти двѣ баллады, потому что при различной фабулѣ въ нихъ участвуетъ въ качествѣ глав-

наго лица русалка. Такимъ образомъ можно сопоставить изображеніе русалки у обоихъ поэтовъ.

Русалка Пушкина имѣетъ большое сходство съ чешской пѣсней «Янышъ-королевичъ», переведенной ноэтомъ. Это сходство даетъ поводъ коментатору Пушкина заключить, что «сюжетъ ея, повидимому, заимствованъ» изъ указанной пѣсни. Какъ сама пьеса, такъ и переводъ пѣсни являются неоконченными. Пушкинъ перевелъ только первую часть чешской пѣсни. Оба произведенія охватываютъ собой одни и тѣ же моменты: разставаніе князя съ дѣвицей, подарокъ ожерелья, самоубійство и встрѣча съ дочерью русалкой. Въ чешской пѣснѣ говорится также о свиданіи князя съ обманутой имъ дѣвицей, но этотъ моментъ отсутствуетъ въ «Русалкѣ». Но въ сценахъ Пушкина мы встрѣчаемъ нѣкоторые мотивы, которыхъ нѣтъ въ его переводѣ первой части пѣсни. Такъ въ послѣдней не упоминается вовсе о задуманномъ мщеніи русалки, между тѣмъ какъ у Пушкина она открыто сознается:

„Я каждый день о мщеньѣ помышляю“.

Далѣе въ отрывкѣ пѣсни не говорится ничего о свадьбѣ князя, которая въ драмѣ занимаетъ значительное мѣсто. Наконецъ, въ отрывкѣ не участвуетъ отецъ обманутой дѣвицы, между тѣмъ какъ мельникъ Пушкина представляетъ изъ себя сильно драматическое лицо пьесы. Не находится ли отмѣченная разница въ зависимости отъ вліянія Мицкевича на Пушкина? Я нахожу возможнымъ сдѣлать предположеніе о вліяніи баллады Мицкевича «Рыбка» на «Русалку» Пушкина [1]). Прежде всего русскій поэтъ былъ, вѣроятно, знакомъ съ балладой своего друга, произведеніями котораго онъ занимался даже послѣ польскаго мятежа 1830 г., когда оба поэта, по словамъ Мицкевича, были разъединены «горнымъ потокомъ». Такъ въ «Сонетѣ» 1830 г. Пушкинъ говоритъ:

„Подъ сѣнью горъ Тавриды отдаленной,
Пѣвецъ Литвы въ размѣръ его стѣсненный
Свои мечты мгновенно заключалъ“.

---

[1]) Къ сожалѣнію, я не имѣлъ возможности, по цензурнымъ условіямъ, пользоваться изслѣдованіемъ проф. Третьяка, разсматривающаго данный вопросъ. Мои выводы совершенно самостоятельны.

Въ 1893 г., какъ разъ около времени написанія «Русалки» Пушкинъ переводитъ баллады Мицкевича: «Воевода», «Будрысь и сыновья». Наконецъ, въ предисловіи къ «Пѣснямъ западныхъ славянъ», написаннымъ въ 1832—1833 гг., Пушкинъ указываетъ на Мицкевича, какъ на «знатока въ славянской поэзіи»: очевидно, онъ былъ знакомъ съ народными произведеніями польскаго поэта, иначе не сталъ бы дѣлать подобной характеристики.

Обратимъ вниманіе на содержаніе балладъ Мицкевича «Свитезянка» и «Рыбка». Въ первой изъ нихъ молодой охотникъ клянется дѣвицѣ любить ее вѣчно Дѣвица относится весьма скептически къ этой клятвѣ и совѣтуетъ не давать напрасныхъ обѣщаній. Затѣмъ она исчезаетъ. Охотникъ, возвращаясь домой, подходитъ къ озеру Свитезю. Что же видитъ онъ. Предъ нимъ русалка необыкновенной красоты. Красавица манитъ къ себѣ очарованнаго охотника. Онъ забываетъ про свою недавнюю клятву и отдаетъ себя во власть прекрасной русалки. Но каково же его удивленіе, когда онъ узнаетъ въ увлекшей его красавицѣ ту самую дѣвицу, которой онъ клялся въ любви, а теперь измѣнилъ. Охотникъ погибаетъ въ волнахъ жертвой своего вѣроломства.

Во второй балладѣ дѣвица-крестьянка, огорченная измѣной барина, прельстившаго ее, бросается въ воду и угрожаетъ отомстить своему любовнику. У дѣвицы осталась дочь, отданная на попеченіе старика-слуги. Въ то время, какъ въ хоромахъ барина идетъ брачное веселіе, старый слуга подходитъ къ озеру съ ребенкомъ погибшей. Онъ горько жалуется на то, что не кому кормить грудью младенца и зоветъ утонувшую мать. Вотъ является рыбка и превращается въ дѣвицу, береть у слуги ребенка и кормитъ его. Затѣмъ, превратившись снова въ рыбку, уплываетъ. Такъ продолжалось нѣкоторое время кормленіе ребенка. Однажды вечеромъ старый слуга увидѣлъ, что баринъ съ молодой женой отправились гулять въ лѣсъ по направленію къ озеру. Когда онъ немного спустя отправился туда же съ ребенкомъ, онъ былъ пораженъ исчезновеніемъ озера; на прежнемъ берегу только два камня, подобные двумъ людскимъ тѣламъ. Слуга догадался, что это тѣла барина, погубившаго крестьянку, и его жены... «дико улыбнулся», а потомъ молясь, возвратился домой.

Сопоставляя изложенныя баллады съ «Русалкой», можно замѣтить слѣдующіе общіе элементы: мщеніе за измѣну, старый слуга,

напоминающій мельника по своей привязанности и «дикой улыбкѣ», и пышная свадьба барина, нарушаемая у Мицкевича плачемъ ребенка, а у Пушкина голосомъ погибшей мельничихи. А вѣдь эти элементы какъ разъ отсутствуютъ въ переведенной Пушкинымъ чешской пѣснѣ. Въ «Рыбкѣ» Мицкевича, какъ и въ «Русалкѣ» Пушкина русалки бесѣдуютъ другъ съ другомъ и называютъ себя «сестрами». Невольно напрашивается такимъ образомъ вопросъ о вліяніи Мицкевича на «Русалку». Врядъ ли можно его разрѣшить вполнѣ, но сдѣланное предположеніе весьма вѣроятно. Чтобы покончить съ этимъ сопоставленіемъ, приведемъ стихи:

„По камушкамъ, по желтому песочку
Пробѣгала быстрая рѣчка“

въ параллель съ польскими стихами:

„Przez żwir, przez ostre kamuszki
Fale mnie gwałtowne niosą“,

(по песочку, по острымъ камешкамъ несутъ меня бурныя волны) и далѣе:

„Я слыхала ль ты, *рыбка*-сестрица
Про вѣсти-то наши, про рѣчныя?
Какъ вечоръ у насъ красная дѣвица утопилась,
Утопая милаго друга проклинала?“

со стихами:

Załamuje białe rączki
I tak żałośnie narzeka:
„*Siostry moje*, Switezianki“...

(Она заламываетъ бѣлыя ручки и такъ скорбно жалуется: «сестры мои, свитезянки»).

Какъ обработаны поэтами народные сюжеты? У Пушкина первая сцена представляетъ изъ себя совершенно реальную драматическую картину. Въ ней мнѣ кажется не совсѣмъ художественной психологія мельника, у котораго корыстолюбіе черезчуръ быстро безъ всякой переходной ступени смѣняется раскаяніемъ:

„Богъ наказалъ меня за то, что слабо
Я выполнилъ отцовскій долгъ“.

Читая первую сцену «Русалки», мы совершенно неподготовлены къ таинственному народному элементу остальныхъ сценъ. Остано-

вимся на второй сценѣ «Русалки», изображающей свадебное пиршенство, и постотримъ, какъ относятся дѣйствующія лица къ таинственному голосу, нарушившему веселіе князя. Наобыкновенно художественное привѣтствіе свата открываетъ сцену. Затѣмъ слѣдуетъ веселая пѣсня хора, цѣль которой заставить свата раскошелиться. Такія пѣсни поются во многихъ мѣстахъ и мъ настоящее время.

СВАТЪ.

Насмѣшницы, ужъ выбрали вы пѣсню!
На, на, возьмите, не корите свата.
(Даритъ дѣвушекъ).

Вслѣдъ за этимъ раздается голосъ погибшей мельничихи. Сватъ думаетъ, что кто-нибудь изъ хора зло пошутилъ, испрашиваетъ:

Красавицы! да что это за пѣсня?
Она, кажись, не свадебная, нѣтъ.
Кто выбралъ эту пѣсню? а?

ДѢВУШКИ.

Не я, не мы. . .

СВАТЪ.

Да кто жъ пропѣлъ ее?
(Шопотъ и смятеніе между дѣвушками).

Очевидно, что сватъ не повѣрилъ заявленіямъ дѣвушекъ. Одинъ только князь знаетъ, кто пропѣлъ эту пѣсню, и велитъ конюшему вывести мельничиху, предполагая, что она находится среди дѣвушекъ. Конюшій послѣ тщетныхъ поисковъ заявляетъ:

„Я не нашелъ ее“.

Князь настаиваетъ на томъ, что мельничиха «здѣсь», и услышавъ крикъ среди гостей, восклицаетъ:

„Она! Вотъ крикъ ея ревнивый! Что?“

КОНЮШІЙ.

Я не нашелъ ее нигдѣ.

КНЯЗЬ.

Дуракъ.

Не очевидно ли отсюда, что князь не допускаетъ мысли о томъ, что таинственный голосъ можетъ быть голосомъ привидѣнія? Сваха и дружко убѣждены въ томъ, что дѣвушки пропѣли эту злополучную пѣсню.

СВАХА.

Да не къ добру пропѣли эту пѣсню,
Не свадебную, а Богъ вѣсть какую. . .

ДРУЖКО.

Ужъ эти дѣвушки! Никакъ нельзя имъ
Не напроказить. Статочно ли дѣло—
Мутить нарочно княжескую свадьбу.

Такимъ образомъ и отношеніе самого князя и отношеніе дѣйствующихъ лицъ этой сцены къ таинственному голосу не заключаетъ въ себѣ ничего суевѣрнаго, а наоборотъ всѣ они находятъ ему вполнѣ естественное объясненіе. Читатель «Русалки» можетъ допустить вмѣстѣ со свахой и дружко, что дѣвушки, знавшія о преступленіи князя, пожелали надъ нимъ посмѣяться и наказать его. Тогда утрачивается внутренній смыслъ народнаго суевѣрія: пострадавшая душа послѣ смерти преслѣдуетъ своего обидчика. Поэтъ нарисовалъ намъ реальную бытовую картину, гдѣ все до мелочей согласно съ обрядами свадьбы: хоръ, сватъ, сваха, пиръ. Реальность обстановки настолько велика, что намъ вмѣстѣ съ поэтомъ хочется видѣть ее во всемъ. въ этой обстановкѣ какимъ-то диссонансомъ звучитъ голосъ погибшей мельничихи, если мы пожелаемъ открыть смыслъ народнаго повѣрія.

Въ четвертой сценѣ встрѣча и разговоръ князя съ безумнымъ мельникомъ полны захватывающаго драматизма, но вставленная сюда бесѣда русалокъ не вяжется съ общей картиной правдиваго раскаянья князя. Народное суевѣріе стоитъ какъ бы вдали отъ тѣхъ реальныхъ рамокъ, въ которыя оно вставлено, и, вслѣдствіе этого, таинственный элементъ пьесы теряетъ во многомъ свою обаятельность. И здѣсь, какъ и раньше, реализмъ беретъ верхъ надъ предразсудками народа, и не ими поэтъ облекаетъ свою идею. Пушкинъ, увлеченный слѣдами стариннаго быта въ свадебныхъ пѣсняхъ и красивой легендой о русалкѣ, помѣщаетъ ихъ въ свое произведеніе такъ же,

какъ онъ употребляетъ народныя пѣсни въ качествѣ эпиграфовъ къ нѣкоторымъ главамъ «Капитанской дочки», т. е. не сливая заимствованнаго органически со своимъ произведеніемъ. Пушкинъ воспользовался пѣсней о русалкѣ по стольку, по скольку она представляетъ благодарный матеріалъ для драматической обработки. Мы не возражаемъ противъ художественности «Русалки», какъ драматической картины, но указываемъ лишь на ту роль, которую играетъ въ ней народный элементъ. Разборъ второй и четвертой сценъ показываетъ намъ, что во внѣшнемъ этотъ элементъ строго выдержанъ, но во внутреннемъ своемъ содержаніи онъ затушеванъ кистью художника-реалиста.

Совершенно противоположное мы замѣчаемъ у Мицкевича. Въ его «Рыбкѣ» заключаются два основныхъ народныхъ мотива: первый изъ нихъ тотъ же, что и въ «Свитезянкѣ»,—разсказъ о невѣрномъ любовникѣ; второй—преданіе о русалкѣ, которая каждый день кормила грудью своего ребенка. Всѣ аксессуары заимствованы поэтомъ изъ преданій народа и связаны имъ въ одно гармоничное цѣлое. Присоединеніемъ къ первому мотиву второго автора усилилъ драматизмъ баллады, указывая на безпомощное положеніе ребенка, оставленнаго на произволъ судьбы. Участь обманутой крестьянки глубоко трогаетъ поэта. Не ту же ли мысль мы встрѣчаемъ во второй части драмы Мицкевича «Дѣды» (или «Поминки»—Dziady)? Колдунъ-знахарь, призывающій привидѣнія покойниковъ и надѣляющій ихъ пищей, отказываетъ въ этомъ привидѣнію барина - помѣщика, жестоко обращавшагося со своими крестьянами.

„Nie znałeś litości panie!
Hej sowy, puchacze, kruki,
I my nie znajmy litości:
Szarpajmy jadło na sztuki,
A kiedy jadła nie stanie,
Szarpajmy ciało na sztuki,
Niechaj nagie świecą kości".

(«Ты не зналъ жалости, баринъ! Эй, совы, филины и вороны и мы не будемъ знать жалости: растерзаемъ ѣду на куски, а когда не хватитъ пищи, разорвемъ его тѣло на куски, пусть виднѣются голыя кости!»)

Точно передавая народныя пѣсни подобно Пушкину, Мицкевичъ не прибѣгаетъ къ тѣмъ реальнымъ рамкамъ, которыя мы отмѣтили у русскаго поэта. Онъ вмѣстѣ съ народомъ переносится въ таинственную обстановку преданій и своимъ художественнымъ сочетаніемъ выражаетъ цѣльную и глубокую идею. Если въ «Свитезянкѣ» русалка, согласно народному представленію, заманиваетъ охотника, то здѣсь нѣтъ тенденціозной мысли, что русалка является своего рода Немезидой. Русалка въ изображеніи Мицкевича не утрачиваетъ присущей народной черты—завлекать мужчинъ безъ всякаго очевиднаго повода: месть и въ «Свитезянкѣ», и въ «Рыбкѣ» совершается пострадавшей особой, а не русалками вообще. Пушкинъ замѣчательно художественно подмѣтилъ возможность тенденціозности, если бы русалки покарали князя въ четвертой сценѣ, и устранилъ этотъ антихудожественный элементъ:

„Что сестрицы: въ полѣ чистомъ
Не догнать ли ихъ скорѣй?
Плескомъ, хохотомъ и свистомъ
Не пугнуть ли ихъ коней?
Поздно. Волны охладѣли,
Пѣтухи давно пропѣли,
Высь небесная темна,
Закатилася луна".

И у Мицкевича въ балладѣ «Рыбка», какъ и въ «Свитезянкѣ» дѣвица жалуется русалкамъ на свое горе, но мщеніе совершаетъ лично, не прибѣгая къ помощи подругъ. Художественность изображенія русалки у обоихъ поэтовъ не подлежитъ сомнѣнію. Разница можетъ быть указана по отношенію къ обработкѣ общей идеи разобранныхъ произведеній: у Пушкина выступаетъ на первый планъ бытовая реальная картина, у Мицкевича—народное міровоззрѣніе, вытекающее изъ объединенныхъ сюжетовъ.

VI.

Въ балладѣ Мицкевича «Свитезь» есть одна небольшая сходная черта со сказкой Пушкина «О рыбакѣ и рыбкѣ». Неводъ рыбачій у русскаго поэта вытаскиваетъ золотую рыбку, а у Мицкевича—подводную русалку. Этимъ только ограничивается сходство. Содержаніе баллады «Свитезь» слѣдующее. Озеро Свитезь отличалось

своей таинственностью: въ немъ слышался постоянный шумъ, какъ въ городѣ, виднѣлся огонь, раздавалось бряцаніе оружія. Господинъ, въ имѣніи котораго находилось озеро, пожелалъ открыть тайну. Приготовили огромный неводъ и послѣ богослуженія опустили въ воду. Неводъ вытащилъ красивую женщину. Она разсказываетъ повѣсть о происхожденіи озера. Царь русскій пошелъ войною на литовскаго короля Мендога; послѣдній обратился за помощью къ князю Тугану, замокъ котораго находился на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь озеро. Туганъ неохотно отправляется по приглашенію; онъ повинуется желанію своей дочери, которая беретъ на себя защиту замка въ отсутствіи отца. Русскія войска послѣ отъѣзда Тугана напали на Свитезь. Защищаться не было никакой возможности. Находившіяся въ замкѣ женщины хотѣли покончить жизнь самоубійствомъ, чтобы не достаться врагамъ. Тогда дочь князя попросила защиты у Богоматери, и замокъ провалился вмѣстѣ съ женщинами, которыя были превращены въ цвѣты, растущіе на берегу образовавшагося озера. Русскіе воины, сорвали нѣкоторые цвѣты, но тѣхъ, кто осмѣлился сдѣлать это, постигла смерть. Отсюда и названіе цвѣтовъ—сагу (цари).

«Выслушавши однажды» говоритъ Мицкевичъ, «весьма интересную сказку со словъ рыбака, Марія Верещакъ (возлюбленная поэта) сказала, обращаясь ко мнѣ: «вотъ поэзія, напиши что-нибудь въ этомъ родѣ». Эти слова глубоко запали въ мою душу и въ нихъ я почерпнулъ мое поэтическое направленіе». Какъ видно изъ содержанія баллады, часть, предшествующая разсказу Свитезянки, ничто иное—какъ присказка, гдѣ авторъ излагаетъ свои собственныя впечатлѣнія. Не разъ приходилось автору гулять около гладкаго, какъ стекло, озера и здѣсь онъ вспоминаетъ разсказы о привидѣніяхъ и чудесахъ, слышанныхъ имъ въ дѣтствѣ. Эпически спокойно передаетъ намъ польскій поэтъ эти причудливые разсказы, и намъ кажется, будто онъ самъ вѣритъ въ сверхъестественныя явленія:

„Nieraz śród wody gwar, jakoby w mieście,
Ogień i dym bucha gęsty,
I zgiełk walczących i wrzaski niewieście
I dzwonów gwałt i zbrójchrzęsty.

Nagle dym spada, hałas się umierza,
Na brzegach tylko szum jodły,
W wodach gadanie cichego pacierza
I dziewic żałośne modły".

(Не разъ средь воды—шумъ, какъ бы въ городѣ, валитъ огонь и дымъ густой, и бряцаніе сражающихся и крики женщинъ и сильный звонъ и звукъ оружія. Вдругъ дымъ исчезаетъ, шумъ утихаетъ, на берегахъ только шопотъ ели; въ водахъ шопотъ тихой молитвы, и жалостныя мольбы дѣвицъ).

Даже въ этой присоединенной къ легендѣ присказкой поэта—все строго соотвѣтствуетъ дальнѣйшему повѣствованію и заимствовано изъ устъ народа.

У поляковъ существуетъ много подобныхъ легендъ о защитѣ города Львова отъ казаковъ, о защитѣ крѣпости Зальцведель и т. п., гдѣ Матерь Божія охраняетъ осаждаемыхъ [1]). Легенду такого рода поэтъ связалъ съ этимологическимъ преданіемъ о цвѣтахъ, называемыхъ сагу, и народнымъ повѣріемъ о русалкѣ. Снова въ этой балладѣ мы встрѣчаемся со сложной мозаикой сюжетовъ, заимствованныхъ непосредственно у народа, и съ точной, мѣстами буквальной передачей народныхъ стиховъ и выраженій.

Зачѣмъ понадобилось польскому поэту это сочетаніе? Отвѣтъ на этотъ вопросъ будетъ тотъ же, что и раньше. Поэтъ страстно желаетъ одухотворить свой разсказъ идеей. Если его мечтательное воображеніе унеслось въ область народныхъ преданій, то все же ни на минуту поэтъ не можетъ забыть о тѣхъ мысляхъ, которыя неотступно волнуютъ его. Раньше мы видѣли, онъ скорбитъ о поруганной чести дѣвицы-крестьянки, которую баринъ сдѣлалъ жертвой своей прихоти, онъ останавливается надъ психологическимъ анализомъ угрызеній совѣсти и неустойчивостью человѣческихъ увлеченій, теперь въ немъ проснулась патріотическая мысль о былой беззавѣтной защитѣ родины, когда и слабая женщина являлась героемъ. Мысли Мицкевича неразрывно связаны съ причудливыми образами народной фантазіи. Художникъ сознаетъ неправду историческаго от-

---

[1]) Интересные народные разсказы такого рода собраны въ статьѣ проф. Сумцова: „Сказанія о провалившихся городахъ".

ношенія поляковъ къ простому народу. Въ преданіяхъ этого народа увлекаетъ его не только эстетическая сторона, но и внутренній смыслъ, который онъ жаждетъ обнаружить читающей публикѣ. Мицкевичъ въ своихъ балладахъ показываетъ намъ, какъ просты эти мысли по своему выраженію и какъ глубоки вдохновенной идеей. Жизнь польскаго поэта, несомнѣнно, подтверждаетъ наше мнѣніе. Если панъ Тадеушъ освобождаетъ своихъ крѣпостныхъ, а проектъ соціальной реформы, какъ ни слабъ въ деталяхъ, основанъ на мечтѣ, о которой говоритъ Пушкинъ въ своемъ отрывкѣ «Мицкевичъ», мечтѣ, «когда народы, распри позабывъ, въ единую семью соединятся».

Такимъ образомъ характеръ вліянія народной поэзіи на Мицкевича по преимуществу внутренній; онъ ищетъ въ ней вдохновительницу тѣхъ общественныхъ мыслей, которыя волнуютъ его. Не напрасно указываетъ г. Уманьскій (Рус. М. 93 г.) на аналогію между воззрѣніями Мицкевича и Л. Н. Толстого. Оставаясь вѣрнымъ и во внѣшнемъ народной поэзіи, Мицкевичъ руководится въ своихъ балладахъ задачей: отражать внутренній міръ народа.

Сказки Пушкина изобилуютъ бытовымъ элементомъ и открываютъ передъ читателемъ неизсякаемый запасъ народнаго юмора и выраженій, цѣлый калейдоскопъ фантастическихъ картинъ, такъ прекрасно охарактеризованный поэтомъ въ его прологѣ къ поэмѣ «Русланъ и Людмила»:

„Тамъ чудеса: тамъ лѣшій бродитъ,
Русалка на вѣтвяхъ сидитъ;
Тамъ на невѣдомыхъ дорожкахъ
Слѣды невиданныхъ звѣрей;
Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ
Стоитъ безъ оконъ, безъ дверей;
Тамъ лѣсъ и долъ видѣній полны;
Тамъ о зарѣ прихлынутъ волны
На брегъ песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасныхъ
Чредой изъ водъ выходятъ ясныхъ,
И съ ними дядька ихъ морской;
Тамъ королевичъ мимоходомъ
Плѣняетъ грознаго царя;
Тамъ въ облакахъ передъ народомъ,
Черезъ лѣса, черезъ моря
Колдунъ несетъ богатыря;

Въ темницѣ тамъ царевна тужитъ,
А бурый волкъ ей вѣрно служитъ;
Тамъ ступа съ Бабою-Ягой
Идетъ-бредетъ сама собой;
Тамъ царь Кощей надъ златомъ чахнетъ;
Тамъ русскій духъ... Тамъ Русью пахнетъ!

Большинство сказокъ заимствовано Пушкинымъ у Арины Родіоновны. Г. Сумцовъ, изслѣдовавшій варіанты этихъ сказокъ, указываетъ намъ на то, что поэтъ близко держался народной основы, сохранилъ всѣ главные мотивы и мѣстами лишь придалъ имъ яркую культурно-бытовую обстановку. «Глубина народности», говоритъ г. Сумцовъ по поводу лучшей изъ сказокъ «О рыбакѣ и рыбкѣ», «отчасти обусловлена искуснымъ введеніемъ выразительныхъ простонародныхъ словъ и выраженій: синее море, ласковое слово, заморскія вина, тесовыя ворота; взмолится, молвить, кликать, добро (въ значеніи хорошо!); бѣлены объѣлась, въ запеи затолкали, не садися не въ свои сани, поперекъ слова молвить, говорить честью». Когда мы читаемъ сказки Пушкина, невольно вспоминаются слова поэта въ его письмѣ къ брату изъ Михайловскаго: «Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма». Намъ становится тогда понятнымъ разсказъ Ѳ. И. Буслаева, въ которомъ онъ передаетъ слова Кирѣевскаго по поводу тетради народныхъ пѣсенъ, собранныхъ Пушкинымъ. «Вотъ эту пачку, сказалъ Кирѣевскій, далъ мнѣ самъ Пушкинъ и при этомъ сказалъ: «когда-нибудь отъ нечего дѣлать разберите-ка, которыя поетъ народъ и которыя смастерилъ я самъ». И сколько не старался я разгадать эту загадку,—продолжалъ Кирѣевскій,—никакъ не могу сладить. Когда это мое собраніе будетъ напечатано, пѣсни Пушкина пойдутъ за народныя». Начало сказки о медвѣдицѣ, гдѣ съ необыкновенною художественностью изображаются животныя въ народномъ представленіи, многіе изслѣдователи готовы были принять за точную запись народной пѣсни, но до сихъ поръ не указанъ простонародный матеріалъ, которымъ воспользовался Пушкинъ: «по всей вѣроятности» говоритъ проф. В. Ѳ. Миллеръ, «это не была одна опредѣленная пѣсня».

Что касается до идеи самихъ сказокъ, то здѣсь такъ же, какъ и въ балладѣ «Женихъ», она не сложна, и нравственный обликъ народа не можетъ быть изображенъ здѣсь съ тою глубиной и серьез-

ностью, которыя присущи балладамъ Мицкевича. Да иначе и не можетъ быть: вѣдь народъ говоритъ: «сказка—складка», и Пушкинъ повторяетъ за нимъ это опредѣленіе:

„Сказка—ложь, да въ ней намекъ,
Добрымъ молодцамъ урокъ!“ (Сказ. о зол. пѣт.).

Этотъ «урокъ» имѣется во всѣхъ сказкахъ Пушкина, а потому онѣ являются благодарнымъ матеріаломъ для педагогическихъ цѣлей. Пушкинъ въ своихъ сказкахъ, какъ и въ разобранныхъ раньше произведеніяхъ, является геніальнымъ воспроизводителемъ народныхъ сюжетовъ. Онъ любитъ народъ, знаетъ хорошо его языкъ и нравы.

Принимая во вниманіе отмѣченный мною реализмъ въ «Утопленникѣ» и, «Русалкѣ», который не позволяетъ Пушкину всецѣло перенестись въ таинственный міръ народныхъ преданій и отыскивать въ нихъ внутренній смыслъ, я заключаю, что характеръ вліянія народной поэзіи на Пушкина былъ по преимуществу внѣшній эстетическій. Признавая великія заслуги Пушкина, какъ «народнаго пѣвца и какъ представителя лучшихъ общественныхъ идей, завѣщанныхъ потомству, я не вижу въ немъ стремленія къ анализу народнаго міросозерцанія.

Препятствіями для этого служила Пушкину его эпоха, заглушавшая разработку народной поэзіи реакціонными аристократическими вожделѣніями. Но и то, что сдѣлалъ Пушкинъ своимъ художественнымъ изображеніемъ картинъ изъ народнаго быта,—дѣло великое, предвозвѣстникъ реформъ шестидесятыхъ годовъ. Разница во вліяніи народной поэзіи на поэтовъ-ровесниковъ состоитъ такимъ образомъ въ томъ, что первый изъ нихъ былъ увлеченъ эстетикой, а второй—народнымъ міровоззрѣніемъ.

VII.

«Тихо и скромно шествуя въ концѣ общеевропейскаго движенія», говоритъ Ѳ. И. Буслаевъ, «славянскія племена никогда не были настолько сильны въ своей политической и нравственной жизни, чтобы могли наложить печать своего умственнаго авторитета на прочія европейскія націи». Если по отношенію къ современному состоянію польской и русской литературъ, можно сдѣлать возраже-

нія словамъ покойнаго профессора, то этимъ во многомъ обязаны родственныя литературы вліянію народной поэзіи на ихъ представителей—Пушкина и Мицкевича. Поэты подтверждаютъ значеніе этого вліянія своими собственными признаніями.

Пушкинъ въ своихъ письмахъ и замѣткахъ оставилъ намъ доказательство своего уваженія къ народному языку. Вотъ какъ характеризуетъ онъ слогъ Ломоносова [1]): «Слогъ его ровный, цвѣтущій и живописный заемлетъ главное достоинство отъ глубокаго знанія книжнаго славянскаго языка и *отъ счастливаго сліянія онаго съ языкомъ просто-народнымъ*».

Въ своемъ письмѣ къ А. А. Бестужеву [2]) поэтъ расточаетъ похвалы Ломоносову за то, что «онъ понялъ истинный источникъ русскаго языка и красоты онаго». Еще болѣе ясно выражаетъ Пушкинъ свое мнѣніе о народномъ языкѣ въ «Критическихъ замѣткахъ» (1830—1831 гг.) [3]): «*Изученіе старинныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п. необходимо для совершеннаго знанія свойства русскаго языка; критики наши напрасно ими презираютъ*». Та же мысль подчеркнута поэтомъ въ его замѣткѣ по поводу критики «Полтавы»: «никогда не пожертвую искренностью и точностью выраженія изъ боязни казаться *простонароднымъ*, славянофиломъ или т. п.» [4]). Защищаясь отъ нападокъ критики за стихъ «Людскую молвь и конскій топъ», Пушкинъ замѣчаетъ: «На ту бѣду и стихъ-то весь не мой, *а взятъ цѣликомъ изъ русской сказки*: «И вышелъ онъ за ворота градскія, и услышалъ конскій топъ и людскую молвь» [5]). Кн. Пав. Петр. Вяземскій, описывая квартиру Пушкина въ день его свадьбы говоритъ, что видѣлъ въ числѣ книгъ собраніе стихотвореній Кирши Данилова, и продолжаетъ: «Съ жадностью слушалъ я высказываемое Пушкинымъ своимъ друзьямъ мнѣніе о прелести и значеніи богатырскихъ сказокъ и звучности народнаго русскаго стиха» [6]).

Приведенныя нами замѣтки указываютъ главнымъ образомъ на уваженіе Пушкина къ живой народной рѣчи, какъ источнику лите-

---

[1]) Соч. Пушкина. Изд. Лит. Фонда V, 27—28.

[2]) Ibidem VII, 116 (21-го марта, 1825 г.).

[3]) Соч. Пушкина. V, 127—128.

[4]) Соч. Пушкина. V, 133.

[5]) Соч. Пушкина. V, 128.

[6]) В. Миллеръ „Пушкинъ, какъ поэтъ-этнографъ", стр. 41.

ратурнаго языка [1]). Что касается до характеристики внутренняго содержанія народной поэзіи, кому неизвѣстны стихи поэта:

Что-то слышится родное
Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска.

Заунывность русской пѣсни отмѣчена Пушкинымъ въ «Домикѣ въ Коломнѣ»: «Поетъ уныло русская дѣвица» и далѣе: «Грустный вой пѣснь русская». Но вѣдь этой характеристикой далеко не исчерпывается содержаніе народной пѣсни, въ которой отражаются интересы народа, его мысль и чувства.

Послушаемъ теперь, какими вдохновенными стихами говоритъ Мицкевичъ о народной пѣснѣ, и для насъ станетъ понятнымъ, какъ искренно и глубоко онъ увлекался ею.

O wieści gminna [2])! ty arko przymierza
Między dawnemi i młodszemi laty:
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty.
Arko tyś żadnem nie złamana ciosem
Póki cię własny twój lud nie znieważy;
O pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek Kościoła
Z archanielskiemi skrzydłami i głosem—
Ty czasem dzierżysz i broń archanioła.

(О народное сказаніе! ты арка союза между старыми и молодыми годами: въ тебѣ народъ складываетъ оружіе своего рыцаря, *пряжу своихъ мыслей и цвѣты своихъ чувствъ!* Арка! ты не сломлена никакимъ ударомъ, пока не пренебрежетъ тобой твой собственный народъ! О пѣснь народная! ты, памятникъ народной церкви, стоишь на стражѣ съ крыльями и голосомъ архангеловъ—порой ты держишь и оружіе архангела»). «Пламень», говоритъ далѣе поэтъ, «уничтожитъ живопись, разбойники опустошатъ мечомъ сокровища, но

---

[1]) Изъ новѣйшихъ статей по этому вопросу см. статью г. Некрасова въ жур. „Жизнь“ май 1899 г.

[2]) Конрадъ Валенродъ. Пѣснь Вайделоты.

пѣсня останется цѣлой». Она, какъ соловей, вылетитъ изъ объятаго огнемъ строенія, убѣжитъ въ лѣсъ и тамъ надъ развалинами будетъ тянуть жалостную пѣсню... При звукахъ ея поэту кажется, что онъ видитъ передъ собой какъ живыя картины былого; онъ всецѣло переносится въ чудный міръ народныхъ сказаній.

Остается въ заключеніе, хотя въ бѣглыхъ чертахъ, отмѣтить непосредственное вліяніе народной поэзіи на главныя произведенія поэтовъ-ровесниковъ, какими являются «Евгеній Онѣгинъ» и «Панъ Тадеушъ». И въ томъ и въ другомъ произведеніи поэты получили возможность внести народный элементъ: въ «Евгеніи Онѣгинѣ» большую роль играетъ деревня, а въ «Панѣ Тадеушѣ» дѣйствіе цѣликомъ происходитъ въ шляхетскомъ помѣстіи. Тѣ главы своего романа, гдѣ Онѣгинъ находится въ деревнѣ, Пушкинъ создалъ въ Михайловскомъ. «Отсюда», вполнѣ справедливо говоритъ проф. В. Ѳ. Миллеръ: «яркость и сочность красокъ и художественная твердость рисунка въ «михайловскихъ» главахъ романа; отсюда вдохновенное проникновеніе въ духовную жизнь Татьяны, которая при всей художественной прозорливости поэта могла быть понята только въ связи съ непосредственными наблюденіями всего склада помѣщичьей жизни» [1]). Въ концѣ третьей главы мы встрѣчаемъ пѣсню дѣвушекъ (Дѣвушки красавицы, душеньки подруженьки), пѣсню, очень близкую по своему складу къ народной. Сонъ Татьяны художественно передаетъ народное повѣріе и напоминаетъ намъ балладу «Женихъ», которая, какъ мы показали, строго вѣрна народному сказанію. Въ пятой главѣ, описывая гаданья Татьяны, поэтъ воспользовался подблюдными пѣснями.

Брандесъ называетъ «Пана Тадеуша» единственной европейской эпопеей послѣ Иліады и Одиссеи. Здѣсь уже во вступленіи Мицкевичъ проситъ Матерь Божію перенести его тоскующую душу къ лѣснымъ холмамъ, лугамъ зеленымъ». Всѣ картины повѣсти проходятъ предъ читателемъ въ сельской обстановкѣ. Изъ народныхъ пѣсенъ двѣ вошли въ это произведеніе: пѣсня о солдатѣ-кочевникѣ (o źołnierzu tułaczu) и пѣсня о Цибульскомъ, напоминающая по своему содержанію «Казначейшу» Лермонтова. «Первая пѣсня

---

[1]) В. Миллеръ. Пушкинъ, какъ поэтъ-этнографъ, М. 99 стр. 44.

пользовалась», говоритъ г. Здярскій, «большой любовью поэта, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ дочь Мицкевича — Марія Горецкая». «Часто», пишетъ она, «отецъ пѣлъ мнѣ эту пѣсню тоскливую, и всегда она производила на меня грустное впечатлѣніе». Однажды когда поэтъ пѣлъ ее, малолѣтняя дочь его расплакалась, такъ какъ ей показалось, что братецъ ея согласно содержанію пѣсни пошелъ на войну, его убили, и вѣрный конь возвращается домой одинъ безъ сѣдока. «Вотъ видишь», сказалъ тогда Мицкевичъ своему пріятелю: «какъ сильно вліяетъ народная поэзія». Описывая неподражаемыми стихами сборъ грибовъ, поэтъ объясняетъ ихъ значеніе по народнымъ представленіямъ:

„chłopcy biorą krasnolice
Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice,
Co są godłem panieństwa: bo czerw ich nie zjada.
Panienki za wysmukłym gonią borowikiem,
Którego pieśń nazywa grzybów półkownikiem".

(Парни берутъ краснолицыя лисички, столь прославленныя въ литовскихъ пѣсняхъ, что достойно господъ, ибо червь ихъ не съѣдаетъ. Барышни гонятся за смуглымъ боровикомъ, котораго пѣсня называетъ полковникомъ грибовъ).

VIII.

Въ началѣ нашей работы указаны были причины, почему русскій поэтъ обратилъ меньше вниманія, чѣмъ польскій, на содержаніе народной поэзіи. Помимо этихъ соображеній, касающихся характеровъ обоихъ поэтовъ и условій историческихъ, важную роль играетъ то обстоятельство, что Пушкинъ не зналъ нѣмецкаго языка, и что поэтому вліяніе на него нѣмецкаго романтизма было косвенное, главнымъ образомъ черезъ Жуковскаго. Мицкевичъ же читалъ въ подлинникѣ произведенія нѣмецкихъ романтиковъ, гдѣ раскрытіе внутренняго содержанія народныхъ повѣрій составляло серьезную задачу. Не меньшую роль играетъ и то, что польскому романтизму приходилось выдерживать болѣе значительную борьбу съ ложноклассицизмомъ, чѣмъ романтизму—въ Россіи [1]). Мицкевичъ въ борьбѣ

[1]) Однако западному вліянію нельзя приписывать рѣшающаго значенія, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые критики.

съ классиками, осмѣивавшими народныя повѣрія, быть можетъ, доходилъ до чрезмѣрнаго увлеченія, но онъ все-таки вышелъ побѣдителемъ, раскрывши дѣйствительное значеніе народной поэзіи. Онъ не нагромождалъ произвольно всякія чудеса и всякую чертовщину въ свои баллады: въ его объединеніи народныхъ сюжетовъ—строгій планъ и обдуманность. Мицкевича нельзя сравнивать съ Жуковскимъ. Въ то время какъ послѣдній даже въ оригинальныхъ произведеніяхъ черпалъ матеріалъ изъ западныхъ источниковъ, польскій поэтъ излагалъ только родныя пѣсни, слышанныя имъ лично. Въ своей ранней балладѣ «Романтизмъ» Мицкевичъ говоритъ: «чувство и вѣра сильнѣе ко мнѣ говорятъ, чѣмъ стеклышко и глазъ мудреца». Въ этихъ словахъ—источникъ романтизма поэта. Отсутствіе вѣры и чувства создало ложно-классическую ходульную и салонную эстетику, привившуюся въ Польшѣ при благопріятныхъ для этого условіяхъ—шляхетскомъ аристократизмѣ и порабощеніи народа. Здѣсь не было мѣста общественнымъ запросамъ, не было мѣста идеямъ братской любви и помощи, которыя такъ горячо проповѣдывалъ вдохновенный поэтъ. Въ балладѣ «Poras w upiście» Мицкевичъ бросаетъ вызовъ скептикамъ, отрицающимъ значеніе народной поэзіи. «Что же такое народныя сказанія?» спрашиваетъ онъ: «Пепелъ, въ которомъ тлѣетъ едва только искра правды; гіероглифъ, украшающій поросшіе мхомъ камни; надпись, значеніе которой исчезло; отголосокъ славы, раздающійся черезъ океаны лѣтъ, отголосокъ, разбитый о выдумки, сломанный о лживыя преданія, достойный только смѣха ученыхъ? Но прежде чѣмъ я засмѣюсь, пусть скажетъ ученый, что такое наши сказанія». Вполнѣ справедливъ былъ, по нашему мнѣнію, Мицкевичъ, бросая этотъ вызовъ, такъ какъ избранная имъ область изслѣдованія требовала философскаго анализа, основаннаго не на внѣшнемъ опытѣ, а на идеалистическомъ умозрѣніи. На поставленный вопросъ: «что такое народныя сказанія»? поэтъ далъ блестящій отвѣтъ. Онъ показалъ намъ, что народъ заключилъ въ нихъ «пряжу своихъ мыслей и цвѣты своихъ чувствъ», показалъ намъ это не при помощи «стеклышка и глаза мудреца», а при помощи чуткаго любящаго народъ сердца и глубокой мысли.

Подобно тому, какъ Пушкинъ мечталъ увидѣть «народъ освобожденный» и надѣялся, что имя его будетъ извѣстно «по всей Руси

великой» за то, что онъ «воспѣлъ свободу» и «милость къ падшимъ призывалъ», такъ и Мицкевичъ страстно желалъ дожить «до той радости», когда его книги распространятся въ сельскихъ избахъ, «когда крестьянки возьмутъ въ руки (его) книги, простыя, какъ ихъ пѣсни». Оба народныхъ пѣвца получатъ достойную благодарность потомства только тогда, когда сбудутся эти желанія, и поэзія ихъ дойдетъ

„До тѣхъ низинъ и уголковъ,
Гдѣ нынѣ меркнутъ умъ и чувство
Безъ яркихъ грезъ, безъ дивныхъ сновъ
Животворящаго искусства. “

И. Эйзенбетъ.

„Критико-библіографическій обзоръ Пушкинской юбилейной литературы 1899 г.“

Выпуская въ свѣтъ настоящую статью, мы должны оговориться, что по многимъ причинамъ мы не могли исчерпать всего, имѣющагося въ нашей литературѣ, матеріала, появившагося въ печати за юбилейный годъ и посвященнаго выясненію взглядовъ, трудовъ и фактовъ жизни великаго поэта.

Въ своемъ обзорѣ мы не коснулись перваго тома Академическаго изданія по той причинѣ, что этому изданію возможно или посвятить отдѣльное большое изслѣдованіе или вовсе не касаться его. Но и кромѣ монументальнаго Академическаго изданія, не вся новѣйшая Пушкинская литература разработана нами. Этому помѣшали слѣдующія причины: 1) слишкомъ короткое время, протекшее со времени выхода большинства книгъ и брошюръ до изданія этого сборника [1]), 2) разнообразные труды все продолжаютъ и продолжаютъ появляться и полный обзоръ юбилейной литературы едва ли скоро будетъ возможенъ, 3) нѣкоторыя книги (напр., вышедшія въ Сибири) не всегда возможно своевременно получить.

Насколько намъ извѣстно, Пушкинская литература прошлаго года заключаетъ въ себѣ до 200 отдѣльныхъ книгъ, не считая массы статей въ журналахъ, газетахъ и, вообще, повременныхъ изданіяхъ. Вышедшія книги распадаются на 4 отдѣла: 1) научныя и критическія, 2) художественныя и музыкальныя, 3) различные сборники статей, имѣющихъ отношеніе къ Пушкину, 4) новыя изданія сочиненій поэта. На долю 1-го и 3-го отдѣловъ изъ этого числа достается до

[1]) Настоящая статья окончена 6 декабря 1899 года.

120 книгъ, часть которыхъ является перепечатками вышедшихъ до 1899 года.

Эти-то отдѣлы мы и разсматривали главнымъ образомъ (за исключеніемъ старыхъ книгъ, вновь изданныхъ) въ своемъ обзорѣ.

Въ концѣ мы сочли не лишнимъ помѣстить возможно полное перечисленіе всѣхъ книгъ, имѣющихъ отношеніе къ Пушкину и вышедшихъ въ 1899 г. [1]).

Въ заключеніе, позволяемъ себѣ выразить глубокую благодарность за любезное содѣйствіе своими указаніями при составленіи настоящей статьи проф. Александру Ивановичу Кирпичникову, а также завѣдующему университетской библіотекою Дмитрію Дмитріевичу Языкову, а въ его лицѣ и всѣмъ служащимъ въ библіотекѣ.

Пушкинъ. — Біографическіе матеріалы и историко-литературные очерки.—Л. Майковъ.

Предлагаемый сборникъ заключаетъ въ себѣ рядъ статей о Пушкинѣ—біографическаго и историко-литературнаго содержанія. Акад. Майковъ помѣстилъ сюда всѣ тѣ матеріалы, которые не будутъ цѣликомъ включены въ академическое жизнеописаніе Пушкина. Часть этихъ матеріаловъ уже была напечатана, какъ въ различныхъ журналахъ, такъ и въ книгѣ самого автора, вышедшей въ 1895 году, часть появляется въ печати впервые [2]).

Въ сборникѣ помѣщено 13 статей, на которыхъ мы и остановимся послѣдовательно.

I. Первая статья—«Молодость Пушкина по разсказамъ его брата» была уже помѣщена послѣ смерти Льва Сергѣевича въ «Москвитянинѣ», въ 1853 г. Статья очень коротка и обнимаетъ періодъ времени отъ рожденія поэта до возвращенія его въ Москву въ 1826 г. Извѣстно, что Левъ Сергѣевичъ былъ моложе брата 5-ю годами. Въ силу этого онъ не могъ, конечно, помнить жизни своего маленькаго брата въ кругу семейства, а также и поступленія его въ лицей. Поэтому событія до выхода послѣдняго изъ лицея разсказаны, очевидно, съ чужихъ словъ и очень кратко. Такою же почти крат-

---

[1]) Опущены только музыкальныя произведенія на Пушкинскій текстъ и изданія отдѣльныхъ сочиненій.

[2]) Статьи, вошедшія сюда изъ книги Майкова 1895 г., отмѣчены у насъ.

костью отличаются и дальнѣйшія воспоминанія. Еще при первомъ выходѣ въ свѣтъ этого «Біографическаго извѣстія» въ 1853 году, Гаевскій въ 89 томѣ «Отечественныхъ Записокъ» подвергъ строгой критикѣ его хронологическія указанія и, дѣйствительно нашелъ, разные промахи, упоминаемые и Майковымъ. Однако, среди этихъ промаховъ мы не нашли пропуска извѣстія о посѣщеніи Пушкина въ Михайловскомъ его другомъ И. И. Пущинымъ: Л. С. ничего не упоминаетъ объ этомъ событіи.

Дальнѣйшую часть статьи Л. Майковъ посвящаетъ біографіи и характеристикѣ Л. С. По этой характеристикѣ интересно прослѣдить общія черты въ характерахъ обоихъ братьевъ. Оба отличались крайней безалаберностью, полнымъ неумѣненіемъ вести свои денежныя дѣла, безразсудной храбростью, добрымъ сердцемъ. Оба всю жизнь сохранили эпикурейскіе взгляды въ лучшемъ значеніи этого слова, но характерно для того и другого выраженіе этихъ взглядовъ. Свѣтлый взглядъ поэта на міръ отразился въ чудныхъ стихахъ извѣстной элегіи:

„И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять".

Л. С., умирая, съ улыбкою повторялъ: «Не пить мнѣ болѣе кахетинскаго!»

Въ концѣ статьи приложено извлеченіе изъ формулярнаго списка Л. С. Пушкина.

II. «Записка И. И. Пущина о Пушкинѣ».

Эти интересныя записки впервые были напечатаны еще въ 1859 году въ «Атенеѣ», печатались и потомъ нѣсколько разъ, но съ значительными пропусками, а цѣликомъ въ первый разъ были помѣщены В. Е. Якушкинымъ въ «Сѣверномъ краѣ» за 1899 годъ. Л. Майковъ пользуется рукописью Якушкина и потому въ содержаніи записокъ нѣтъ ничего новаго въ сравненіи съ текстомъ, напечатаннымъ въ вышеупомянутой Ярославской газетѣ.

Въ послѣсловіи Майкова къ этимъ запискамъ не указано, на

что собственно заключаютъ въ себѣ намекъ слѣдующія строки Пушкина, посвященныя Пущину:

„Ты освятилъ тобой избранный санъ,
Ему въ очахъ общественнаго мнѣнья
Завоевавъ почтеніе гражданъ".

Это—намекъ на осужденіе за убійство судьею Пущинымъ композитора Алябьева, несмотря на могущественную протекцію послѣдняго. Въ эпоху дореформеннаго суда это, дѣйствительно, былъ подвигъ.

Замѣтимъ кстати, что Майковъ невѣрно датируетъ смерть И. И. Пущина: онъ умеръ 3-го апрѣля 1859 г., а не 58 года.

III*. «Бессарбскія воспоминанія Вельтмана и его знакомство съ Пушкинымъ» [1]).

Ал. Ѳом. Вельтманъ, имя котораго нынѣ совсѣмъ позабыто, въ свое время (1820—1850) былъ небезызвѣстный писатель, писавшій фантастическія повѣствованія, какъ изъ современной жизни, такъ и изъ баснословнаго періода русской исторіи. Пописывалъ онъ и стихи, что отчасти и было причиной знакомства его съ Пушкинымъ въ Кишиневѣ. Позже они встрѣчались въ Москвѣ.

Главное значеніе воспоминаній Вельтмана заключается въ основной ихъ мысли о плодотворномъ вліяніи условій бессарабской жизни на творчество Пушкина. «Многое въ Бессарабіи», говоритъ Майковъ, «обращало на себя вниманіе Пушкина, дѣйствовало на его воображеніе и такъ или иначе питало его творчество. Эту таинственную связь между личностью поэта и краемъ, куда онъ попалъ, Вельтманъ угадалъ съ большою проницательностью и потому его статья представляетъ хорошій матеріалъ для исторіи жизни и творчества Пушкина въ періодъ его пребыванія въ Кишиневѣ». Встрѣчаются въ воспоминаніяхъ и нѣкоторыя неточности (напр., о службѣ Батюшкова въ Кишиневѣ, стр. 120), нѣкоторыя невѣрныя предположенія (исторія происхожденія поэмы «Братья-разбойники», стр. 127), но въ общемъ, это—цѣнный матеріалъ для будущей полной біографіи поэта.

IV*. Изъ сношеній Пушкина съ Н. Н. Раевскимъ».

---

[1]) Извлеченія изъ этой статьи были напечатаны въ В. Евр. 1881 г., III.

Извѣстно, что однимъ изъ ближайшихъ друзей поэта былъ Ник. Ник. Раевскій, младшій сынъ знаменитаго ветерана 12 года ген. Раевскаго. Въ перепискѣ Пушкина встрѣчаются указанія на постоянный письменный обмѣнъ мнѣній между друзьями, но къ несчастью, отъ этой переписки осталось всего 2 письма Раевскаго. Одно изъ нихъ было напечатано въ 1881 г. Бартеневымъ, а другое, найденное въ бумагахъ Анненкова, впервые напечаталъ въ своемъ сборникѣ 1895 года Л. Майковъ. Весьма интересное письмо, показывающее, сколько значенія придавалъ Пушкинъ литературнымъ совѣтамъ своего друга.

V. «А. Н. Вульфъ и его дневникъ».

Этотъ интересный дневникъ впервые появился въ печати въ «Русской Старинѣ», въ февральской и слѣдующихъ книгахъ 99 года.

Дневникъ обнимаетъ періодъ времени съ 27-го по 42-й годъ, но велся онъ съ большими пропусками: такъ, нѣтъ никакихъ записей съ 36-го по 41-й годъ. Несмотря на это, онъ заключаетъ въ себѣ много интереснаго, какъ для характеристики автора, такъ и по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ объ Ал. и Львѣ Пушкиныхъ и объ окружавшей ихъ средѣ. Какъ извѣстно, къ этому Вульфу относятся слѣдующія лестныя строки въ замѣткахъ Пушкина: «Въ концѣ 1825 г. я часто видѣлся съ однимъ дерптскимъ студентомъ... онъ много зналъ, чему научаются въ университетахъ... Его занимали такіе предметы, о которыхъ я и не помышлялъ»... Такая характеристика подтверждается общимъ тономъ дневника: живое отношеніе къ умственнымъ интересамъ никогда не покидало автора. Всю свою жизнь онъ дѣятельно слѣдилъ за литературой, много читалъ, собралъ хорошую библіотеку. Въ его дневникѣ встрѣчаются пространныя разсужденія о воспитаніи, о русско-польской политикѣ и т. п. Немного странно его замѣчаніе объ атеизмѣ: онъ разсказываетъ, что читалъ одно французское сочиненіе, въ которомъ доказывается существованіе Божіе «въ чемъ, однако, еще никто, кажется, и не сомнѣвался» прибавляетъ онъ. Мнѣніе странное, хотя бы по извѣстному эпизоду съ Пушкинымъ, котораго (эпизода онъ не могъ не знать. Пушкинъ за свой «атеизмъ» былъ сосланъ въ Михайловское въ 1824 году, а эта замѣтка писана въ 34.

Нѣтъ также ни одного намека на замышлявшееся бѣгство Пушкина за границу черезъ Дерптъ съ помощью Вульфа.

Извѣстны стихи Языкова въ посланіи къ П. А. Осиповой:

„На ворономъ аргамакѣ,
Заморской шляпою покрытый,
Спѣша въ Тригорское, одинъ —
Вольтеръ и Гёте и Расинъ,
Являлся Пушкинъ знаменитый".

Вульфъ утверждаетъ, что на самомъ дѣлѣ никакого аргамака не было, а была самая прозаическая кляча. Также отвергаетъ Вульфъ и сообщеніе И. И. Пущина, что Пушкинъ въ Михайловскомъ находился подъ духовнымъ надзоромъ. Онъ говоритъ, что посѣщенія монаха Іоны были случайными.

Вотъ главные интересные пункты записей и воспоминаній Вульфа.

VI*. «Воспоминанія А. П. Кернъ».

Всѣ воспоминанія А. П. Кернъ были напечатаны въ различныхъ журналахъ еще при ея жизни. Л. Майковъ прибавилъ только нѣкоторыя неизданныя письма ея къ Анненкову. При тѣхъ частыхъ встрѣчахъ, которыя происходили у Кернъ съ поэтомъ, можно было ожидать болѣе содержательнаго матеріала и интересныхъ подробностей въ характеристикѣ поэта. Во всѣхъ ея воспоминаніяхъ слишкомъ выступаетъ впередъ личность автора.

VII. «Князь Вяземскій и Пушкинъ объ Озеровѣ».

(По матеріаламъ Остафьевскаго архива). Еще въ только начатыхъ изданіемъ бумагахъ Остафьевскаго архива князя П. А. Вяземскаго отыскался замѣчательный документъ, имѣющій отношеніе къ его критико-біографическому этюда объ Озеровѣ, написанному въ 1816 году, въ годъ смерти трагика. Опираясь на образцы, завѣщанные французской ложноклассической литературой и критикой, авторъ сравниваетъ Озерова съ Карамзинымъ и признаетъ ихъ заслуги одинаково важными для россійской литературы. «Оба, говоритъ онъ, оставили между собой и предшественниками своими великое разстояніе». Уже въ 28 году Вяземскій счелъ нужнымъ сдѣлать къ своей статьѣ прибавку слѣдующаго содержанія: «Кн. Вяземскій, будучи тогда, въ годъ смерти Озерова, 24 лѣтъ, написалъ помѣщаемую здѣсь біографію нашего трагика. Каковы бы ни были теперь мнѣнія автора о драматической поэзіи, его замѣчанія драго-

цѣнны, какъ первыя движенія чувствительности»... Изъ этого добавленія видно, что критическій вкусъ Вяземскаго успѣлъ измѣниться за протекшія 12 лѣтъ. На основаніи нижеслѣдующихъ данныхъ мы имѣемъ полное основаніе предполагать, что этому измѣненію не мало способствовали критическіе взгляды Пушкина.

Въ вышеупомянутыхъ архивныхъ бумагахъ имѣется печатный (1816 года) экземпляръ статьи Вяземскаго съ проложенными бѣлыми листами (на нихъ водяной знакъ 1825 г.), на которыхъ, равно какъ и на поляхъ печатнаго текста, находится рядъ критическихъ замѣтокъ, какъ о статьѣ Вяземскаго, такъ и о самомъ Озеровѣ. «Замѣтки эти принадлежатъ А. С. Пушкину»—говоритъ Майковъ. Къ сожалѣнію, почтенный академикъ не указываетъ, на чемъ онъ основываетъ свое мнѣніе: имѣется ли гдѣ-нибудь подпись поэта или это заключеніе основано на почеркѣ и на слогѣ и характерѣ самыхъ замѣтокъ [1]). Эти замѣтки очень интересны, какъ для болѣе полной характеристики литературныхъ взглядовъ поэта, такъ и по требованіямъ, предъявляемымъ имъ къ литературному слогу.

Пушкинъ былъ невысокаго мнѣнія объ Озеровѣ, что извѣстно изъ его наброска «О драмѣ» (1830 г.). Между прочимъ Вяземскій высказалъ мнѣніе, что «Эдипъ въ Аѳинахъ» поставилъ Озерова на степень первѣйшаго нашего трагика. Пушкинъ подчеркиваетъ слово «первѣйшій» и сбоку приписываетъ:

„Въ Москвѣ считался знаменитымъ
Затѣмъ, что былъ одинъ“.

Въ особенности интересны замѣчанія Пушкина о слогѣ этого произведенія Вяземскаго: Пушкинъ предъявляетъ тѣ же требованія, которыя еще 17-ти лѣтъ выразилъ въ юмористическомъ «Желаніи»:

„Да не воскреснутъ отъ забвенья
. . . . . .
И всѣ, которые на свѣтѣ
Писали слишкомъ мудрено
То-есть и хладно и темно,
Что очень стыдно и грѣшно“.

---

[1]) Заключеніе о принадлежности замѣтокъ Пушкину основано на почеркѣ. Д. Щ.

«Да говори ты просто: ты довольно умен для этого!»—восклицаетъ Пушкинъ, встрѣтивъ въ статьѣ объ Озеровѣ слѣдующую фразу: «Изъ нашихъ драматическихъ твореній всякое болѣе или менѣе ознаменовано печатью отверженія, наложеннаго на нашъ театръ рукою Таліи и Мельпомены». На другой страницѣ той же статьи Пушкинъ прочелъ: «Главнымъ свойствомъ его сердца была любовь къ друзьямъ» и спѣшитъ замѣтить: «Любовь къ друзьямъ» по русски—дружба, не свойство, а страсть развѣ». Нѣкоторыя неудачныя выраженія онъ просто зачеркиваетъ и замѣняетъ своею поправкою. Такъ, напр., противъ словъ: «И совсѣмъ поглотила его бездна забвенія»—онъ пишетъ: «И совсѣмъ его забыли (и проще и лучше)». Изрѣдка дѣлаетъ онъ замѣтки: «хорошо», «прекрасно», но и тутъ дѣло не всегда обходится безъ поправки: такъ, выраженіе Вяземскаго: «въ льдистомъ сосудѣ» понравилось поэту, но тутъ же онъ предлагаетъ и исправленіе: «Не въ ледяномъ ли?»

Итакъ, въ этихъ краткихъ замѣткахъ ясно выступаютъ взгляды Пушкина на слогъ и его отношеніе къ остаткамъ русской ложноклассической поэзіи.

VIII* Пушкинъ о Батюшковѣ.

Л. Майковъ при помощи П. И. Бартенева получилъ отъ одного изъ потомковъ Пушкина экземпляръ «Опытовъ» Батюшкова съ многочисленными замѣтками Александра Сергѣевича. Замѣтки, повидимости, относятся къ періоду 26—28 гг., т. е. ко времени полнаго расцвѣта таланта поэта и потому представляютъ крупный интересъ, уясняя намъ взглядъ поэта на своего предшественника и, отчасти, учителя въ области антологическаго творчества. Похвалы и порицанія перемѣшиваются между собою; но надо отмѣтить, что первыя достаются главнымъ образомъ художественной техникѣ стиховъ, въ то время, какъ вторыя выпадаютъ на долю содержанія лирики Батюшкова. Пушкинъ считаетъ ее скудной. Есть весьма любопытныя замѣчанія: такъ, напр., къ стиху:

„Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ жнеца“...
(Элегія „Выздоровленіе“).

Пушкинъ приписываетъ: «Не подъ серпомъ, а подъ косою: ландышъ растетъ въ лугахъ и рощахъ,—а не на поляхъ засѣянныхъ».

Отсюда видно, какое значеніе придавалъ Пушкинъ точности и отдѣлкѣ выраженій. На страницахъ 296 и 298-ой мы нашли у Майкова нѣкоторое противорѣчіе. Такъ, на стр. 296-ой, по поводу стиховъ Батюшкова:

„Онѣ предъ образомъ, конечно,
Затеплятъ чистую свѣчу
За чье здоровье—умолчу:
Ты угадаешь, другъ сердечный!“

(къ А. И. Тургеневу).

имѣется выписка изъ замѣтокъ Пушкина: «Я не угадаю; если за здоровье Тургенева, то это плоско; если нѣтъ, такъ изъяснись. Охота печатать всякій вздоръ! Батюшковъ не виноватъ». «Изъ послѣднихъ словъ надобно заключить», говоритъ Майковъ «что Пушкинъ приписывалъ редакцію «Опытовъ» не самому автору, а Гнѣдичу; на самомъ же дѣлѣ послѣдній былъ только издателемъ и печаталъ сборникъ по рукописи, доставленной Батюшковымъ». На стран. 298-ой Майковъ по поводу плохого отзыва Пушкина о «Монгольской баснѣ» Батюшкова говоритъ: «Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что эта піеса, написанная еще въ 1808 г., была включена въ «Опыты» противъ воли автора, по желанію Гнѣдича». Оказывается, что стихотворенія Батюшкова печатались не вполнѣ строго сообразуясь съ рукописью и, слѣдовательно, восклицаніе Пушкина было совершенно правильно.

IX* «Воспоминанія Шевырева о Пушкинѣ».

Записки Шевырева извлечены изъ бумагъ Анненкова, который придавалъ этимъ замѣткамъ большую цѣну.

Извѣстно, что Шевыревъ сотрудничалъ съ Пушкинымъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» и около времени основанія этого журнала (конецъ 1826 г.) и состоялось ихъ знакомство [1]), которое, впрочемъ, никогда не было особенно близкимъ. Тѣмъ не менѣе, воспоминанія Шевырева затрогиваютъ, хотя и кратко, дѣтство и отрочество поэта, вѣроятно, на основаніи разсказовъ лицъ, близкихъ къ Пушкину. Но этотъ отдѣлъ записокъ не имѣетъ цѣнности: часть свѣдѣній общеизвѣстна, а часть сомнительна (напр., анекдотъ о вопросѣ имп. Александра: «Кто здѣсь первый?»), часть же прямо

[1]) По мнѣнію М. Веневитинова, 17 сент. 1826 г. См. Р. Вѣд. № 143. 1899 г.

невѣрна: Шевыревъ, напр., утверждаетъ, что Евгеній Онѣгинъ былъ начатъ Пушкинымъ еще въ Петербургѣ. Дальнѣйшее содержаніе записокъ касается главнымъ образомъ пребыванія Пушкина въ Москвѣ и его участія въ Московскомъ Вѣстникѣ.

X «Знакомство Пушкина съ семействомъ Ушаковыхъ (1826—1830)».

Матеріалъ для этой интересной, еще нигдѣ не напечатанной, статьи полученъ Майковымъ изъ семейнаго архива Киселевыхъ, за однимъ изъ которыхъ (Серг. Дм.) была замужемъ младшая Ушакова (Елиз. Ник.). Пушкинъ познакомился съ семействомъ Ушаковыхъ, состоявшимъ изъ отца, матери, двухъ дочерей и трехъ сыновей, вскорѣ послѣ пріѣзда въ Москву изъ Михайловскаго въ 1826 г. Извѣстно, что старшая Ушакова была симпатіей поэта до увлеченія имъ Ан. Ал. Олениной: онъ бывалъ у Ушаковыхъ 2—3 раза въ день. По обычаю того времени Екатерина Николаевна и Елизавета Ник. имѣли свои альбомы, въ которые знакомые писали свои стихи. Къ сожалѣнію, сохранился только одинъ альбомъ Елиз. Ник., а вмѣсто сожженнаго альбома старшей сестры остались только 2 ея собственноручныя копіи съ бывшихъ тамъ стихотвореній Пушкина:

„Когда, бывало, въ старину
Являлся духъ иль привидѣнье,
То прогоняло сатану
Простое это изреченье:
Аминь, аминь, разсыпься“ и т. д.
„Въ отдаленіи отъ Васъ
Съ Вами буду неразлученъ“... и т. д.

Въ печатныхъ изданіяхъ 4-ый стихъ перваго стихотворенія до сихъ поръ читается «Пустое это изреченье». Очевидно, что правильнѣе и по формѣ и по смыслу читать «простое».

Затѣмъ въ послѣднихъ стихахъ того же стихотворенія:

„Я содрогаюсь предъ тобою
И сердцу, полному мечтою,
Аминь, аминь, разсыпься! говорю“.

До сихъ поръ читалось: «И сердца пылкаго мечтою»... Новое чтеніе даетъ лучшій смыслъ.

Второе стихотвореніе, согласно заглавію, данному самой Ек. Ник. «Экспромтъ при отъѣздѣ на Кавказъ», обыкновенно относи-

лось издателями къ 1829 году. Но въ спискѣ подъ стихами стоитъ дата «16 мая 1827 г.». Выходитъ какъ бы противорѣчіе, но оно устраняется тѣмъ соображеніемъ, что о поѣздкѣ на Кавказъ Пушкинъ началъ думать еще за 2 года до того, какъ совершилъ ее.

Третье стихотвореніе Пушкина, имѣющіе отношеніе къ Ушаковымъ:

„Вы избалованы природой,
Она пристрастна къ Вамъ была
И наша вѣчная хвала
Вамъ кажется докучной одой"...

написано въ альбомъ Елиз. Ник., но отъ этого альбома (№ 2020) уцѣлѣли только 2 листика. 4-ое стихотвореніе, къ Екат. Ник. «Отвѣтъ» («Я Васъ узналъ, о мой оракулъ...») при самомъ появленіи было напечатано въ «Литературной Газетѣ» янв. 1830 г.

Кромѣ этихъ стихотвореній, уцѣлѣвшій альбомъ Елиз. Ник. весь разрисованъ пушкинскими карикатурами и набросками. Главной темой служила любовь Елиз. Н. къ Серг. Дм. Киселеву, будущему ея мужу. Есть шуточные наброски автобіографическаго характера. Здѣсь помѣщено извѣстное изображеніе поэта верхомъ на лошади, въ буркѣ и въ круглой шляпѣ, съ пикой наперевѣсъ; видъ восточнаго города съ подписью «Арзрумъ, взятый помощью Божіей и молитвами Екатерины Николаевны 27-го іюня 1829 г. отъ Р. Хр.». Въ этомъ же альбомъ Пушкинымъ собственноручно написаны имена женщинъ, которыми онъ увлекался: списокъ заключается «Екатериной IV» (Екат. Ушакова), «Анной» (А. А. Оленина) и, наконецъ, «Наталіей» (Гончарова) [1]).

XI* «О поѣздкѣ Пушкина на Кавказъ въ 1829 г.».

Содержаніе этой статьи—записка декабриста Мих. Ив. Пущина о встрѣчѣ съ Пушкинымъ за Кавказомъ въ 1829 г.

Мих. Ив. Пущинъ, бывшій командиромъ лейбъ-гвардейскаго конно-піонернаго батальона, за дѣло 14 дек. былъ сосланъ въ Сибирь, но вскорѣ переведенъ рядовымъ на Кавказъ, гдѣ и принималъ участіе въ персидской и турецкой кампаніяхъ въ 1827—29 гг.,

[1]) Этотъ списокъ воспроизведенъ въ альбомѣ Московской пушкинской выставки 1880 г.

скорѣе, какъ генералъ, чѣмъ какъ простой солдатъ, какимъ онъ собственно былъ послѣ разжалованія. Мих. Пущинъ, вѣроятно, былъ знакомъ съ поэтомъ еще по Петербургу въ 1817—20 гг. и на Кавказѣ, среди боевой жизни, это знакомство еще усилилось.

Пущинъ оставилъ собственноручную записку о пребываніи Пушкина на Кавказѣ, которая и напечатана у Майкова. Пущинъ свидѣтельствуетъ о воинственномъ энтузіазмѣ поэта, котораго, впрочемъ, ему по обстоятельствамъ дѣла не пришлось проявить, а также о его столь сильной страсти къ карточной игрѣ, что автору пришлось взять съ Пушкина слово, что онъ не будетъ играть во время совмѣстнаго ихъ возвращенія съ Кавказа съ третьимъ ихъ спутникомъ, офицеромъ Дороховымъ.

Этимъ собственно и ограничивается характеристика поэта.

XII. «Наталья Кирилловна Загряжская».

Очень живо набросанный эскизъ одной изъ замѣчательнѣйшихъ представительницъ «большого свѣта» конца восемнадцатаго и начала девятнадцатаго вѣковъ. Впрочемъ, такое опредѣленіе неточно: Загряжская прожила 90 лѣтъ (род. 1747 г., ум. 1837 г.) и пережила 6 царствованій, все время принимая самое живое участіе въ придворной жизни. Къ Пушкину она имѣетъ отношеніе по тѣмъ историческимъ анекдотамъ, которые записаны имъ подъ рубрикой: «Разговоры Н. К. Загряжской». Поэтъ сначала посѣщалъ этотъ обломокъ 18-го вѣка вѣроятно въ качествѣ будущаго родственника (Нат. Н. Гончарова доводилась ей племянницей), а потомъ, привлекаемый ею, какъ живымъ историческимъ памятникомъ.

XIII* «Пушкинъ и Даль» (Казакъ Луганскій).

Знакомство Пушкина съ Далемъ было кратковременно. Встрѣчи ихъ ограничивались началомъ 32-го года и послѣдними днями передъ кончиной поэта. Еще видѣлись они въ теченіе 5-ти дней въ 1833-мъ году, когда Пушкинъ предпринялъ путешествіе въ восточную Россію для осмотра мѣстностей, гдѣ происходилъ Пугачевскій бунтъ. Несмотря на непостоянность сношеній Пушкина съ Далемъ, послѣдній сохранилъ о немъ благодарное воспоминаніе и, 7 лѣтъ спустя послѣ его смерти, написалъ разсказъ о своемъ знакомствѣ съ нимъ. По этой рукописи, принадлежавшей Анненкову, и печатаетъ Майковъ «Воспоминанія о Пушкинѣ» Даля, болѣе извѣстнаго

подъ псевдонимомъ казака Луганскаго. Воспоминанія относятся къ посѣщенію Пушкинымъ Оренбурга для собиранія историческихъ и этнографическихъ матеріаловъ. Пушкинъ и Даль ѣздили изъ Оренбурга въ станицу Берды, бывшую резиденцію Пугачева, гдѣ они нашли 75-лѣтнюю казачку, которая передавала имъ свои воспоминанія и пѣла пугачевскія пѣсни. Пушкинъ далъ ей червонецъ, что въ связи съ длинными его ногтями произвело не малое смятеніе среди мѣстнаго населенія. Нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ и пѣсенъ вошли въ «Исторію Пугачевскаго бунта» и въ «Капитанскую дочку». Пушкинъ и Даль оба весьма интересовались народнымъ языкомъ и бытомъ, записывали изъ устъ народа пѣсни и сказки и плоды этихъ наблюденій вносили въ свои произведенія. Это—ихъ общая черта, это ихъ и сблизило. И тому и другому пришлось выслушать не мало укоровъ за свои новшества отъ литературныхъ старовѣровъ.

Интересны строки воспоминаній, касающіяся взгляда Пушкина на свою молодость: ...«Вы не знали меня въ молодости, каковъ я былъ; я не такъ жилъ, какъ жить бы должно; бурный небосклонъ позади меня, какъ оглянусь я»... Эти слова указываютъ, насколько хорошо самъ Пушкинъ сознавалъ, что много ему было дано, но мало еще сдѣлано. «О, вы увидите, я много еще сдѣлаю!» сказалъ онъ Далю.

Къ книгѣ Майкова приложенъ указатель именъ.

Какъ можно видѣть изъ этого краткаго обзора содержанія книги, Л. Майковъ своимъ сочиненіемъ значительно обогатилъ нашу историко-біографическую литературу о Пушкинѣ. Многіе неизданные матеріалы, имѣющіе то или иное значеніе для возможно полнаго нашего представленія о жизни и произведеніяхъ поэта, впервые нашли себѣ мѣсто въ печати. Среди всей пушкинской литературы, ознаменовавшей столѣтіе рожденія великаго поэта, книгѣ Майкова, безспорно, принадлежитъ первое мѣсто.

Къ біографіи Пушкина.—Матеріалы изъ архивовъ и др. малоизвѣстныхъ источниковъ.—Н. Невзорова.

Здѣсь помѣщены: Копія съ брачнаго обыска, метрическая копія о смерти Пушкина, выдержки изъ современной печати по поводу смерти Пушкина, копія съ дѣла по прошенію вдовы поэта о выдачѣ ей метрическаго свидѣтельства о рожденіи дѣтей. Въ особенности

скорѣе, какъ генералъ, чѣмъ какъ простой солдатъ, какимъ онъ собственно былъ послѣ разжалованія. Мих. Пущинъ, вѣроятно, былъ знакомъ съ поэтомъ еще по Петербургу въ 1817—20 гг. и на Кавказѣ, среди боевой жизни, это знакомство еще усилилось.

Пущинъ оставилъ собственноручную записку о пребываніи Пушкина на Кавказѣ, которая и напечатана у Майкова. Пущинъ свидѣтельствуетъ о воинственномъ энтузіазмѣ поэта, котораго, впрочемъ, ему по обстоятельствамъ дѣла не пришлось проявить, а также о его столь сильной страсти къ карточной игрѣ, что автору пришлось взять съ Пушкина слово, что онъ не будетъ играть во время совмѣстнаго ихъ возвращенія съ Кавказа съ третьимъ ихъ спутникомъ, офицеромъ Дороховымъ.

Этимъ собственно и ограничивается характеристика поэта.

XII. «Наталья Кирилловна Загряжская».

Очень живо набросанный эскизъ одной изъ замѣчательнѣйшихъ представительницъ «большого свѣта» конца восемнадцатаго и начала девятнадцатаго вѣковъ. Впрочемъ, такое опредѣленіе неточно: Загряжская прожила 90 лѣтъ (род. 1747 г., ум. 1837 г.) и пережила 6 царствованій, все время принимая самое живое участіе въ придворной жизни. Къ Пушкину она имѣетъ отношеніе по тѣмъ историческимъ анекдотамъ, которые записаны имъ подъ рубрикой: «Разговоры Н. К. Загряжской». Поэтъ сначала посѣщалъ этотъ обломокъ 18-го вѣка вѣроятно въ качествѣ будущаго родственника (Нат. Н. Гончарова доводилась ей племянницей), а потомъ, привлекаемый ею, какъ живымъ историческимъ памятникомъ.

XIII* «Пушкинъ и Даль» (Казакъ Луганскій).

Знакомство Пушкина съ Далемъ было кратковременно. Встрѣчи ихъ ограничивались началомъ 32-го года и послѣдними днями передъ кончиной поэта. Еще видѣлись они въ теченіе 5-ти дней въ 1833-мъ году, когда Пушкинъ предпринялъ путешествіе въ восточную Россію для осмотра мѣстностей, гдѣ происходилъ Пугачевскій бунтъ. Несмотря на непостоянность сношеній Пушкина съ Далемъ, послѣдній сохранилъ о немъ благодарное воспоминаніе и, 7 лѣтъ спустя послѣ его смерти, написалъ разсказъ о своемъ знакомствѣ съ нимъ. По этой рукописи, принадлежавшей Анненкову, и печатаетъ Майковъ «Воспоминанія о Пушкинѣ» Даля, болѣе извѣстнаго

подъ псевдонимомъ казака Луганскаго. Воспоминанія относятся къ посѣщенію Пушкинымъ Оренбурга для собиранія историческихъ и этнографическихъ матеріаловъ. Пушкинъ и Даль ѣздили изъ Оренбурга въ станицу Берды, бывшую резиденцію Пугачева, гдѣ они нашли 75-лѣтнюю казачку, которая передавала имъ свои воспоминанія и пѣла пугачевскія пѣсни. Пушкинъ далъ ей червонецъ, что въ связи съ длинными его ногтями произвело не малое смятеніе среди мѣстнаго населенія. Нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ и пѣсенъ вошли въ «Исторію Пугачевскаго бунта» и въ «Капитанскую дочку». Пушкинъ и Даль оба весьма интересовались народнымъ языкомъ и бытомъ, записывали изъ устъ народа пѣсни и сказки и плоды этихъ наблюденій вносили въ свои произведенія. Это—ихъ общая черта, это ихъ и сблизило. И тому и другому пришлось выслушать не мало укоровъ за свои новшества отъ литературныхъ старовѣровъ.

Интересны строки воспоминаній, касающіяся взгляда Пушкина на свою молодость: ...«Вы не знали меня въ молодости, каковъ я былъ, я не такъ жилъ, какъ жить бы должно; бурный небосклонъ позади меня, какъ оглянусь я»... Эти слова указываютъ, насколько хорошо самъ Пушкинъ сознавалъ, что много ему было дано, но мало еще сдѣлано. «О, вы увидите, я много еще сдѣлаю!» сказалъ онъ Далю.

Къ книгѣ Майкова приложенъ указатель именъ.

Какъ можно видѣть изъ этого краткаго обзора содержанія книги, Л. Майковъ своимъ сочиненіемъ значительно обогатилъ нашу историко-біографическую литературу о Пушкинѣ. Многіе неизданные матеріалы, имѣющіе то или иное значеніе для возможно полнаго нашего представленія о жизни и произведеніяхъ поэта, впервые нашли себѣ мѣсто въ печати. Среди всей пушкинской литературы, ознаменовавшей столѣтіе рожденія великаго поэта, книгѣ Майкова, безспорно, принадлежитъ первое мѣсто.

Къ біографіи Пушкина.—Матеріалы изъ архивовъ и др. малоизвѣстныхъ источниковъ.—Н. Невзорова.

Здѣсь помѣщены: Копія съ брачнаго обыска, метрическая копія о смерти Пушкина, выдержки изъ современной печати по поводу смерти Пушкина, копія съ дѣла по прошенію вдовы поэта о выдачѣ ей метрическаго свидѣтельства о рожденіи дѣтей. Въ особенности

любопытны письма митрополита Филарета, выражающія его взглядъ на поединки и на погребеніе самоубійцъ. Извѣстно, что тогдашній петербургскій митрополитъ Серафимъ отказался «съ почестью» похоронить тѣло поэта. Въ pendant къ этимъ воззрѣніямъ интересно вспомнить аналогичный взглядъ современнаго пермскаго духовенства на чествованіе памяти Пушкина.

Автографы рукописей Пушкина. — Изд. журн. «Истор. Вѣстникъ».

Въ этомъ изданіи помѣщены автографы А. С. П. изъ собранія таковыхъ П. Я. Дашкова. Эти автографы были уже не разъ напечатаны въ отрывкахъ и потому настоящее изданіе не представляетъ изъ себя новинки: здѣсь помѣщены тѣ же автографы, но только въ болѣе полномъ видѣ: 1) письмо Пушкина къ А. И. Тургеневу отъ 1-го декабря 1823 г. съ одой на смерть Наполеона и стихотвореніемъ «Свободы сѣятель пустынный»; 2) отрывокъ изъ первой главы «Путешествіе въ Арзрумъ»; 3) стихотвореніе «Я помню чудное мгновенье»... Въ особенности любопытенъ 2-й автографъ съ помѣтками неизвѣстнаго цензора (Николая I?) и подписью карандашемъ: Позволено. Бенкендорфъ. Всѣ автографы воспроизведены очень хорошо. Кромѣ того приложено нѣсколько портретовъ Пушкина и рисунковъ, относящихся къ Пушкину (уже извѣстныхъ), а также facsimile извѣщенія жены поэта о его кончинѣ, двухъ объявленій въ газетахъ о панихидахъ по Пушкинѣ 29 января 1887 г. и замѣтки о кончинѣ Пушкина, напечатанной 30 января 1837 г. въ «Литерат. Прибавл.». къ «Русскому Инв.».

Дуэль Пушкина съ Дантесомъ-Геккереномъ. — Подлинное военно-судное дѣло 1837 г.

Эта объемистая брошюра, перепечатанная съ подлинныхъ документовъ, хранящихся въ архивахъ военнаго министерства, главнаго военно-суднаго управленія и Александровскаго лицея [1]), заключаетъ въ себѣ всѣ документы, касающіеся несчастной дуэли и ея юридическихъ послѣдствій для участниковъ. Нѣкоторые изъ находящихся тутъ документовъ были уже опубликованы въ различныхъ журна-

[1]) См. Описаніе Пушкин. музея Имп. Александр. Лицея, стр. 10.

лахъ и отдѣльныхъ книгахъ, частью въ пересказахъ, частью въ подлинникѣ, но въ полномъ объемѣ это «дѣло» до сихъ поръ оставалось неизвѣстнымъ. Кромѣ того въ немъ находятся и совершенно новые матеріалы, а именно новое письмо Пушкина (стр. 50), показанія Данзаса, секунданта Пушкина, и князя Вяземскаго, который имѣлъ у себя письмо секунданта Дантеса, виконта Даршіака съ изложеніемъ хода дуэли. Приведены здѣсь и законы о поединкахъ, согласно которымъ судъ приговорилъ Дантеса, Данзаса и Даршіака къ повѣшенію и мертваго Пушкина къ повѣшенію за ноги. Извѣстно, что пострадалъ одинъ Данзасъ (просидѣлъ два мѣсяца въ крѣпости), Даршіакъ добровольно выбылъ за границу, а Дантесъ былъ высланъ. О Пушкинѣ же дѣло за смертью было прекращено.

Въ приложеніи помѣщены автографы кн. П. А. Вяземскаго, Даршіака и обоихъ бар. Геккереновъ [1]).

Цѣнная находка.—Вновь найденныя рукописи А. С. Пушкина.—Сообщены Сапожниковымъ.

Эта «цѣнная находка» не оказывается таковой при ближайшемъ ознакомленіи съ нею. Новаго она ничего не даетъ въ сравненіи съ уже напечатаннымъ и, очевидно, что эти бумаги имѣлъ въ своихъ рукахъ Анненковъ при изданіи въ 1855 г. своихъ «Матеріаловъ». Въ «цѣнной находкѣ» помѣщено въ качествѣ новаго «Вѣнчанье Шутовского» («Вчера въ торжественномъ вѣнчаньи творца затѣй...»), но у Анненкова въ вышеуказанномъ сочиненіи находимъ слѣдующее, «Отсюда начинается посланіе къ извѣстному драматическому писателю нашему, которое не приводимъ и за слабость стиховъ и за рѣзкость нѣкоторыхъ упрековъ: вотъ нѣсколько выписокъ»... и затѣмъ идутъ первая и третья строфы этого посланія. У Сапожникова, правда, оно помѣщено цѣликомъ (9 строфъ), но, несомнѣнно, оно было извѣстно и Анненкову. Куплеты на лицейскихъ преподавателей, приводимые Сапожниковымъ, также отчасти напечатаны у Анненкова. Всѣ же они не были помѣщены вслѣдствіе ихъ безсвязности и незначительности. Кромѣ того, большой вопросъ, принадлежатъ ли они Пушкину? Весьма вѣроятно предположить, что въ

---

[1]) Подробное изслѣдованіе „дѣла“ и обстоятельствъ дуэли напечатано въ Истор. В. „Дуэль Пушкина“ Б. В. Никольскаго, кн. XI—XII 1899 г.

ихъ составленіи участвовали и другіе лицеисты. Дѣйствительно, новымъ являются двѣ эпиграммы на того же Шаховского («Нашъ комикъ Шутовской»... «На замѣчанье Фебъ даетъ»...) и на Шаховского, Шихматова и Шишкова («Угрюмыхъ тройка...»).

Пушкинъ.—Документы Государственнаго и С.-Петербургскаго главнаго архивовъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.—Гастфрейндъ.

Брошюра. Гастфрейнда не даетъ ничего новаго, существенно важнаго для біографіи поэта. Составитель приводитъ перечисленіе и текстъ различныхъ документовъ, имѣющихъ отношеніе къ государственной службѣ Пушкина въ коллегіи Министерства Иностранныхъ Дѣлъ съ 31 по 37 г. Документы касаются отпусковъ, которые бралъ поэтъ, выдачи казенной субсидіи на печатаніе «Исторіи Пугачевскаго бунта», производства въ чины и, отчасти, увольненія Пушкина отъ службы и выдачи прогоновъ въ 1824 г. Часть этихъ матеріаловъ въ подлинникѣ и въ пересказахъ была помѣщена ранѣе у Я. Грота «Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники», Гаевскаго «Празднованіе лицейскихъ годовщинъ въ Пушкинское время» (Отеч. Зап., т. 139), Л. Поливанова «А. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи» (Р. Стар., т. 53). Изъ дѣлъ, не относящихся къ службѣ Пушкина помѣщено «дѣло объ усыновленіи нидерландскимъ посланникомъ барономъ Геккереномъ поручика Кавалергардскаго полка барона Дантеса» и «дѣло» о передачѣ писемъ Пушкина къ барону Геккерену, вытребованныхъ у послѣдняго при разборѣ дѣла о дуэли. «Къ сожалѣнію, самыя письма не сохранились» говоритъ составитель (стр. 8).

Къ свѣдѣнію г. Гастфрейнда можемъ сообщить, что они въ подлинникѣ (фр.) и въ переводѣ напечатаны въ брошюрѣ, составленной фонъ-Кауфманомъ «Дуэль Пушкина съ Дантесомъ-Геккереномъ. Подлинное военно-судное дѣло».

Въ общемъ, если всѣ эти документы и не прибавляютъ ни одной новой черты къ духовному облику поэта, все же ихъ изданіе имѣетъ свой raison d'être согласно мнѣнію самого составителя, что «ничего не должно быть малозначущимъ, когда идетъ рѣчь о Пушкинѣ». Снимки съ автографовъ Пушкина и со свидѣтельства объ окончаніи имъ курса въ лицеѣ воспроизведены прекрасно.

Описаніе Пушкинскаго музея Имп. Александровскаго Лицея.—Составили воспитанники Аснашъ и Яхонтовъ подъ ред. завѣд. Пушкинскимъ музеемъ проф. И. А. Шляпкина.

19 октября 1861 г., на юбилейномъ праздникѣ лицея, впервые возникла мысль объ основаніи при лицеѣ, въ которомъ воспитывался Пушкинъ и гдѣ были написаны первыя его стихотворенія (не считая дѣтскихъ) спеціальной Пушкинской библіотеки. Но только черезъ 20 лѣтъ этой мысли суждено было осуществиться. Лицейскимъ начальствомъ было составлено воззваніе ко всѣмъ лицеистамъ (бывшимъ и настоящимъ) съ просьбою содѣйствовать возникновенію «нерукотворнаго памятника» великому поэту въ видѣ музея его имени, въ который должно было войти все, имѣющее отношеніе къ Пушкину: 1) отдѣльныя изданія сочиненій поэта, 2) всѣ сборники, альманахи, періодическія изданія, въ которыхъ были помѣщены произведенія Пушкина, 3) отдѣльныя сочиненія о Пушкинѣ, его біографіи, разборъ произведеній, портреты, картины съ сюжетами изъ жизни Пушкина, вещи поэта и т. п. Судя по находящемуся передъ нами «описанію», лицею удалось собрать массу интереснаго матеріала (иногда очень рѣдкаго) и, такимъ образомъ, къ 1-му апрѣля 1899 г. въ инвентарѣ музея значится 2254 №№. Весь матеріалъ раздѣленъ на 10 отдѣловъ:

I. Автографы, факсимиле, старинныя копіи писемъ и сочиненій Пушкина, его рисунки, документы и письма къ нему и о немъ.

Здѣсь замѣчательны: письмо къ Гончаровой, къ Ишимовой (писанное въ день дуэли), вексель поэта Лисенкову, архивные лицейскіе документы, касающіеся Пушкина-лицеиста, Высочайшій приказъ о разжалованіи Дантеса въ рядовые, а всего 19 №№.

II отдѣлъ—вещи и предметы, принадлежавшіе Пушкину. Бюсты и модели памятниковъ поэта. Предметы, ему посвященные: золотой перстень Пушкина, медальонъ съ волосами Пушкина, палка его, пуля (запасная), посмертная гипсовая маска, а всего 23 №№. Затѣмъ идутъ портреты А. С. Пушкина и его родныхъ, друзей и близкихъ, сцены изъ жизни поэта, виды мѣстностей, гдѣ жилъ Пушкинъ, рисунки къ его сочиненіямъ. IV—X отдѣлы—библіографическіе: со-

чиненія самого Пушкина, сочиненія о Пушкинѣ, музыкальныя произведенія, переводы на иностранные языки, свѣдѣнія о лицеѣ и лицеистахъ времени Пушкина и т. д. Одно перечисленіе всего этого богатства занимаетъ 500 стр. Имѣются такія рѣдкія вещи, какъ Гавриліада (en vente chez tous les principaux libraires. 1889), № 13, В. Евр. за 1814 г. и др.

Изданъ каталогъ прекрасно: свѣдѣнія объ имѣющихся предметахъ даны точныя и подробныя, весь матеріалъ прекрасно разработанъ, приложено множество автографовъ и рисунковъ, изъ которыхъ нѣкоторые воспроизводятся впервые (Молодой парень съ боченкомъ и собака).

Есть и маленькія погрѣшности (напр., о сочиненіи въ стихахъ персидскаго поэта Мирзы Фахтъ-Али-Ахундова «На смерть Пушкина» сказано, во-первыхъ, что это поэтъ современный, что мало вѣроятно, ибо онъ былъ немного моложе Пушкина, а во-вторыхъ, что это стихотвореніе—вырѣзка изъ журнала, но не указано, что изъ «Московскаго Наблюдателя» XI, 1837 г.), но въ общемъ, всему русскому обществу надо горячо благодарить всѣхъ тѣхъ, кто потрудился, какъ для созданія музея, такъ и для выпуска въ свѣтъ настоящаго «описанія».

Пушкинскій сборникъ. Библіотека Дѣтскаго чтенія. Подъ ред. Д. И. Тихомирова.

Содержаніе этого сборника распадается на выдержки изъ произведеній самого Пушкина и на статьи и стихи о Пушкинѣ.

О выборѣ произведеній самого Пушкина можно сказать только, что составитель, очевидно, руководился мыслью дать все болѣе значительное по объему, вслѣдствіе чего сборникъ оказался наполненнымъ отрывками: нѣтъ ни одного крупнаго цѣльнаго произведенія, а между тѣмъ такія вещи, какъ «Мѣдный Всадникъ», «Галубъ» могли бы быть помѣщены in corpore. Затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе полное отсутствіе сказокъ и вообще народнаго элемента и на ряду съ этимъ помѣщеніе стихотворенія «Къ морю», которое по своему байроническому характеру и отвлеченнымъ образамъ едва ли подходитъ къ дѣтскому разумѣнію.

На второй части сборника стоитъ остановиться поподробнѣе.

Самой значительной по объему статьей является «Дѣтство и юность Пушкина» Б. Б. Глинскаго. Статья составлена отчасти по воспоминаніямъ И. И. Пущина, отчасти по офиціальнымъ даннымъ лицея и страдаетъ (какъ и весь, впрочемъ, сборникъ) отсутствіемъ всякихъ поясненій къ событіямъ и именамъ, упоминаемымъ здѣсь. Такъ, напр., приведемъ отрывокъ изъ извѣстнаго «Городокъ»; въ немъ упоминается

„Сынъ Мома и Минервы,
Фернейскій злой крикунъ“...

и далѣе:

„Скажу-ль? Отецъ Кандида?
Онъ все вездѣ великъ“.

но чей это сынъ и отецъ, для юнаго читателя такъ и остается неизвѣстнымъ. Далѣе:

„Читалъ охотно Елисѣя,
А Цицерона не читалъ“.

Имя «Елисей» также можетъ ввести въ заблужденіе.

Засимъ, авторъ указываетъ (стр. 143), что въ родѣ Пушкина переливаются 3 крови: германская, африканская и восточно-славянская. Такое сопоставленіе нельзя назвать правильнымъ. Хотя самъ Пушкинъ и указываетъ (это подтверждается и старинными родословными), что родъ его ведетъ начало отъ прусскаго выходца Радши или Рачи, но изъ этого еще нельзя выводить заключеніе о присутствіи въ его крови германскаго элемента: слово Радша одинаково необъяснимо ни изъ нѣмецкаго, ни изъ литовскаго, ни славянскихъ языковъ [1]) и такое прозвище могло одинаково принадлежать представителю любой изъ этихъ народностей. Указаніе родословной—«изъ нѣмецъ» также ничего не доказываетъ, ибо нѣмцами въ старину назывались всѣ западные сосѣди Россіи. Но и при допущеніи возможности присутствія въ Пушкинѣ германской крови, нельзя сопоставлять этотъ ингредіентъ съ африканскимъ и славянскимъ: несомнѣнно, онъ, по отдаленности предка, занималъ очень слабое мѣсто въ природѣ поэта. Тогда съ такимъ же основаніемъ можно говорить и о присутствіи въ крови поэта греческаго и романскаго элемен-

[1]) А. С. Пушкинъ. Антропологическій эскизъ Анучина. Р. Вѣд. № 106.

товъ: предокъ отдаленнаго родственника Пушкина, Головина, былъ грекъ (Степанъ Ховра), а бабка поэта, Ол. Вас. Чичерина вела свой родъ отъ итальянца Ав. Чичери [1]). Самое изложеніе страдаетъ слабостью литературнаго языка: «Чтобы отдѣлаться отъ позора освистанія, онъ тутъ же сочинилъ на себя эпиграмму» (стр. 150). «Мусульмане по ученію Корана своего пророка...»—выходитъ такъ, какъ будто бы коранъ (онъ и написалъ съ большой буквы) былъ мусульманскимъ пророкомъ.

Укажемъ еще на нѣкоторыя неточности. Въ цитатѣ изъ «Посланія Галичу» (стр. 176) испорченъ текстъ:

„И трубку разжигаютъ
Безрифменьемъ лихимъ".

вмѣсто Безрифминымъ. Дядька Леонтій Кемерскій названъ Кинерскимъ (стр. 160), профессоръ Гауэншильдъ-Гаусишельдомъ (стр. 162).

Двѣ статьи Авенаріуса и Соловьева-Несмѣлова въ беллетристической формѣ описываютъ пребываніе поэта въ Михайловскомъ. Между прочимъ, въ первой статьѣ Пушкинъ и Пущинъ пьютъ за «Царя и Русь!». Странная фантазія автора приписать друзьямъ такой тостъ въ началѣ 1825 г., за нѣсколько мѣсяцевъ до событія 14-го дек., въ которомъ Пущинъ принималъ такое дѣятельное участіе.

Среди мелкихъ вещей надо отмѣтить рубрику «Смѣхъ—не грѣхъ», подъ которой приведены такіе разсказы, какъ посѣщеніе Пушкинымъ Катенина, разсказъ Арины Родіоновны «У лукоморья стоитъ дубъ...» и переложеніе «У лукоморья дубъ зеленый...» и т. д. Что же тутъ смѣшного?

Вообще, сборникъ составленъ безъ достаточной внимательности, хотя по бѣдности нашей дѣтской литературы, и его можно считать полезнымъ вкладомъ въ нее.

Въ заключеніе, нельзя не замѣтить, что всѣ сноски перепутаны (напр., къ слову «шведскій паладинъ» въ сноскѣ объясненіе «Наполеонъ»), а рисунки мало удачны.

---

[1]) Ibidem.

Сборникъ Пушкину. Изд. Кіевскаго Педагогическаго Общества.

Сборникъ состоитъ изъ двухъ частей: первая посвящена подробной біографіи поэта, а вторая—различнымъ статьямъ, имѣющимъ къ нему отношеніе.

Сборникъ открывается статьей Лободы «У колыбели Пушкина», въ сжатой формѣ излагающей ходъ нашей литературы съ половины XVIII-го вѣка до Пушкина. Между прочимъ, авторъ говоритъ о Новиковѣ: «Какъ и ранѣе, такъ и ставъ масономъ, Новиковъ не отрицалъ просвѣщенія». «Не отрицалъ» слишкомъ слабое выраженіе для характеристики просвѣтительной дѣятельности Николая Ивановича.

Біографія Пушкина, составленная Кудрявцевымъ, даетъ мало свѣдѣній о жизни Пушкина, но подробно разсматриваетъ связь между нѣкоторыми фактами жизни поэта и его произведеніями. Авторъ, по видимости, пользуется главнымъ образомъ трудами Пыпина и Тихонравова. Біографическое же значеніе имѣютъ и двѣ послѣдующія статьи «Пушкинъ на югѣ Россіи» Булашева и «Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ» Рыбинскаго. Вообще, біографіи поэта въ сборникѣ удѣлено слишкомъ много мѣста въ ущербъ остальному содержанію. Въ біографіяхъ встрѣчаются неточности: такъ, Булашевъ полагаетъ (вслѣдъ за Бартеневымъ), что балерина Истомина была родомъ черкешенка и это, будто бы, подало мысль Пушкину сдѣлать героиню «Кавказскаго плѣнника» черкешенкой. Это—неправильно. Дѣло было какъ разъ наоборотъ: 15 янв. 1823 г. шелъ въ Петербургѣ новый балетъ Дидло «Кавказскій плѣнникъ или тѣнь невѣсты» на сюжетъ Пушкина. Черкешенку танцовала Истомина. Отсюда слова Пушкина въ письмѣ къ брату (Кишиневъ, 30 янв. 1823 г.): «Пиши мнѣ о Дидло, о черкешенкѣ Истоминой». Встрѣчаются и другія мелкія неточности. Изъ статей обращаютъ на себя вниманіе по меньшей шаблонности темы «Отношеніе поэзіи Пушкина къ украинской жизни и поэзіи», Петрова и «Религіозный элементъ въ произведеніяхъ А. С. Пушкина» свящ. Троицкаго. Петровъ указываетъ, что въ пушкинской поэзіи есть и украинскіе элементы: стоитъ только вспомнить «Полтаву». Поэтъ наѣзжалъ въ Каменку и Кіевъ и непосредственное вліяніе «матери городовъ русскихъ» отразилось въ «Пѣснѣ о вѣщемъ Олегѣ» и «Гусарѣ». Лира Пушкина не осталась

безъ вліянія и на современныхъ ему и послѣдующихъ малороссійскихъ поэтовъ: Маркевичъ, Гребенка, Шевченко, Гетьманецъ, Квитка-Основьянко—всѣ они послѣдователи Пушкина. Мы не говоримъ о вліяніи Пушкина на Гоголя, такъ какъ послѣдній писалъ не на малороссійскомъ нарѣчіи.

«Религіозный элементъ въ произведеніяхъ А. С. Пушкина» — тема новая и совсѣмъ почти не разработанная. Если не ошибаемся, этому вопросу удѣлено во всей юбилейной литературѣ всего двѣ статьи (считая и настоящую). Нельзя сказать, чтобы авторъ справился съ своей задачей: отчасти ему не хватаетъ объективности при оцѣнкѣ, какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ колебаній поэта, отчасти полнотѣ изслѣдованія мѣшаетъ невозможность затронуть нѣкоторые вопросы и произведенія Пушкина, имѣющія отношеніе къ разбираемой темѣ. Мы не будемъ касаться сужденій автора о правахъ Пушкина на прощеніе грѣховъ своихъ, укажемъ лишь тѣ сужденія, которыя высказываетъ авторъ по поводу тѣхъ или иныхъ произведеній. Лицейскіе стихи производятъ благопріятное впечатлѣніе на Троицкаго, но дальнѣйшее творчество до 1824 года представляется ему «мутнымъ». Единственное исключеніе онъ дѣлаетъ для кишиневскихъ историческихъ замѣтокъ поэта: «Съ пріятнымъ чувствомъ читаемъ слѣдующее историческое замѣчаніе:» Екатерина явно гнала духовенство, угождая духу времени. Но лишивъ его независимаго состоянія и ограничивъ монастырскіе доходы, она нанесла сильный ударъ просвѣщенію народному... Въ Россіи вліяніе духовенства было благотворно... Мы обязаны монахамъ нашею исторіею, слѣдственно и просвѣщеніемъ». Съ 1824 года начинается медленное, но постепенное религіозное возрожденіе Пушкина. Онъ читаетъ библію, пишетъ «Пѣснь пѣсенъ», «Пророкъ», «Ангелъ», «Монастырь на Казбекѣ», «Галубъ», «Къ Распятію» и мн. др. Впрочемъ, Троицкій ригористически относится къ нѣкоторымъ изъ этихъ произведеній: такъ отмѣчая незначительныя (чисто внѣшнія, впрочемъ) измѣненія библейскаго текста въ «Пророкѣ», авторъ говоритъ, что съ строго религіозной точки зрѣнія это недопустимо.

Въ одѣ «къ Н. (иколаю)» образъ Моисея спускающагося съ горы со скрижалями—неумѣстенъ, а также и сопоставленіе библіи съ

Иліадой. «Мадонна» непріятно волнуетъ наше религіозное чувство.» Авторъ приписываетъ Пушкину предсмертное стихотвореніе:

„Чудный сонъ мнѣ Богъ послалъ:
Въ ризѣ бѣлой предо мною
Старецъ нѣкій предстоялъ
Съ длинной, бѣлой бородою
И меня благословлялъ“ и т. д.

всего 9 строфъ. Ни въ одномъ собраніи сочиненій такого стихотворенія нѣтъ. По формѣ оно тоже едва ли можетъ принадлежать Пушкину, напр., послѣдняя строфа его читается такъ:

„Казни вѣчныя страшуся,
Милосердія надѣюсь.
Успокой меня, Творецъ!
Но твоя да будетъ воля,
Не моя... Кто тамъ идетъ?“

Пушкину же приписано и стихотвореніе (вѣроятно) Глинки переложеніе «Отче нашъ»:

„Я слышалъ въ келіи простой
Старикъ молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
Отецъ людей, отецъ небесный!“ и т. д.

Очевидно, автору статьи не хватаетъ историко-литературной подготовки и подробнаго знакомства съ твореніями Пушкина.

«Пушкинъ, какъ литературный дѣятель» Синицкаго не прибавляетъ ничего новаго къ уже много разъ высказаннымъ взглядамъ. Отмѣтимъ только нѣкоторые промахи: «Выработавъ себѣ сознаніе о независимости свободнаго творчества, говоритъ Синицкій, Пушкинъ не обращаетъ никакого вниманія на сужденія о его направленіи въ поэзіи и на сужденія о тѣхъ произведеніяхъ, которыя явились, какъ плодъ вдохновенія...» и приводитъ цитату:

„Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной:
Но ты оставься твердъ, спокоенъ и угрюмъ“. (Поэту).

Извѣстно, что Пушкинъ очень плохо соблюдалъ свой собственный совѣтъ и не оставался ни твердымъ, ни спокойнымъ передъ на-

падками критики. Устарѣвшимъ представляется намъ мнѣніе автора, что стихъ давался поэту легко:

„Перо по книжкѣ бродило
Безъ всякаго труда".

Наоборотъ, Пушкинъ много употреблялъ времени и старанія на обработку своихъ произведеній (не считая, конечно, многочисленныхъ экспромтовъ). Даже тѣ стихи, которые авторъ самъ называетъ «небрежными строками»:

„И строкъ небрежныхъ начертанье
Вношу смиренно въ Вашъ альбомъ". (Елизав. Ушаковой).

по свидѣтельству его черновыхъ тетрадей стоили ему значительнаго труда.

Неправильна характеристика Алеко: «Въ «Цыганахъ» мы видимъ человѣка съ жаждою свободы. *Научныя знанія* пробудили въ немъ недовольство жизнью...» (стр. 250). Откуда автору извѣстно о научныхъ знаніяхъ Алеко? Его знанія, вѣроятно, не превосходили научнаго багажа Онѣгина, и ихъ никакъ нельзя назвать научными. Двѣ послѣднія статьи «Пушкинъ и его музыкальные истолкователи» и «Пушкинъ у славянъ» Степовича не вносятъ ничего новаго въ сравненіи съ сочиненіями на аналогичные сюжеты, разобранные выше. Имѣется еще статья Рыбинскаго «Пушкинская плеяда», гдѣ помѣщены краткія біографіи и обзоръ отношеній къ Пушкину трехъ его сверстниковъ: Дельвига, Языкова и Баратынскаго.

Въ общемъ, сборникъ составленъ не особенно удачно: мало разнообразія, біографическій матеріалъ (314 страницъ) подавляетъ остальное (133 стр.). Два раза повторяется одна и та же тема: «Пушкинъ на югѣ Россіи» Кудрявцева и «Пушкинъ на югѣ Россіи» Булашева, «Пушкинъ въ Михайловскомъ» Кудрявцева и «Пушкинъ въ Михайловскомъ» Рыбинскаго. Для «большой» публики это, пожалуй, и удручительно.

Къ сборнику приложено 87 рисунковъ и портретовъ малаго формата.

«Памяти Пушкина»: Юбилейный сборникъ. Изданіе редакціи журнала «Жизнь».

Очень интересный сборникъ «Жизни» состоитъ изъ 10 статей, посвященныхъ поэту. Наиболѣе значительной и интересной статьей

представляется первая: «А. С. Пушкинъ, какъ художественный геній» проф. Овсянико-Куликовскаго. Этотъ вопросъ (геніальность поэта) авторъ пытается разрѣшить при помощи идеи экономіи умственнаго труда. «Все общее и обобщающее, все отвлеченное, начиная съ элементарныхъ понятій и кончая высшими обобщеніями науки и философіи экономизируетъ умственную силу, не позволяя ей растрачиваться по частямъ... Поэтому обобщающіе процессы мысли могутъ быть по праву названы аккумуляторами умственной энергіи, центральными источниками силы умственнаго свѣта, откуда лучи мысли свѣтятъ въ разныя стороны». Затѣмъ авторъ приводитъ характерные примѣры этой «экономизаціи умственной силы» въ произведеніяхъ Пушкина: сужденіе о «Горе отъ ума», формула байроническаго протеста противъ «неволи» и неправды цивилизованнаго общества («О чемъ жалѣть? Когда бъ ты знала»... Изъ «Цыгане») психологическая формула скупости и связанныхъ съ ней темныхъ душевныхъ движеній:

„Что не подвластно мнѣ? Какъ нѣкій демонъ
Отселѣ править міромъ я могу“...
„Мнѣ все послушно, я же ничему“.....
„Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ;
Я знаю мощь свою; съ меня довольно
Сего сознанья“...

(Скупой рыцарь).

Къ сожалѣнію, недостатокъ мѣста не позволяетъ намъ подробнѣе остановиться на талантливой статьѣ профессора, однако не можемъ не указать на слишкомъ строгій приговоръ автора надъ первыми поэмами Пушкина (Русл. и Людм., Кав. Пл., Бр.-разб., Бахч. Ф.), какъ надъ «чѣмъ то очень далекимъ, отжившимъ, любопытными памятниками младенчества нашей литературы (стр. 12).» «При всемъ томъ, однако поэма (Цыгане) читается не только безъ скуки и снисходительной улыбки, но (!) съ неослабѣвающей заинтересованностью» (15 стр.), которую, однако, авторъ отличаетъ отъ настоящаго интереса. Это, пожалуй, похвала небольшая!

Вторая крупная статья—«А. С. Пушкинъ въ потомствѣ» принадлежитъ перу Евгенія Соловьева. Авторъ разбираетъ всѣ критическіе отзывы, существующіе о Пушкинѣ, и приходитъ къ заключенію,

что наиболѣе правильный и цѣнный принадлежитъ Чернышевскому. Изъ новыхъ критиковъ авторъ разбираетъ брошюру своего однофамильца, Владиміра Соловьева, «Судьба Пушкина» и горячо нападаетъ на «инквизіоціонный допросъ» послѣдняго. Совсѣмъ несправедливы упреки автора акад. Анучину за его статью о генеалогіи Пушкина (Р. Вѣд.). Евгеній Соловьевъ предлагаетъ Анучину въ разсчетѣ процентнаго отношенія крови различныхъ національностей въ крови Пушкина «употреблять десятичныя доли, избѣгая періодическихъ и, въ особенности, смѣшанно-періодическихъ» и т. д. Умѣстенъ ли подобный тонъ въ серьезной статьѣ?

А. Н. Веселовскій въ своей статьѣ «Пушкинъ и европейская поэзія» еще разъ указываетъ намъ на извѣстную начитанность поэта въ западной (главн. обр. французской) литературѣ: не только выдающіяся имена, но даже и второстепенные ея дѣятели были ему извѣстны. Отмѣчается нѣсколько одностороннее вліяніе Вольтера на музу Пушкина: поэтъ заимствовалъ у Вольтера лишь блескъ, остроуміе, веселую насмѣшку, не касаясь великаго освобождающаго его вліянія на умы (стр. 3). Первый серьезный фактъ въ исторіи поэтическихъ заимствованій Пушкина—вліяніе Шенье и Шатобріана. Изъ англійскихъ поэтовъ въ его творчествѣ отразились мотивы Байрона, Шекспира, Мольера, Мильтона, Мура, Стерна. Впослѣдствіи онъ ознакомился и съ «озерными» поэтами. Не прошелъ безслѣдно и Мицкевичъ и Гете. Данте и Пиндемонте были хорошо извѣстны ему. Словомъ, поэзія всего міра отразилась, какъ въ тихомъ озерѣ, въ свѣтлой поэзіи Пушкина.

Слѣдующая статья посвящена выясненію значенія Пушкина въ русской музыкѣ. По этому вопросу въ пушкинской современной литературѣ намъ извѣстны 6 изслѣдованій (Иванова, Ерошенко, Турыгиной, Энгеля, Степовича и настоящее). Изслѣдованіе Кашкина занимаетъ между ними среднее мѣсто: авторъ справедливо указываетъ на вліяніе мелодическихъ пушкинскихъ стиховъ и художественнаго ихъ реализма на произведенія (музыкальныя) Глинки, но этой цѣнной догадкой и ограничивается достоинство статьи; объ отношеніи самого Пушкина къ музыкѣ авторъ говоритъ только, что «поэтъ былъ къ ней глубоко равнодушенъ» (что не совсѣмъ вѣрно, какъ видно изъ одесскихъ писемъ Пушкина), а перечисленіе оперъ на текстъ Пушкина не полно.

Къ достоинствамъ статьи надо отнести еще ея краткость.

Изъ остальныхъ статей обращаютъ на себя вниманіе: «Къ вопросу о значеніи Пушкина въ исторіи русскаго литературнаго языка» Н. П. Некрасова и «Поэзія Пушкина и русское пластическое искусство» Н. Н. Ге. Напрасно только авторъ первой статьи полагаетъ, что стихи изъ Евг. Он.:

„Какъ устъ румяныхъ безъ улыбки,
Безъ грамматической ошибки
Я русской рѣчи не люблю".

надо понимать такъ, что Пушкинъ «даже любилъ грамматическія ошибки», не противныя духу языка (стр. 214).

Вторая статья затрогиваетъ вопросъ, доселѣ еще никѣмъ не разработанный, а именно о значеніи Пушкина для національной живописи и архитектуры. Послѣдней, впрочемъ, удѣлено всего 5 строкъ.

Имѣются еще статьи «О дружбѣ Пушкина и Мицкевича» М. Славинскаго (въ которой, между прочимъ, встрѣчается такое странное мнѣніе: «Неодобрительный тонъ стихотворенія («Петербургъ» Мицкевича) по отношенію къ великому русскому реформатору необыкновенно гармонируетъ съ извѣстными всѣмъ взглядами Пушкина на всю дѣятельность Петра Великаго»...) и «Смерть въ поэзіи Пушкина» Изгоева.

Къ сборнику приложенъ переводъ некролога Пушкина, напечатаннаго Мицкевичемъ въ «Globe» 25 мая 1837 г.

«Пушкинскій сборникъ». Изданіе петербургскихъ литераторовъ подъ ред. Гнѣдича, Мордовцева и Случевскаго.

Объемистый сборникъ (675 стр.) раздѣляется на поэзію и прозу. Большая часть той и другой не имѣетъ отношенія къ Пушкину и потому мы на ней останавливаться не будемъ; скажемъ только, что здѣсь помѣщены произведенія такихъ авторовъ, какъ Чеховъ, Баранцевичъ, Боборыкинъ, Потапенко и мн. др.

Наиболѣе цѣнной частью сборника является ненапечатанное до сихъ поръ письмо Пушкина къ Н. А. Дуровой, относящееся, судя по содержанію, къ концу іюня 1836 г. Письмо доставлено г. Сергѣенко и заключаетъ въ себѣ отвѣтъ на извѣстное письмо Дуровой

(соч. Пушкина, изд. Лит. Ф. т. VII, стр. 408) съ просьбой или поторопиться печатаніемъ ея записокъ, или возвратить рукопись. Извѣстно, что эта Дурова подъ именемъ Александрова служила гусарскимъ офицеромъ и съ 1808-го по 1815-ый годъ совершила всѣ славныя кампаніи того времени. Письмо доставлено въ копіи, но содержаніе его, а главное—характерныя черты дѣловой корреспонденціи Пушкина, по мнѣнію Майкова, не оставляютъ сомнѣній въ подлинности письма.

Въ отдѣлѣ поэзіи пять произведеній имѣютъ непосредственное отношеніе къ Пушкину: 1) 7 переводовъ мелкихъ пушкинскихъ произведеній на фр. яз. кн. В. В. Барятинскаго, 2) переводъ на нѣм. яз. Фидлера «Сказки о рыбакѣ и рыбкѣ» 3) стихотвореніе Н. Е. Вуича 1837 г. («Свершилось! Рокъ неумолимый...»). Изъ поясненія къ этому стихотворенію видно, что оно взято внукомъ Вуича, Цейлемъ, изъ рукописной тетради дѣда, откуда слѣдуетъ заключить, что стихотвореніе это до сихъ поръ въ печати не было. А между тѣмъ въ сборникѣ Каллаша «Русскіе поэты о Пушкинѣ» то же самое стихотвореніе помѣщено на стр. 79-ой. 4) Заключительная сцена трагедіи Михневича «Смерть Пушкина». Историческія черты событія соблюдены вѣрно и въ уста умирающаго поэта вложены подлинныя слова, сказанныя имъ передъ смертью. Въ послѣднемъ явленіи замѣтно вліяніе заключительной сцены Бориса Годунова. 5) Но самымъ интереснымъ поэтическимъ произведеніемъ является «Поверженный Пушкинъ» драматическая сцена *далекаго будущаго* К. К. Случевскаго. Еще примѣръ Пушкина доказалъ, какъ трудно заглядывать въ будущее: въ 33 строфѣ 7-ой главы Евгенія Онѣгина авторъ предсказывалъ, что лѣтъ черезъ 500

„Шоссе Россію здѣсь и тутъ
Соединивъ, пересѣкутъ".

Дѣйствительность черезъ 70 лѣтъ далеко превзошла прорицанія поэта. Прорицанія же Случевскаго носятъ довольно странный характеръ: сцена изображаетъ Страстную площадь «неопредѣленнаго будущаго», какъ выражается авторъ. «Москва полна слѣдовъ только что завершенной въ ней великой битвы. Дома обгорѣли, видны зарева». Вообще, нѣчто въ родѣ Москвы 1812-го года. Среди пло-

щади лежитъ поверженный памятникъ Пушкина, совершенно цѣлый. Изъ дальнѣйшаго слѣдуетъ понимать, что Россія и другіе славяне затѣяли войну съ Англіей и Германіей и, послѣ многихъ пораженій, побѣдили враговъ и уничтожили при помощи миноносокъ англійскій флотъ. «Мягкотѣлые» славяне ликуютъ. Является баба Василиса съ вѣстью объ окончательномъ пораженіи враговъ. «Новые клики радости, колокольный звонъ, клики «Ура! Живіо! Слава!», пушечная пальба, общая хоровая пѣсня», словомъ «веселися, храбрый Россъ!» Памятникъ водружается на свое мѣсто. Послѣдствія побѣдъ весьма благотворны для отечества: поляки больше уже не подчиняются паиѣ, Австрія не существуетъ, всѣ славяне слились во едино Тутъ же фигурируетъ и нѣкая «будущая» няня Пушкиныхъ, убитыхъ въ сраженіи въ нѣкоторомъ «чудномъ» мѣстѣ и батареи, палящія съ шаровъ воздушныхъ и много другихъ занимательныхъ вещей. При чемъ тутъ Пушкинъ, остается невыясненнымъ. Совершенно дѣтское произведеніе, очевидно, попавшее въ сборникъ по недосмотру редакторовъ (П. Н. Гнѣдича, Д. Л. Мордовцева и К. К. Случевскаго).

Изъ историко-белистристическихъ произведеній слѣдуетъ отмѣтить «Дни молодости» изъ жизни Пушкина въ Кишиневѣ Ол. Накко и «Бой на Невѣ» Д. Л. Мордовцева. Въ первомъ очень подробно разсказано о пребываніи Пушкина въ Кишиневѣ, но откуда сіе заимствовано или это есть фантазія автора—не указано. Болѣе назидательно и интересно историческое произведеніе В. А. Мордовцева. Въ противоположность «фантазіи будущаго» К. К. Случевскаго, Мордовцевъ изобразилъ «фантазію прошедшаго». «Бой на Невѣ»— такъ называется его произведеніе и подъ нимъ дата «15 іюля 1242 г.» Почтенный авторъ ошибся: бой Александра Нев. съ Биргеромъ происходилъ не въ 1242-мъ, а въ 1240-мъ году. Отсюда проистекла такая странность: въ бою принимаетъ участіе боярин Гаврила Алексичъ, который былъ убитъ годомъ раньше (въ 1241 г.). Но это простая ошибка; а вотъ въ концѣ разсказа проявляется уже сильная фантазія автора: старецъ Пелгусій обращается къ Радшѣ, предку Пушкина: «Отъ твоего сѣмени изыдетъ мужъ, велій словомъ своимъ вѣщимъ и пронесется слово то во всѣ концы вселенныя и назоветъ его всякъ сущій въ ней языкъ за то, что чувства добрыя

въ сердцахъ онъ будетъ пробуждать и милость къ падшимъ призывать». Недурная историческая картинка: старецъ Пелгусій изъясняется стихами Пушкина!

Еще помѣщено воспоминаніе Подвысоцкаго о посѣщеніи имѣнія его дѣда (въ Черн. г.) А. С. Пушкинымъ въ 1825 г. Имѣютъ также отношеніе къ поэту замѣтки Билибина и разсказы Добротворскаго и Сысоева.

Изъ научныхъ статей самая интересная—«Германская литература о Пушкинѣ» А. Маркова. Авторъ удачно слѣдитъ не только за переводами изъ Пушкина, но и за критической литературой о произведеніяхъ поэта и отмѣчаетъ все возрастающій интересъ въ Германіи къ русской литературѣ. Онъ указываетъ также на политическое значеніе таланта поэта «... ибо благодаря ему на западѣ перестали смотрѣть на Россію, какъ на варварскую, азіатскую страну». При перечисленіи переводовъ у автора есть погрѣшности: такъ, онъ пропустилъ переводъ сцены изъ Бориса Годунова въ 1833 г. въ Дерптскомъ журналѣ «Dorpater Jahrbücher» Розена.

Юр. Веселовскій впервые перечисляетъ всѣ переводы изъ Пушкина, имѣющіеся на армянскомъ яз., значительно дополняя, какъ соотвѣтствующій отдѣлъ «Пушкиніаны» Межова, такъ и монографію Драганова (Пятидесятиязычный Пушкинъ).

Приведенъ текстъ двухъ переводовъ изъ Пушкина на халдейскій языкъ.

Къ сборнику приложено родословіе Пушкина отъ 1146 года до настоящаго времени, составленное М. В. Муравьевымъ.

Родословіе начинается съ 1140-хъ годовъ, когда нѣкій Радша (Ростиславъ-Стефанъ) прибылъ изъ «нѣмецъ» въ Новгородъ; въ 1146-мъ году кіевляне разграбили его дворъ; онъ былъ тіуномъ князя Всеволода Ольговича. Его ближайшіе потомки: Якунъ (Михаилъ) Радшичъ (посадникъ новгор.)—Алекса Якуновичъ (новгор. бояринъ)—Гавріилъ Алексичъ, бояринъ Алекс. Невскаго, принимавшій участіе въ Невской битвѣ (1240 г.). Такимъ образомъ оказывается, что самъ Пушкинъ ошибался, считая княженіе Алекс. Нев. временемъ выхода своего предка изъ «нѣмецъ». Удивительно, что до сихъ поръ этотъ вопросъ не обращалъ на себя ничьего вниманія.

Въ память столѣтней годовщины рожденія А. С. Пушкина. Біографическій очеркъ и избранныя произведенія поэта. Для учениковъ и ученицъ старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній. Изданіе по распоряженію Попечителя Варшавскаго Учебнаго Округа.

Предлагаемый сборникъ самымъ своимъ появленіемъ указываетъ на то, что Пушкинъ въ цѣломъ еще не рекомендуется вниманію учениковъ ср.-уч. заведеній. Такимъ образомъ молодые люди, вступающіе въ университетъ, могутъ и не знать всего Пушкина, если они не восполнятъ этотъ пробѣлъ приватнымъ чтеніемъ. То же можно сказать и объ ученицахъ, которыя, при современной постановкѣ учебнаго дѣла, большею частью и заканчиваютъ свое образованіе гимназіей.

Біографія А. С. составлена хорошо. Полно указано вліяніе лицейскихъ литературныхъ занятій на развитіе таланта юнаго поэта, а также и сочувствіе его первымъ опытамъ тогдашнихъ свѣтилъ нашей литературы: Державина, Карамзина и др. Къ числу недостатковъ біографіи надо отнести слишкомъ краткое упоминаніе о вліяніи на поэта его няни, Аринѣ Родіоновны, а также и на самостоятельное изученіе имъ народнаго эпоса. Извѣстно, что, будучи въ Бессарабіи, онъ не только съ жаромъ интересовался мѣстной народной словесностью, но и выписывалъ (отъ Раевскаго младш.) русскія сказки. Вторымъ недостаткомъ біографіи надо считать совершенный пропускъ причинъ переселенія Пушкина на югъ и затѣмъ въ Михайловское, а между тѣмъ сказано, что въ Москву онъ возвратился (въ 1826 г.) съ разрѣшенія Государя. Такая неясность можетъ вызвать у читателя только недоумѣніе.

Заключающая біографію общая характеристика составлена нѣсколько тенденціозно: Пушкину приписываются всѣ личныя и общественныя добродѣтели. Въ особенности лишними являются указанія на его взглядъ на святость брачнаго союза и на религіозныя чувства поэта. Если нельзя было держаться строго установленныхъ историческихъ данныхъ, то слѣдовало совсѣмъ пропустить эти указанія. Затѣмъ на стр. XXX говорится, что Пушкинъ всегда требовалъ полной свободы творчества, но не сказано, что никогда не получалъ ея. Послѣ біографіи помѣщенъ краткій очеркъ нашей литературы до Пушкина и затѣмъ объясняется мѣсто самого Пушкина,

какъ въ національной литературѣ, такъ и въ всемірной. Съ удовольствіемъ надо отмѣтить, что въ книгѣ, изданной для учащихся, мы встрѣчаемся (кажется, впервые) съ признаніемъ заслугъ нашихъ классиковъ, Достоевскаго, Тургенева и, въ особенности, Л. Толстого и даже упоминается произведеніе послѣдняго «Что такое искусство?»

Что касается самаго выбора произведеній, то тутъ никакого опредѣленнаго плана не замѣчается. Единственная красная нить—удалить все фривольное. Намѣреніе законное въ виду цѣли сборника, но выполнено неудачно: во-первыхъ, вслѣдствіе этого изъ нѣкоторыхъ произведеній пришлось дать только фрагменты (напр. «Бахчисарайскій фонтанъ), что, конечно, совершенно уродуетъ поэму, а во-вторыхъ, и конечная цѣль не достигнута: такъ напр., изъ «Подражаній Корану» удалены всѣ упоминанія о гаремѣ, а въ «Бахчисарайскомъ фонтанѣ» они есть. Вообще, при выборѣ руководящаго начала не замѣтно. Совершенно нѣтъ сказокъ, балладъ, легендъ и пѣсенъ западныхъ славянъ, а также повѣстей Бѣлкина.

Отсутствіе сказокъ, вѣроятно, объясняется намѣреніемъ составителя дать матеріалъ для старшихъ классовъ гимназій, а пушкинскія сказки дѣлаются извѣстными еще въ начальныхъ классахъ. Но это неправильно: въ младшихъ классахъ сказки только заучиваются, но не изучаются, а это далеко не одно и то же.

За симъ почему нѣтъ пѣсенъ западныхъ славянъ? Если онѣ устранены, какъ перепѣвъ чужихъ мотивовъ, то зачѣмъ помѣщенъ испанскій романсъ? Проза представлена только отрывками изъ Капитанской дочки и Рославлевымъ (?) Послѣднее помѣщено, очевидно, въ видахъ патріотическихъ.

А. С. Пушкинъ. Изданіе Спб. городской думы. Составилъ В. П. Острогорскій.

Прекрасная цѣль петербургской думы наградить хорошимъ Пушкинскимъ сборникомъ окончившихъ курсъ ученія въ начальныхъ училищахъ въ Пушкинскомъ году вполнѣ достигнута. Предлагаемый сборникъ, составленный такимъ выдающимся педагогомъ, какъ Викторъ Петровичъ, можетъ служить образцомъ подобныхъ изданій. Прекрасное предисловіе «Учитель—учащимся» и біографія составлены подробно и научно. Самый матеріалъ сборника раздѣленъ на 8 отдѣловъ: «преданья старины глубокой» (сказки), «дѣла давно ми-

нувшихъ дней» (Олегъ, Бор. Годуновъ, Разинъ), «Россія—съ Петра В.» (Полтава, Мѣдный Всадникъ и др.) и т. д. Принимая во вниманіе малое знакомство съ русской исторіей тѣхъ читателей, для которыхъ книга предназначается, надо считать чрезвычайно удачной мысль—передъ каждымъ отдѣломъ помѣстить историческія свѣдѣнія и характеристики, имѣющія отношенія къ данному періоду. Въ особенности хорошо изложены: о Грозномъ царѣ и Бор. Годуновѣ и отечественная война. Эти главы могутъ послужить примѣромъ научно-популярнаго изложенія русской исторіи, одинаково чуждаго, какъ спеціально-научныхъ отступленій, такъ и квасного патріотизма. Непонятныя слова вездѣ объяснены. Книга снабжена 23-мя иллюстраціями.

Пушкинъ въ образцахъ и музыкальныхъ мотивахъ. Съ портретомъ и біографіей поэта. Для школъ и народа. Составили М. Соколовъ и Л. Гольдманъ.

Составители такъ опредѣляютъ въ предисловіи цѣль своего изданія: «Ближайшимъ побужденіемъ къ составленію настоящей книги послужило желаніе придти на помощь устроителямъ доступнаго самымъ ограниченнымъ средствамъ чествованія памяти Пушкина... преимущественно въ учебныхъ заведеніяхъ, разнаго рода народныхъ читальняхъ и другихъ подобныхъ учрежденіяхъ». Сообразно съ этой цѣлью сборникъ раздѣленъ на 5 отдѣловъ: народныя сказки въ переработкѣ Пушкина, картины русской природы и жизни, историческіе и патріотическіе стихи, народныя пѣсни, переложенныя Пушкинымъ и смѣсь. Кромѣ того 16 №№ пѣсенъ Пушкина, положенныхъ на ноты. Біографія поэта составлена хорошо, хотя и есть нѣкоторыя неточности. Такъ, на стр. 7 сказано, что Пушкинъ съ самаго начала лицейской жизни уже не зналъ себѣ соперниковъ въ поэзіи среди сотоварищей. Это, какъ извѣстно,—неточность: Илличевскій и Дельвигъ превосходили Пушкина въ первые лицейскіе годы.

Выборъ произведеній сдѣланъ обдуманно и по намѣченному плану. Распространеніе Пушкина при помощи пѣнія можно только привѣтствовать.

Русскому солдату на память объ Александрѣ Сергѣевичѣ Пушкинѣ.

Это изданіе, предназначенное для распространенія въ арміи, составлено съ Высочайшаго соизволенія особой военной комиссіей съ

участіемъ проф. Шляпкина и акад. Франка. Біографія (написана) проф. Шляпкинымъ достаточно понятно и, по возможности, научно. Въ текстѣ нѣтъ ни одного большого цѣльнаго произведенія: все отрывки. Проза совсѣмъ отсутствуетъ.

Пушкинъ для ребятокъ. Составилъ Сальниковъ.

Въ этой брошюркѣ въ 42 стр. матеріалъ выбранъ доступный, но нѣтъ ни предисловія, ни оглавленія, ни намека на біографію. Не мѣшало бы пояснить такія слова, какъ Бессарабія, чепракъ и т. п.

Сочиненія Александра Сергѣевича Пушкина. Изданіе книжнаго магазина «Знаніе». Подъ ред. Ч. Вѣтринскаго.

Это общедоступное изданіе вполнѣ оправдываетъ свое названіе: больше дать за такую умѣренную цѣну (50 к.)—трудно. Всѣ отдѣлы Пушкинской поэзіи налицо, не забыта и проза. Изданіе снабжено снимками съ нѣкоторыхъ картинъ (Дуэль Пушкина, Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ) и объяснительнымъ словаремъ иностранныхъ словъ. Приложены стихотворенія Кольцова и Лермонтова на смерть Пушкина.

О чтеніяхъ Пушкинымъ «Бориса Годунова» въ 1826 г. въ Москвѣ. М. Веневитинова.

Авторъ устанавливаетъ родство Пушкина съ поэтомъ Д. В. Веневитиновымъ (четвероюродные братья), указываетъ домъ, гдѣ читалъ Пушкинъ «Бориса Годунова» (Мясницкая, Кривоколѣнный пер., д. насл. Фролова, № 4), стремится опредѣлить день чтенія, а также присутствовавшихъ на немъ лицъ и передаетъ замѣтки Погодина о впечатлѣніи, которое вынесъ авторъ послѣ ознакомленія съ трагедіей.

Статья была уже раньше напечатана въ Русск. Вѣд. (№ 143, 1899 г.).

А. С. Пушкинъ въ славянскихъ переводахъ.—Пл. Кулаковскій.

Книга Кулаковскаго имѣетъ цѣлью наглядно показать, что Пушкинъ извѣстенъ славянству, и не претендуетъ на представленіе всѣхъ славянскихъ переводовъ поэта, а только даетъ примѣры переводовъ на языки: чешскій, польскій, словацкій, славенскій, сербскій, болгарскій, хорватскій, лужицкій, сербохорватскій. Изъ

переводовъ выбраны по возможности поздніе. Кромѣ переводовъ произведеній Пушкина, помѣщено стихотвореніе «Сѣни Александра Пушкина» (1845 года), принадлежащее перу Петра II, владыки Черногорскаго и оригиналъ «Влаха въ Венеціи» изъ la Guzla, а также стихотворный переводъ этого сказанія Мицкевича. Переводамъ предшествуетъ предисловіе, нѣсколько оптимически сообщающее, что исполнились слова поэта—знаетъ о Пушкинѣ всякій языкъ, живущій на Руси великой. «И на дальнемъ востокѣ, у береговъ Тихаго океана и здѣсь, на крайнемъ западѣ Россіи, поминается это имя, какъ родное, дорогое, вполнѣ ясное по своему значенію». Это—сильное преувеличеніе и съ формальной стороны и по существу: даже если считать знакомствомъ прочтенныя 3 строчки поэта, то и такового еще только дожидаются нѣкоторые народы Россіи, (напр., якуты); что же касается ясности пониманія поэта, то къ нему вполнѣ примѣнимо замѣчаніе Кулаковскаго о Шекспирѣ, что «значеніе Шекспира въ наше время только еще растетъ».

Славянскіе мотивы въ творчествѣ Пушкина.— Пл. Кулаковскій.

Авторъ задается цѣлью выяснить, насколько Пушкинъ былъ знакомъ съ западно- и южно-славянской поэзіей и языкомъ и какіе мотивы заимствованы имъ изъ богатой сокровищницы славянскаго эпоса. Упомянувъ объ его непосредственномъ знакомствѣ съ нѣкоторыми представителями южно-славянскихъ народностей, авторъ указываетъ и на литературное изученіе Пушкинымъ сборника Вука Караджича (откуда имъ заимствованы «Соловей» и «Сестра и братья»). Изъ числа «пѣсенъ западныхъ славянъ» 11 взяты изъ извѣстнаго (подложнаго) сборника Мериме: La Guzla. Всего у Мериме 29 разсказовъ. Интересно, значитъ, прослѣдить, какими же мотивами воспользовался Пушкинъ? «Основнымъ мотивомъ всѣхъ этихъ заимствованій, говоритъ Кулаковскій, служитъ борьба за народное самосознаніе и соблюденіе вѣчныхъ законовъ нравственности, правды». Соглашаясь съ авторомъ въ томъ, что общее настроеніе этихъ пѣсенъ именно таково, мы не можемъ не указать и на нѣкоторыя отступленія, какъ напр., на заключительныя строки пѣсни «Янышъ-королевичъ («Противъ солнышка луна не пригрѣетъ», «Противъ милой жена не утѣшитъ»). Весьма интересно сопостав-

леніе переводовъ Мицкевича и Пушкина: какъ извѣстно, и тѣмъ и другимъ переведенъ разсказъ Мериме Le morlaque à Venise. Изъ сравненія оказывается, что Пушкинъ болѣе своего польскаго собрата обладалъ способностью «перевоплощаться» въ духъ чужого народа и чрезвычайно чутко угадывалъ, такъ сказать, подпочву народную.

Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина.—Критическій очеркъ Б. В. Никольскаго.

Никольскій, констатируя острый разладъ музы Пушкина съ современными ему читателями, пытается разгадать внутреннія причины этого разлада, который только въ настоящее время закончился полной побѣдой поэта надъ своими читателями.

Очеркъ Никольскаго распадается на 2 неравныя части: первая (бо́льшая выясняетъ намъ послѣдовательную смѣну настроеній и идеаловъ Пушкинской музы, а вторая—отношеніе поэта къ читателямъ и обратно.

Указывая на то, что красной нитью по всѣмъ произведеніямъ Пушкина, проходитъ «рыцарство въ самомъ чистомъ и возвышенномъ значеніи этого слова», Никольскій первымъ (по времени) идеаломъ Пушкина считаетъ идеалъ воина, ссылаясь на многочисленныя цитаты изъ произведеній поэта 1817—21 годовъ. Къ мечтамъ «о подвигахъ гусарскихъ» примѣшиваются и мотивы «пѣсенъ мирныхъ фригійскихъ пастуховъ» и, наконецъ, они получаютъ преобладаніе и вся Пушкинская поэзія этого періода окрашивается въ идиллическій свѣтъ. За симъ, подъ вліяніемъ Байрона развивается у Пушкина культъ страстей и демоническихъ характеровъ. Въ третьей смѣнѣ настроенія идеаломъ Пушкина является поэтъ-гражданинъ. Первоначально поэтъ желаетъ быть трибуномъ, воиномъ свободы:

„О, если бъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?“ („Деревня“).

„Товарищъ, вѣрь: взойдетъ она
Заря плѣнительнаго счастья,
Россія вспрянетъ ото сна
И на обломкахъ самовластья
Напишетъ наши имена“. (Къ Чаадаеву)

но, подъ вліяніемъ Шенье, онъ, не отказываясь отъ свободы, мѣняетъ свой взглядъ на служеніе ей:

„Свободы сѣятель пустынный
Я вышелъ рано, до звѣзды;
Рукою чистой и безвинной
Въ порабощенныя бразды
Бросалъ живительное сѣмя,—
Но потерялъ я только время,
Благія мысли и труды".

«Было бы крайне ошибочно видѣть въ этой пьесѣ отреченіе отъ свободы» говоритъ Никольскій «Пушкинъ не отрекался отъ свободы: онъ только оставилъ мысль о трибунствѣ и потому на вопросъ:

„Теперь, оставя шумный свѣтъ,
И музъ и вѣтреную моду,
Что жъ изберете вы?"

онъ съ полнымъ правомъ можетъ отвѣтить:

„Свободу!" (Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ)

съ 60-й страницѣ очерка начинается разборъ самой темы: отчего происходилъ разладъ Пушкина съ читателями и отсюда угнетенное состояніе поэта, непонятаго толпой? Отчасти виновато въ этомъ было слишкомъ быстрое развитіе таланта и общее поклоненіе ближайшихъ сотоварищей и представителей литературы: поэтъ склоненъ былъ предположить, что и дальше въ его лавровомъ вѣнкѣ не будетъ терній. Первый успѣхъ слишкомъ окрылилъ его, не закалилъ въ борьбѣ и плодомъ этого было мучительное недоумѣніе, проистекавшее вслѣдствіе непониманія его таланта «большой публикой»:

„Я говорилъ предъ хладною толпой,—
Но для толпы ничтожной и глухой
Смѣшонъ гласъ сердца благородный.
Я замолчалъ".

Въ заключеніе Никольскій говоритъ: «Разладъ поэта съ читателемъ намъ женъ мы видимъ, что этотъ разладъ явился слѣдствіемъ съ одной стороны внутренней борьбы разнородныхъ идеаловъ поэта, стремившихся къ верховному единству и, перемежаясь, обособлявшихъ поэта въ мірѣ своими противорѣчіями, а съ другой—въ немъ сказалась личная судьба поэта. Жизнь не закалила его къ терніямъ

славы и переболѣть ихъ язвительную боль онъ принужденъ былъ въ томъ возрастѣ, когда другіе давно привыкаютъ равнодушно къ ней относиться».

Таково вкратцѣ содержаніе интересной брошюры Никольскаго и таково рѣшеніе поставленнаго имъ вопроса.

Что касается смѣны идеаловъ Пушкинской музы, то мы, находя вполнѣ правильнымъ хронологическое дѣленіе ея настроеній на 3 періода, не совсѣмъ согласны съ авторомъ въ его обозначеніи перваго идеала Пушкина, какъ идеала военнаго. Правда, въ юности Пушкинъ увлекался «гусарскими мечтами», но едва ли эти мечты серьезно можно считать за идеалъ. Надо вспомнить историческія событія 1812—15 гг., вызвавшія столь сильный подъемъ патріотическаго духа въ русскомъ обществѣ, чтобы понять, что 15—18 лѣтнему впечатлительному юношѣ трудно было не заразиться общимъ энтузіазмомъ, но этотъ энтузіазмъ былъ наносный, являвшійся скорѣе стихійнымъ, чѣмъ индивидуальнымъ, характернымъ. На это указываетъ и то обстоятельство, что на ряду съ такими воинственными стихотвореніями, какъ посланіе къ Ю(дину) 1815 г., встрѣчаются и такія, какъ «къ товарищамъ передъ выпускомъ» 1817 г.

„... Иной, подъ киверъ спрятавъ умъ,
Уже въ воинственномъ нарядѣ
Гусарской саблею махнулъ;
Въ крещенской утренней прохладѣ
Красиво мерзнетъ на парадѣ,
А грѣться ѣдетъ въ караулъ...
Равны мнѣ писаря, уланы,
Равны мнѣ каски, кивера,
Не рвусь я грудью въ капитаны
И не ползу въ асессора"

и «Сонъ» 1816 г.

„Я не герой, по лаврамъ не тоскую,
Спокойствіемъ и нѣгой не торгую,
Не чудится мнѣ ночью грозный бой".

Что это былъ только наносный энтузіазмъ, не соотвѣтствовавшій дѣйствительнымъ стремленіямъ поэта, указываетъ и слѣдующее преувеличеніе:

„Мнѣ бой знакомъ—люблю я звукъ мечей"

восклицаетъ онъ въ 1820 году. Откуда былъ знакомъ бой поэту въ это время?

Что касается разлада Пушкина съ современными ему читателями, то намъ кажется, что онъ происходилъ, такъ сказать, отъ недостатка времени: читатели, воспитанные на литературѣ псевдоклассической и на поэзіи (Державина) были слишкомъ мало подготовлены къ воспріятію поэзіи Пушкина, новой и вслѣдствіе этого чуждой имъ и по формѣ и по содержанію. А между тѣмъ одно произведеніе слѣдовало за другимъ. Гдѣ же тутъ съ непривычки разобраться? Отсюда-то и происходило и то странное на нашъ взглядъ явленіе, что лучшія, по нашему мнѣнію, произведенія Пушкина отнюдь не считались такими, а пальма первенства отдавалась произведеніямъ второстепеннымъ. Да и такъ ли ужъ значителенъ былъ разладъ, какъ изображаетъ его Никольскій? Намъ кажется, что разладъ этотъ въ острой формѣ проявлялся только между Пушкинымъ и современной критикой, да и то не въ такой степени, какъ въ 60-е годы.

Цѣнно указаніе Никольскаго назначеніе А. Шенье для лирики Пушкина; этотъ вопросъ совсѣмъ не разработанъ въ нашей литературѣ.

Жаль, что авторъ въ своей брошюрѣ ограничился только разборамъ лирики.

Пушкинъ, какъ воспитатель. Айхенвальдъ.

Айхенвальдъ удачно развиваетъ мысль о воспитательномъ значеніи Пушкина. Пушкинъ сверхпространственъ и сверхвременевъ, для его таланта нѣтъ границъ бытія; его «неумирающія созданія манятъ къ себѣ двойной властью прекраснаго и добраго... имъ суждено пробуждать въ сердцахъ чувства добрыя. Достоевскій справедливо назвалъ Пушкина всечеловѣкомъ и въ сближеніи съ этой всечеловѣческой душой кроется для насъ источникъ блага: онъ учитъ насъ просвѣтленной любви къ жизни и сердечному благоволенію къ людямъ». Не ново, но справедливо. Къ числу недостатковъ брошюры надо отнести неясное противоположеніе толпы—человѣчеству: «Пушкинъ часто говорилъ о жалкомъ родѣ людей, достойномъ слезъ и смѣха, о тупой черни, и, по его мнѣнію, кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей; но это презрѣніе къ пош-

лости толпы не мѣшаетъ его любви къ человѣчеству» (стр. 12). Какъ сіе понимать? Затѣмъ, напрасно авторъ употребляетъ такіе темные термины, какъ Теодицея, богъ Махадева—«Писать слишкомъ мудрено

„Очень стыдно и грѣшно".

сказалъ еще Пушкинъ.

Пушкинъ, какъ учитель молодого поколѣнія. Опытъ объясненія учащимся воспитательнаго значенія Пушкина, иллюстрированный произведеніями поэта. Петрова.

Автору, преподавателю русской словесности, пришла прекрасная мысль иллюстрировать свою рѣчь пушкинскими стихотвореніями и распредѣлить чтеніе послѣднихъ между учениками и ученицами. Идея прекрасная и, несомнѣнно, много способствовшая подъему интереса къ чтенію. Самое содержаніе брошюры нѣсколько односторонне: слишкомъ много мѣста удѣляетъ авторъ толкованію религіозныхъ стиховъ Пушкина, при чемъ иногда не чуждъ преувеличеній. «И на югѣ и на сѣверѣ Пушкинъ не разставался съ библіей» (стр. 8); между тѣмъ съ библіей Пушкинъ познакомился только въ Михайловскомъ. «Будучи глубоко набожнымъ, Пушкинъ не воспѣлъ ни единаго злого или извращеннаго движенія души человѣческой» (стр. 19); и первая и вторая часть этого положенія противорѣчитъ дѣйствительности: извращéнны или не извращенны, напримѣръ, по мнѣнію г. Петрова, религіозныя понятія Пушкина, выраженныя въ стихотвореніи «Еврейкѣ» (1821 г.), гдѣ поэтъ говоритъ о своей готовности за поцѣлуй Ревекки оставить православіе? По мнѣнію автора, Пушкинъ потому любилъ бродить по кладбищу («Когда за городомъ задумчивъ я брожу... 1836 г.), что былъ истинно православный христіанинъ» (стр. 20). Совершенно новая черта истинно православнаго человѣка! Слова автора—«все же гордое, неприступное, надменное, не способное къ проявленію жалости и милосердія не располагало къ себѣ поэта» опять таки надо принять съ оговоркою; стоитъ только вспомнить байроническіе типы, основными чертами которыхъ были какъ разъ указанныя здѣсь. Встрѣчаются неправильности: на стр. 58—указаніе, что образъ Татьяны списалъ съ Евпраксіи Вульфъ. По предположеніямъ біографовъ, Татьяна—

Анна Вульфъ, а Евпраксія—Ольга. Не чуждъ авторъ и лирическихъ отступленій: «И вотъ въ то время, какъ мы празднуемъ столѣтіе со дня рожденія нашего великаго поэта, въ небольшой и тихой столицѣ Нидерландскаго королевства, въ маленькомъ дворцѣ, утопающемъ въ зелени огромнѣйшаго парка, въ чащѣ котораго такъ и прыгаютъ лоси...» и т. д. (стр. 35).

Остальная часть очерка, посвященная выясненію двухъ воспитательныхъ сторонъ пушкинской поэзіи, ничѣмъ не отличается отъ прочихъ популярныхъ очерковъ того же рода.

Пушкинъ. Разборъ главнѣйшихъ произведеній, литературное и воспитательное его значеніе. Для учащихся старшаго возраста. А. Радонежскаго.

Весьма краткое изложеніе біографіи едва ли можетъ считаться достаточнымъ для «старшаго возраста». Что касается самаго разбора, то онъ ничѣмъ не отличается отъ обычныхъ поверхностныхъ указаній на достоинства стиховъ Пушкина. Имѣются и неправильности: въ опредѣленіи періодовъ творчества Пушкина второй періодъ опредѣленъ съ 1822-го по 1829-ый годъ (?), а третій—съ 1824-го по 1837-ой. Никакого критическаго отношенія нѣтъ: поэту и его произведеніямъ приписываются всѣ достоинства и всѣ въ превосходной степени. Изложеніе тенденціозное: «Народъ нашъ любитъ ту же молитву (великопостную), такъ какъ въ ней выраженъ духъ... цѣломудрія, смиренія, терпѣнія и любви... Не тѣми ли же золотыми чертами украшены герои нашего народнаго эпоса?» Очевидно, авторъ совсѣмъ незнакомъ съ этими героями. На стр. 83 читаемъ слѣдующее: «Въ трагедіи «Борисъ Годуновъ»... поэтъ... самъ раздѣляетъ эту вѣру слѣпого пастуха въ благодатную исцѣляющую силу...» Утвержденіе слишкомъ смѣлое! Авторъ сильно не одобряетъ современныхъ дѣвицъ (стр. 65): Марина это—современная великосвѣтская дѣвица, которой знакома и политика и всѣ средства женскаго лукавства». Затѣмъ восхвляется, согласно Домострою, Ксенія: «точно простая деревенская дѣвушка» въ видѣ похвалы прибавляетъ авторъ. «Этотъ разговоръ Ксеніи съ няней переноситъ насъ въ ту эпоху, когда царская дочь отличалась отъ сѣнной и деревенской дѣвушки развѣ только парчевымъ платьемъ, но обѣ вѣрили, думали одинаково

и говорили однимъ языкомъ» (стр. 66). Едва ли, однако, юные читатели этой книги раздѣлять симпатіи автора, несмотря на все его краснорѣчіе въ защиту Домостроевскихъ идеаловъ. Кое-гдѣ испорченъ текстъ (стр. 87).

Въ заключеніе—quod licet Iovi, non licet bovi: Гоголь въ свое время могъ сказать, что «сравнительно съ Капитанской дочкой всѣ наши романы и повѣсти кажутся приторною размазнею», но въ настоящее время г. Радонежскому не слѣдовало бы повторять этого.

Пушкинъ, какъ поэтъ-этнографъ. Всев. Миллера.

Вышеназванная брошюра представляетъ изъ себя очеркъ, читанный авторомъ 25-го мая 1899 г. въ публичномъ засѣданіи этнографическаго отдѣла Общества любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи. Авторъ сначала останавливается на полной оторванности нашей литературы XVIII в. отъ народа, на литературныхъ вкусахъ общества того времени и начала XIX столѣтія, воспитаннаго на французской ложно-классической поэзіи, на слабомъ знаніи отечественнаго языка. Затѣмъ авторъ слѣдитъ, какъ «этотъ русскій французъ могъ дойти до геніальнаго воспроизведенія чисто народнаго языка и склада рѣчи» (стр. 13). В. Ф. отмѣчаетъ занятія Пушкина русскимъ языкомъ и затѣмъ постепенное возрастаніе интереса къ чисто народному элементу. Онъ удачно сопоставляетъ шутку Пушкина (1823 г.):

„Я вкругъ Стурдзы хожу,
Вкругъ библическаго,
Я на Стурдзу гляжу
Монархическаго...“

съ народной пѣсней:

„Вкругъ я печки хожу,
Кругъ муравленыя,
Я на печку гляжу,
На муравленую...“

Затѣмъ указывается, что постоянно возраставшій интересъ Пушкина къ изученію народнаго творчества заключился прямымъ собираніемъ народныхъ сказокъ и пѣсенъ. Къ брошюрѣ приложены 12 свадебныхъ пѣсенъ, лично записанныхъ Пушкинымъ и переданныхъ имъ Кирѣевскому для изданія въ 1838 г. въ сборникѣ послѣдняго.

Пѣсни записаны Пушкинымъ въ Псковской губ. Къ сожалѣнію, черновая тетрадка записей (собственно Пушкинская) не сохранилась и пѣсни цитируются по приготовленному къ печати сборнику Кирѣевскаго.

Въ общемъ, очень интересный и весьма обстоятельно составленный очеркъ.

Пушкинъ національный поэтъ. Рѣчь А. Н. Веселовскаго.

Рѣчь акад. Веселовскаго—сжатая характеристика значенія Пушкина, какъ перваго нашего народника-реалиста и по содержанію и по языку произведеній. Типы ложноклассическіе не были ни передуманы, ни выстраданы авторами: они просто были «примѣнены» къ русской жизни изъ франц. образцовъ. Это была поэзія объективная; «Романтизмъ изощрялъ чувство, велъ къ выработкѣ языка Жуковскаго и Батюшкова. Становилась возможною лирика непосредственнаго, личнаго настроенія, но мотивамъ общественности въ ней еще нѣтъ отзыва». Къ провозглашенію этихъ мотивовъ былъ призванъ Пушкинъ. «Какъ Мольеръ, бралъ онъ у другихъ свое: формы, отвѣчавшія его поэтическому чутью, будившія въ немъ его собственные «звуки новые»; типы, которые онъ находилъ кругомъ себя, стремленія, которыя дѣлилъ съ лучшими людьми своего времени и самъ переживалъ страстно и тревожно». Уже въ этомъ смыслѣ онъ былъ національненъ и могъ сказать:

„И неподкупный голосъ мой
Былъ эхо русскаго народа".

«Все это очутилось въ русской обстановкѣ, реальной и поэтической, выросло изъ нея, заодно съ нею: вездѣ ощущается народная подпочва. Вмѣсто развалинъ замка въ Швеціи» явились картины русскаго лѣта, осени, зимней бури, поэзіи русской деревни:

„Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи.
Передъ гумномъ соломы кучи".
(Изъ путешествія Онѣгина).

Конечно, вся эта родная поэзія не далась безъ долгаго и упорнаго труда при ея изученіи.

Народникъ-реалистъ Пушкинъ и въ смыслѣ языка: онъ сдѣлалъ народное слово достояніемъ поэзіи. Онъ защитилъ его словоупотребленіемъ сказки, требуя для языка болѣе воли, предпочитая простонародность «жеманству» и напыщенности. Не мало пришлось ему постоять за эти новшества, но то, чего не успѣлъ онъ, сдѣлало за него время: оно показало, кто правъ. Судьба не дала поэту досказаться:

„Какъ нѣкій херувимъ,
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ,
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье,
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть".

(Моцартъ и Сальери).

Но его пѣсни отозвались въ живомъ наслѣдіи русской поэзіи и будутъ вѣчно отзываться въ ней.

Вліяніе поэзіи Пушкина на развитіе самосознанія русскаго народа. Рѣчь въ славянскомъ Одесскомъ о-вѣ 11-го мая 1899 г. Мочульскаго.

Брошюрка Мочульскаго, занимая 16 неполныхъ страницъ, главнымъ образомъ изобилуетъ цитатами изъ Пушкина.

Неизвѣстно, зачѣмъ приведено все содержаніе Евг. Онѣгина. Конечный выводъ автора таковъ: «Главные типы Пушкина—носители высокой идеи о свободѣ и правахъ человѣческой личности. Но одни изъ героевъ (Алеко, Кавказскій Плѣнникъ, Онѣгинъ) «вооруженные и лучшимъ образованіемъ и лучшимъ воспитаніемъ» не осуществляютъ этой идеи вслѣдствіе личнаго эгоизма, «тогда какъ въ массѣ русскаго народа (Иванъ Кузьмичъ, поручикъ Ив. Иг., а также униженные и оскорбленные»: «Гробовщикъ», «Станціонный Смотритель») она (эта идея) теплится и при всякомъ удобномъ случаѣ готова загорѣться... Вмѣстѣ съ тѣмъ въ наше сознаніе проникла и та мысль, что широкіе планы и высокіе замыслы не всегда бываютъ по плечу русскому народу, а намъ нужно малое, но вѣрное дѣло... Не знаемъ, откуда послѣдняя мысль проникла въ автора, но во всякомъ случаѣ изъ сочиненій Пушкина такая мысль не вытекаетъ.

Значеніе Пушкина для Россіи. Г. Соколова.

Эта коротенькая брошюрка ничего не прибавляетъ къ уже сказанному о Пушкинѣ. Авторъ въ опредѣленіи значенія поэта для Россіи довольствуется общими мѣстами, къ тому же еще и изложенными довольно страннымъ языкомъ, какъ, напр., въ слѣдующей тирадѣ (стр. 5): «Отзывчивость на горе и нужды пришельцевъ изъ чужихъ земель, отмѣченное (sic); какъ замѣтное для всѣхъ свойство славянъ еще греческими хрониками, выражающаяся и въ состраданіи русскаго народа къ побѣжденному врагу; перешедшая (?) въ эпоху Петра I въ переимчивость и подражательность со стороны болѣе образованнаго класса общества...» и т. д. еще 6 строкъ до точки. Довольно странное историческое объясненіе заимствованія западной культуры при Петрѣ I. Встрѣчаются и противорѣчія (стр. 8 и 13) и невѣрныя опредѣленія (стр. 1).

Античный міръ въ поэзіи Пушкина. С. Любомудрова.

Цѣль настоящей статьи: «Прослѣдить внѣшнія проявленія внутренней работы поэта, установить извѣстныя вѣхи на пути его развитія въ данномъ (античномъ) направленіи и привести разрозненныя стихотворенія въ непосредственную связь и соприкосновеніе съ его личной жизнью». Авторъ раздѣляетъ антологическія произведенія на три періода: I—«пробы пера» до 20-го года; II—пребываніе Пушкина на югѣ (1820—24 гг.); III—жизнь въ селѣ Михайловскомъ. Авторъ отмѣчаетъ все нарастающій интересъ поэта къ классикамъ: сначала мелкія подражанія, основной мотивъ коихъ прекрасно выраженъ въ стихотвореніи «Гробъ Анакреона» (1815 г.):

„Смертный! Вѣкъ твой—привидѣнье:
Счастье рѣзвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся,
Чаще кубокъ наливай,
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай!“

Ко второму періоду относятся такія произведенія, какъ «Доридѣ» (1820), «Муза» (1821) «Покровъ, упитанный язвительною кровью...» и др. Въ нихъ сказывается уже бо̀льшая законченность,

способность «перевоплощаться» въ античный духъ. Сюда же относится большое стихотвореніе «Къ Овидію»; въ немъ есть и автобіографическій намекъ:

„Какъ ты, враждующей покорствуя судьбѣ,
Не славой, *участью я равенъ былъ тебѣ*".

Не лишена основанія догадка автора, что въ повышеніи интереса поэта къ древности послужило стимуловъ и то случайное обстоятельство, что во время путешествія по Крыму Пушкинъ осматривалъ историческіе памятники-развалины гроба Митридата и Пантикапеи. Въ письмѣ къ Дельвигу изъ Михайловскаго (дек. 1824 г.) онъ упоминаетъ, что наиболѣе сильное впечатлѣніе произвели на него баснословныя развалины храмы Діаны.

Третій періодъ означается переходомъ отъ Овидія и римской лирики къ историкамъ Тациту, Аврелію Виктору и рядомъ съ ними появляется тяготѣніе къ греческой поэзіи; александрійскій стихъ замѣняется гексаметромъ и пентаметромъ. Къ этому періоду относятся піесы: «Алкидъ», «Отрокъ», «Трудъ», «Аріонъ», «Пенатамъ» и наиболѣе характерныя: «Надгробная надпись Ѳеону», «Пиръ», «Вино». Три послѣднія являются претвореннымъ переводомъ изъ греческихъ поэтовъ Гедипа, Ксенофона Колофонскаго и Іона Хіосскаго. Въ этотъ же періодъ была задумана и отчасти начата повѣсть «Египетскія ночи».

Таково содержаніе брошюры Любомудрова.

Прежде всего надо обратить вниманіе на слишкомъ свободное употребленіе авторомъ термина «антологическій». Хотя этотъ терминъ вообще и не принадлежитъ къ числу твердо установленныхъ, тѣмъ не менѣе намъ кажется сомнительною возможностью подвести подъ него такія стихотворенія, какъ «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда...» «Отрокъ», «Трудъ».

На стр. 24, авторъ, со словъ Л. Поливанова говоритъ, что Пушкинъ введеніемъ въ свой языкъ славянизмовъ сообщилъ своеобразную прелесть русскому стиху и въ подтвержденіе приводитъ: земледѣлъ, мразъ, хладъ, власы и проч. Намъ кажется, что употребленіе этихъ словъ, наоборотъ, слѣдуетъ причислить къ слабымъ сторонамъ языка первоначальнаго творчества Пушкина и это есть послѣдніе отзвуки ложноклассическаго слога. Эти славянизмы наибо-

лѣе часто встрѣчаются въ раннихъ произведеніяхъ Пушкина (напр., въ «Воспоминаніяхъ въ Царскомъ Селѣ: нощи, россовъ, многократное; не сель), а потомъ постепенно исчезаютъ. Авторъ утверждаетъ, что Пушкинъ, несомнѣнно, читалъ Овидія много и притомъ въ подлинникѣ. То же какъ будто подтверждается и нѣкоторыми цитатами Пушкина изъ Овидія, Горація и др. Мы, на основаніи словъ самого же Пушкина, можемъ усомниться въ этомъ; такъ, въ своихъ критическихъ замѣткахъ поэтъ говоритъ: «Шестой пѣсни Онѣгина не разбирали, даже не замѣтили въ В. Евр. латинской опечатки. Кстати, съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ изъ лицея, *я не раскрывалъ латинской книги* и совершенно забылъ латинскій языкъ. Жизнь коротка, перечитывать некогда. Замѣчательныя книги тѣснятся одна за другою, а никто нынче по латини не пишетъ...» Отсюда ясно, что Овидія онъ не читалъ въ подлинникѣ. Самое бо́льшее, онъ могъ читать его en regard съ французскимъ переводомъ и только въ наиболѣе интересныхъ или неясныхъ мѣстахъ справляться съ подлинникомъ, какъ онъ и постулалъ при чтеніи Шекспира. Нѣкоторыя же цитаты, очевидно, запечатлѣлись въ богатой памяти поэта еще съ уроковъ Кошанскаго. Объ излишествѣ изученія древнихъ языковъ проводится мысль и въ «Запискѣ о народномъ воспитаніи».

Ничего не сказано у автора о несомнѣнномъ вліяніи Одессы на оживленіе о́бразовъ у поэта изъ античнаго міра; очень слабо упомянуто о греческомъ возстаніи и объ интересѣ къ нему со стороны Пушкина.

Въ заключеніе авторъ справедливо указываетъ, что и въ области антологическаго творчества Пушкинъ (вмѣстѣ съ Гнѣдичемъ и Батюшковымъ) создалъ въ русской литературѣ цѣлую школу: послѣ него и подъ его вліяніемъ появились русскіе поэты-классики: Майковъ, Мей, Фетъ.

Выясненію значенія Пушкина въ музыкѣ посвящено въ юбилейной литературѣ 6 наслѣдованій. 3 изъ нихъ вышли отдѣльными изданіями, а 3 помѣщены въ сборникахъ (Кіев. Педагогич. Общ. и въ сборникѣ журн. «Жизнь») и газетахъ (Р. Вѣд. № 146, 1899 г. статья Энгеля).

Мы разсмотримъ «*Пушкинъ въ музыкѣ. Обзоръ всѣхъ произведеній поэта, вдохновившихъ русскихъ композиторовъ. Краткая біографія поэта и его отроческая жизнь въ лицеѣ*» *Ерошенко.* «*А. С.*

Пушкинъ въ области музыки» Турыгиной и «Пушкинъ въ музыкѣ» М. М. Иванова.

Что касается первой брошюры, то юбилейная литература ничего не потеряла бы отъ ея отсутствія. Біографія поэта изложена очень странно: первая часть ея заимствована изъ соч. Авенаріуса Отроческіе годы Пушкина, а характеристикѣ дальнѣйшаго творчества и жизни Пушкина посвящены три странички, которыя заняты перечисленіемъ произведеній поэта и цитатами изъ нихъ. Затѣмъ излагается краткое содержаніе произведеній Пушкина, которыя вошли въ музыку. Это добавленіе мало понятно: трудно предположить, чтобы читатель, интересующійся вопросомъ о поэзіи Пушкина въ музыкѣ, не зналъ содержанія его произведеній.

Послѣднія 6 страницъ посвящены очень несложной характеристикѣ композиторовъ. Вотъ и все. Впрочемъ, авторъ сообщаетъ о Пушкинѣ и кое-что совсѣмъ до сихъ поръ неизвѣстное: оказывается, что на лицейскомъ экзаменѣ 1815 г. Пушкинъ читалъ передъ Державинымъ свое стихотвореніе «Голосъ мой» (?) (стр. 29).

Вторая брошюра на ту же тему, принадлежала перу Турыгиной, является также весьма неполной по содержанію. Прежде всего довольно неожиданнымъ по отношенію къ темѣ является эпиграфъ: «Гуманность Пушкина въ самомъ широкомъ значеніи этого слова должна быть почувствована и дѣтьми и народомъ и играть роль въ образованіи души ихъ очень важную». Затѣмъ идутъ мысли поэта о музыкѣ (въ видѣ цитатъ изъ его произведеній) и очень неполное перечисленіе и краткая характеристика композиторовъ, воспользовавшихся Пушкинскимъ текстомъ. Утвержденіе, что въ каталогѣ Бесселя перечислены всѣ вокальныя произведенія на слова изъ Пушкина—невѣрно. Зато изъ брошюры мы можемъ полностью узнать, какія еще существуютъ сочиненія г-жи Турыгиной и куда они допущены и кѣмъ одобрены и рекомендованы.

Третья брошюра, разрабатывающая аналогичную тему,—очеркъ М. М. Иванова серьезностью изслѣдованія и обстоятельностью выгодно отличается отъ писаній Ерошенко и Турыгиной.

Интересовался ли Пушкинъ музыкой? Вотъ первый вопросъ, который ставитъ авторъ и отвѣчаетъ на него утвердительно съ тою лишь оговоркою, что интересъ этотъ являлся у него постепенно, по мѣрѣ хода общаго развитія поэта. Въ дѣтствѣ Пушкинъ не

учился музыкѣ; въ лицейскихъ стихотвореніяхъ тоже нѣтъ никакихъ упоминаній объ этомъ искусствѣ. По выходѣ изъ лицея онъ, сдѣлавшись записнымъ балетоманомъ, начинаетъ интересоваться музыкой, но только въ Одессѣ онъ ознакомился съ серьезной музыкой и его восторгъ передъ Россини достаточно извѣстенъ изъ его писемъ къ брату (авг. 1823 г.) и къ Дельвигу (16 ноября 1823 г.). Авторъ приводитъ всѣ упоминанія о музыкѣ, встрѣчающіяся въ произведеніяхъ поэта. Наиболѣе близкое отношеніе къ области музыки имѣетъ поэма «Моцартъ и Сальери». Ивановъ говоритъ, что, судя по этой пьесѣ, поэтъ не имѣлъ яснаго представленія о природѣ и характерѣ музыкальнаго творчества. «Но въ «Моцартѣ и Сальери» высказаны и такія высокія мысли о музыкѣ, такой энтузіазмъ къ ней, который не можетъ оставаться безъ отклика въ душѣ всякаго музыканта».

Напрасно только авторъ винитъ Пушкина за фабулу пьесы, которой онъ яко бы взвелъ тяжкій поклепъ на память невиннаго человѣка (Сальери). Во-первыхъ, теперь достовѣрно извѣстно, что Сальери не при чемъ въ смерти Моцарта, а во-вторыхъ, тему Пушкинскаго произведенія надо понимать, такъ сказать, внѣ времени и пространства: это—противоположеніе генія и таланта, а вовсе не обвиненіе извѣстной личности; имена Моцарта и Сальери попали сюда случайно и не могутъ имѣть отношенія къ ихъ біографіи. Бо́льшая часть книги посвящена историческому обозрѣнію и характеристикѣ оперъ, написанныхъ на Пушкинскій текстъ. Таковыхъ оперъ насчитывается около 20, но многія капитальныя произведенія («Капитанская дочка», о которой только думалъ Чайковскій) еще совсѣмъ не использованы въ этой области. Зато нѣкоторыя оперы уже шли на заграничныхъ сценахъ («Евгеній Онѣгинъ» Чайковскаго, «Пиковая дама» Галеви).

Въ настоящее время оканчивается новая опера московскаго композитора Ильинскаго «Бахчисарайскій фонтанъ» г., вѣроятно, скоро появится на сценѣ. И долго еще геній Пушкина будетъ вдохновлять артистовъ и художниковъ.

Кромѣ оперъ, на текстъ произведеній Пушкина написано до 150 романсовъ, хоровъ, дуэтовъ и т. д.

Пушкинъ. Очеркъ Ив. Ив. Иванова. Съ 5 портретами, 9 рисунками и автографомъ поэта.

Въ своемъ очеркѣ Ивановъ даетъ намъ талантливую характеристику личности поэта, вкусившаго въ своей жизни и сладкія минуты, но гораздо больше горькихъ. Вотъ этимъ горькимъ минутамъ и посвящена главная часть очерка.

Неблагопріятны были условія общественной и семейной жизни поэта: и въ той и въ другой онъ являлся «лишнимъ» человѣкомъ. Но самое печальное—подъ конецъ своей творческой дѣятельности онъ оказался, если не «лишнимъ», то далеко и не необходимымъ для большинства читателей: немногіе поняли и оцѣнили по достоинству «Бориса Годунова». Авторъ очерка симпатичными штрихами рисуетъ намъ «непонятаго никѣмъ» поэта, все возраставшее враждебное отношеніе къ нему высшаго общества, внутреннія мученія—всю эту прозу жизни, которая закончилась неизбѣжнымъ открытымъ столкновеніемъ поэта съ его многочисленными врагами. Вина смерти Пушкина падаетъ не на отдѣльное лицо, а на все тогдашнее общество. Прекрасное развитіе и изложеніе темы дѣлаетъ очеркъ доступнымъ самому разнообразному кругу читателей.

Встрѣчаются нѣкоторыя мелкія неточности, (напр., утвержденіе, что арапъ Ибрагимъ былъ сыномъ простого негра (4 стр.), что у Кошанскаго ничему полезному Пушкинъ не научился (31 стр.), что Пушкинъ умеръ 29-го января въ 4 часа дня (вмѣсто 2 ч. 45 м.), но онѣ нисколько не умаляютъ общаго прекраснаго впечатлѣнія.

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Біографическій очеркъ, составленный А. И. Цомакіонъ подъ ред. проф. М. У. Ал. Ив. Кирпичникова.

Біографія поэта съ выясненіемъ значенія главныхъ его произведеній составлена превосходно. Это—лучшій популярный біографическій трудъ, какой намъ пришлось встрѣтить. Книжка составлена такъ, что доступна пониманію и народа и дѣтей и въ тоже время вполнѣ научна. Очень удачно помѣщено упоминаніе и краткое разъясненіе о французской «просвѣтительной» литературѣ XVIII в. и разсказъ о предшественникахъ Пушкина, безъ чего неподготовленному читателю неясна заслуга Пушкина, какъ перваго вполнѣ на-

ціональнаго поэта. По своей крайне дешевой цѣнѣ и общедоступному языку книжка въ особенности можетъ быть рекомендована читателямъ изъ народа. Къ числу маленькихъ недостатковъ надо отнести слѣдующее: слѣдовало бы пояснить такія слова, какъ «вирши, іезуиты» (какъ это сдѣлано съ словомъ «эпиграмма»); неясность (общая, впрочемъ, всѣмъ популярнымъ изданіямъ) въ упоминаніи о 14 дек. 1825 г. Но эти мелкія частности нисколько не умаляютъ общихъ достоинствъ этого полезнаго вклада въ популярную Пушкинскую литературу.

А. С. Пушкинъ. Біографія. Сычевой-Сафоновой.

Для кого предназначена эта біографія? Читателю, хотя поверхностно знакомому съ поэтомъ и его жизнью, она ничего не дастъ, такъ какъ въ ней сообщаются лишь внѣшнія свѣдѣнія да и то не полно (ни слова о причинахъ дуэли), въ человѣкѣ же, совсѣмъ не читавшемъ Пушкина и о Пушкинѣ, она не оставитъ никакого впечатлѣнія вслѣдствіе безсистемности и отрывочности сообщаемыхъ свѣдѣній. Затѣмъ, къ чему въ популярномъ изданіи такія подробности: «Пушкинъ любилъ хорошо поѣсть» (стр. 15), «Пушкинъ былъ причисленъ къ Мин. Ин. Дѣлъ съ жалованьемъ въ 600 р. въ годъ (стр. 13), а между тѣмъ о смерти поэта кратко и ясно сказано: «Онъ умеръ 29 янв. 1837 г., раненый на дуэли Дантесомъ» и затѣмъ прибавлено нѣсколько словъ о послѣднихъ минутахъ Пушкина.

Если книга предназначены для массы, то слѣдовало объяснить нѣкоторыя иностранныя слова, напр., карантинъ.

А. С. Пушкинъ. Жизнь и труды. Арк. Сосницкаго.

Брошюра, составленная Сосницкимъ, предназначается для народныхъ чтеній. О «трудахъ» Пушкина сказано очень мало; большее вниманіе удѣлено біографіи. Но и послѣдняя составлена какъ-то водянисто: нѣтъ ни изображенія рельефнаго характера поэта, ничего не сказано о его отрицательныхъ чертахъ и вслѣдствіе этого положительныя краски вышли блѣдны и шаблонны. Съ нѣкоторыми положеніями автора можно не согласиться: едва ли въ «Бахч. фон.» поэтъ воскресилъ «возможныя» событія и лица (стр. 16): трудно представить, чтобы такой ханъ, какъ онъ обрисованъ у Пушкина, могъ существовать въ Бахчисараѣ. Среди послѣдователей Пушкин-

ской школы не упомянуты такія величины, какъ Гоголь, Гончаровъ (стр. 21). Нельзя согласиться съ авторомъ и въ томъ, что отпѣваніе поэта совершилось съ подобающимъ торжествомъ. Гораздо лучше и полнѣе составлена другая книга для народа: «*Объ А. С. Пушкинѣ, великомъ писателѣ земли русской, о его жизни и сочиненіяхъ разсказано въ память ста лѣтъ со дня его рожденія Василіемъ Михеевымъ*». Здѣсь не только излагается біографія Пушкина въ связи съ его литературной дѣятельностью, но и дается краткій обзоръ вообще русской литературы, что необходимо для неподготовленнаго читателя. Очеркъ написанъ въ общемъ систематично и хорошо, хотя и страдаетъ отъ нѣкоторой вычурности и искусственности языка.

Великій русскій поэтъ Ал. Серг. Пушкинъ. Біографія, составленная Пляшкевичемъ.

Для кого издано сіе писаніе на 28 страницахъ? Для взрослаго и интеллигентнаго читателя оно, по скудости сообщаемыхъ свѣдѣній, не можетъ быть предназначено, а если для дѣтей и народа (о чемъ можно догадываться и по нравоученію на стр. 8-ой о томъ, что «должно уважать старшихъ»), то почему не объяснены такія слова, какъ Виландъ, Горацій, стансы? Встрѣчаются и прямыя неправильности: Указано, что Пушкинъ отъ 6 до 13 лѣтъ жилъ въ Захаровѣ, а между тѣмъ извѣстно, что 12 авг. 1811 года онъ поступилъ въ лицей. «Посланіе къ Ю—ву» отнесено къ 1816 г. (вм. 1815). О пребываніи въ лицеѣ не сказано ни слова. А вотъ причина смерти поэта: «Болѣзнь и смерть матери и другія непріятности свели его въ могилу». Изданіе снабжено множествомъ опечатокъ.

Пушкинъ на Кавказѣ. Составилъ и издалъ Бѣличевъ.

Составленіе этой книжечки заняло у автора, вѣроятно не болѣе часа. Онъ поступилъ очень просто: перепечаталъ у Л. Майкова записку Мих. Ив. Пущина о встрѣчѣ съ Пушкинымъ за Кавказомъ, помѣстилъ стихотворенія Пушкина, имѣющія отношеніе къ Кавказу («Кавказъ», «Обвалъ», «Делибашъ» и др.), снабдилъ отрывками изъ писемъ поэта къ брату и... книга готова. Простой и оригинальный способъ! Очевидно, изъ уваженія къ имени Л. Майкова цѣна назначена непомѣрная.

Пушкинъ для юношества. Евстафіева.

Эта брошюрка—оттискъ изъ книги того же автора «Новая русская литература». Біографія изложена слабо: нѣтъ никакой обрисовки характера поэта и слабо разработано соотношеніе между жизнью и творчествомъ поэта.

Авторъ даже не потрудился справиться о годѣ окончанія Пушкинымъ лицея: этотъ фактъ у него отнесенъ къ 1816 году. Главная часть брошюры посвящена разбору произведеній поэта.

Въ юбилейной литературѣ имѣются три сборника стихотвореній, посвященныхъ Пушкину: *Поэты—поэту. Сборникъ стихотвореній, посвященныхъ А. С. Пушкину на его кончину и открытіе памятника въ Москвѣ. И. Н. Божерянова. 2) Русскіе поэты о Пушкинѣ. Юбилейный сборникъ стихотвореній, составленный М. Н. Араловой* и *3) Русскіе поэты о Пушкинѣ. Сборникъ стихотвореній. Составилъ В. Каллашъ.*

Всѣ три сборника составлены совершенно различно: Божеряновъ далеко не исчерпалъ и своей ограниченной темы и далъ только 33 стихотворенія, Аралова въ своей тощей книжечкѣ помѣстила 38 піесъ различныхъ годовъ. Въ сравненіи съ сборникомъ В. Каллаша, о которомъ сейчасъ будетъ сказано, книга Араловой не имѣетъ никакого самостоятельнаго значенія. Впрочемъ, въ интересахъ справедливости, мы должны указать, что въ ея сборникѣ помѣщено стихотвореніе А. Полежаева «На память Пушкина», котораго нѣтъ у Каллаша.

Сборникъ Каллаша, въ сравненіи съ предыдущими, составленъ довольно полно, хотя, безотносительно, въ немъ много пропусковъ, которые будутъ указаны ниже. Здѣсь помѣщено 226 стихотвореній почти 200 авторовъ. По мысли составителя сборникъ долженъ былъ дать все, что есть въ русской поэзіи (и отчасти, иностранной) о Пушкинѣ (кромѣ драмат. произведеній) и потому здѣсь, на ряду съ знаменитымъ «Погибъ поэтъ, невольникъ чести...» Лермонтова, попадаются и мало удачныя творенія, напр. Швецова (стр. 255, рифмы: Пушкинъ—послушный и др.), Попова и проч. Весь матеріалъ по удачной мысли автора раздѣленъ на отдѣлы, по періодамъ. Такъ, первый отдѣлъ—стихотворенія при жизни Пушкина, второй—стихотворенія на смерть Пушкина, четвертый—на открытіе памятника

(1880 г.), такъ что при чтеніи не нарушается цѣльность впечатлѣнія. Жаль только, что авторъ кромѣ этого хронологическаго указателя не помѣстилъ еще и поименнаго, что значительно облегчало бы трудъ отыскиванія извѣстнаго автора.

При помощи нѣкоторыхъ справочныхъ изданій (напр. описаніе Пушкинскаго Музея Имп. Ал. Лицея) мы можемъ отмѣтить въ книгѣ Каллаша до 25 пропусковъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ (Варш. дневн., Смол. Вѣстн., Донская пчела, Кіевлянинъ, Новоросс. Телегр., Петербург. Газета, Харьк. Вѣд., Витебск. губ. Вѣд., Костромск. губ. Вѣд. и др.) за разные года слѣдующихъ авторовъ: Самойлова, Подушки, Миловидова, Ан. Александрова, Бурбонова, Карамышева, Савинова, гр. А. А. Голенищева-Кутузова и др.

Со своей стороны можемъ добавить, что въ юбилейной литературѣ помѣщены новыя стихотворенія: Тана, Гуревича, Голенищева-Кутузова, Аверкіева, Щепкиной-Куперникъ, Федорова-Давыдова, Бѣлоусова и др.

Пятидесятиязычный Пушкинъ, т. е. переводы А. С. Пушкина на 50 языковъ и нарѣчій міра. Библіографическій вѣнокъ на памятникъ А. С. Пушкину, сплетенный къ столѣтію его рожденія. Составилъ Драгановъ, кандидатъ историко-филологическаго фак. Импер. С.-Петербургскаго Университета, дѣйствительный членъ С.-Петербургскаго Археологическаго Института, членъ-сотрудникъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества и помощникъ библіотекаря Императорской Публичной Библіотеки.

Содержаніе брошюры Драганова раздѣляется на двѣ части: на предисловіе (весьма обширное и ничего общаго съ трактуемымъ предметомъ, кромѣ перечисленія заслугъ автора передъ русской литературой, не имѣющее) и на хронологическій указатель переводовъ Пушкина на различные языки (51). Обыкновенно, болѣе подробно говорится о первомъ или, вообще, одномъ переводѣ, а остальные означаются только количествомъ номеровъ. Возьмемъ, напр., переводы на нѣмецкій языкъ. Первый переводъ относится къ 1823 г. (Кавказскій Плѣнникъ) и вышелъ подъ иниціаломъ В (Вульфертъ). Объ этомъ переводѣ узнаемъ у Драганова только внѣшнія подробности (отпечатанъ въ Спб., 32 стран.) и ничего по существу. За-

тѣмъ указывается, что піонерами въ дѣлѣ знакомства Германіи съ Пушкинымъ были Кенигъ и Фарнгагенъ и слѣдующими за В (Вульфертомъ) переводчиками—Каролина Павлова, Ольбергъ, Липпертъ, Брандисъ и нѣк. др., а всего нѣмецкихъ переводовъ Пушкина и его изученій 224 №№. Очевидно, что настоящая книга есть не болѣе, какъ матеріалъ для будущей аналогичной работы.

Попадаются въ перечисленіи переводовъ и пропуски, которыхъ намъ удалось замѣтить до 30-ти. Пропущены нѣкоторые переводы на языки: французскій, итальянскій, нѣмецкій, англійскій, финскій, греческій, польскій, сербскій, болгарскій, чешскій, словацкій, хорватскій (у Драганова—иллирійскій), румынскій, армянскій, японскій. Укажемъ для примѣра на слѣдующіе пропуски: нѣтъ упоминанія о переводѣ на *ит. яз.* Делятра «Racconti poetici di Puschchin. Firenze 1856 г.», гдѣ помѣщены: Евг. Он., Кавк. Пл., Бах. Фон., Цыгане, Полтава. *Англ. яз.*: пропущенъ переводъ Левиса 1849 г.: Бор. Год. *Нѣм. яз.* Въ янв. 1833 г. въ журналѣ «Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Russlands» (Дерптъ) былъ напечатанъ оригиналъ и переводъ сцены «Григорій и злой чернецъ» пер. Розена. На *японскій яз.* существуетъ переводъ «Капитанской дочки», хотя и сокращенный. Въ перечнѣ *испанскихъ* переводовъ есть неточности: Драгановъ (со словъ Межова) приписываетъ первый переводъ нѣкоему V. S. C. (1879 г.), но это неправильно: первый переводъ (Novelos Rusas) появился въ печати въ 1877 г. [1]) Спѣшимъ оговориться, что мы не имѣли возможности навести справки по всѣмъ языкамъ, но, судя по пропускамъ, сосчитаннымъ нами въ 16 вышеуказанныхъ языкахъ, число всѣхъ дефектовъ должно быть весьма значительно. Въ дополненіе мы можемъ прибавить, что за послѣднее время появились еще переводы на еврейскій языкъ (Фришманъ. Избранныя стихотворенія Пушкина Спб. 1899), на словацкій («Па-

---

[1]) Для провѣрки перечисленія переводовъ у Драганова мы пользовались слѣд. книгами и статьями: „Пушкинъ въ славянск. перев." Пл. Кулаковскаго, библіографіей Венгерова къ статьѣ А. И. Кирпичникова „Пушкинъ" (энцикл. слов. т. 50), „Описаніе Пушкинскаго музея Имп. Александр. Лицея" Асиаша и Яхонтова, статьей Кудрявскаго Истор.-В. XI. 1899, статьей Ю. Веселовскаго въ „Пушкинскомъ Сборникѣ" петербургскихъ литераторовъ и мелкими газетными замѣтками.

мятникъ» и «Пророкъ» Подъяворинской-Ризничъ въ журн. Slovenske Pohl'ady, VI, 1899), армянскій (Полтава, «Бр. разб»., «Скупой рыцарь» Теръ-Геворкіана), халдейскій («26 мая 1828 г.», «Воспоминаніе») [1]).

Что касается замѣчаній общаго характера, то нельзя обойти молчаніемъ, что, несмотря на свой возвышенный патріотизмъ и на всѣ литературныя и научныя свои заслуги (которыя подробно перечислены въ предисловіи), авторъ слабо владѣетъ русской литературной рѣчью («и пальца о палецъ не положили» стр. IX) и даже не совсѣмъ твердъ въ орѳографіи («поимянно»). Попадаются и такія странныя опечатки, что Лермонтовъ умеръ въ 1814 году. Говоря о переводахъ на голландскій языкъ, авторъ называетъ Голландію родиной убійцы Пушкина. Утвержденіе довольно рискованное, принимая во вниманіе собственное показаніе Дантеса, что его родъ происходитъ изъ Ирландіи, а дѣдъ и отецъ его жили во Франціи [2]).

Въ оцѣнкѣ пушкинской поэзіи больше всего, повидимому, посчастливилось у Драганова стихотворенію «Клеветникамъ Россіи»: авторъ 9 разъ упоминаетъ о немъ въ своей брошюрѣ и не иначе, какъ съ умиленіемъ и съ присоединеніемъ эпитетовъ «знаменитое обвинительное стихотвореніе», «знаменитый гнѣвный вызовъ». Но съ особымъ жаромъ нападаетъ г. Драгановъ на Мицкевича, Вл. Соловьева и Спасовича. Невольно вспоминается извѣстная басня Крылова о слонѣ и его слишкомъ рьяномъ непріятелѣ.

Русско-польскія отношенія и чествованіе поляками Пушкина.

Неизвѣстный авторъ этой брошюры такъ опредѣляетъ цѣль ея изданія: «Общество обществу аукается, а отклика нѣтъ: онъ теряется гдѣ-то въ промежуточномъ пространствѣ: добрыя русскія намѣренія не доходятъ до поляковъ, польскія до русскихъ». Самая брошюра представляетъ изъ себя отчетъ о литературномъ обѣдѣ въ честь Пушкина 23 мая 1899 г. Приведены рѣчи Спасовича, Кони, Карѣева, Арсеньева, Донимірскаго, Копёры и мн. др. Общій тонъ рѣчей—примиреніе народовъ-братьевъ. Помѣщена масса телеграммъ, читанныхъ за обѣдомъ. Изъ послѣднихъ выдаются: Владисл. Миц-

[1]) Переводы на халдейскій помѣщены въ Пушкинскомъ Сборникѣ П. Б. литераторовъ.

[2]) Истор. В. XI, 1899, стр. 601.

кевича (сынъ поэта), Оржешко, многихъ проф. заграничныхъ польскихъ университетовъ. Обширное предисловіе констатируетъ улучшеніе отношеній между русскимъ и польскимъ обществомъ и вниманіе государственныхъ сферъ къ нуждамъ польскаго народа.

Въ заключеніе, обсуждая заявленія извѣстной части прессы, что еще недостаточно возстановлено довѣріе къ населенію царства Польскаго, авторъ справедливо замѣчаетъ: «Вѣдь въ царствѣ Польскомъ не существуетъ ни земскихъ, ни дворянскихъ учрежденій, ни городскихъ выборныхъ управленій. Въ какой же области, при отсутствіи органовъ общественнаго самоуправленія, могла бы тамъ проявиться такая положительная дѣятельность, которая должна была бы снискать довѣріе къ нынѣшнему настроенію края?»

Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ. Драматическій этюдъ въ 1-мъ дѣйств. Вс. Чешихина.

Очень миленькое произведеніе, написанное изящными стихами, наглядно рисующее одну изъ сценъ жизни Пушкина. Правда, ради цѣльности впечатлѣнія допущены нѣкоторыя хронологическія отступленія (такъ, Дельвигъ пріѣзжалъ къ Пушкину въ 1825 году, а въ этюдѣ—въ 1826 г.), но въ общемъ этюдъ очень удачный. Прекрасно обрисованы характеры Анны Вульфъ (Татьяны) и Зизи (Ольга). Пушкину прибавлено немного лишняго: онъ вовсе не былъ такимъ импровизаторомъ, какимъ изображаетъ его Чешихинъ: въ этюдѣ Пушкинъ импровизируетъ напр., «Деревню», «Пророка» и др. Это—несомнѣнно, licentia poëtica. Часть роли Пушкина изложена его же собственными стихами.

Памяти Пушкина. Мысли въ стихахъ. Полтавина.

Невозможныя вирши на тему о добродѣтели Пушкина и негодности Мицкевича. Въ стихахъ встрѣчаются такіе перлы:

„... гдѣ безъ смутъ столица такъ богата,
и гдѣ еврей такъ гордъ банкирской головой."

Но лучше всего заключеніе:

„О какъ бы нашъ поэтъ себя усовершилъ,
Коль прожилъ бы года, которые влачилъ
Кончинѣ вслѣдъ его, поэтъ-литвинъ такъ жалко
Спустившись съ высоты!"

Пушкинскій день. Коханскій и Добротворскій.

Эта макулатурная брошюрка въ 16 стр. представляетъ изъ себя плодъ поэтическаго творчества и фантазіи двухъ вышеупомянутыхъ авторовъ: первый написалъ стихотвореніе (довольно страннымъ языкомъ), а второй состряпалъ легенду.

БИБЛІОГРАФІЯ 1899 г.

(Также книги вышедшія вторымъ изданіемъ).

Анненковъ. А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху.
» Матеріалы для біографіи Пушкина.
Антокольскій. Шутки и остроты Пушкина.
Архангельскій. Пушкинъ въ его произведеніяхъ и письмахъ.
Борзенковскій. Великій поэтъ А. С. Пушкинъ.
Бороздинъ. Воспитательное значеніе Пушкина.
Бураковскій. Пушкинъ. Біографич. свѣдѣнія и разборъ для уч.
Буренинъ. Критическіе этюды о Пушкинѣ.
Бѣлинскій. Обзоръ русской литер. отъ Ломоносова до Пушкина.
» Сборникъ статей о Пушкинѣ.
В. Біографія Пушкина.
Вв—скій. Панихида на могилѣ Пушкина 26 м. 1880 г.
Венкстернъ. Пушкинъ. Біографическій очеркъ.
Виноградовъ. Значеніе А. С. Пушкина для каждаго изъ насъ.
Витбергъ. Пушкинъ. Рѣчь на женскихъ педагогич. курсахъ.
Владиміровъ. А. С. Пушкинъ. Его жизнь и дѣятельность.
Гротъ. Я. Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники.
Демидовъ. Пушкинъ, его жизнь и творчество.
«*Дешевая библіотека*». Пушкинъ.
Доманскій. Памяти Пушкина.
Достоевскій. Рѣчь о Пушкинѣ.
Дьякова. Біографія Пушкина для маленькихъ дѣтей.
Зелинскій. А. С. Пушкинъ въ разборѣ Бѣлинскаго.
» Русская критическая литер. о Пушкинѣ.

Корольковъ. Пушкинскіе дни въ Пензѣ.
Ладыженскій. А. С. Пушкинъ. Чтеніе для народа.
Либровичъ. Пушкинъ въ портретахъ.
Лобановъ. О мѣстѣ дуэли Пушкина.
Lurus. Einige Worte über Puschkin.
Мамонтовъ. Смерть Пушкина.
Марковинъ. О развитіи таланта Пушкина въ связи съ его біографіей.
Марковъ. Выбранныя сочиненія Пушкина въ связи съ его біографіей.
Назимовъ. Общественные идеалы Пушкина.
Незеленовъ. Рѣчь о Пушкинѣ 29 янв. 1887 г.
» Шесть статей о Пушкинѣ.
Никольскій В. Идеалы Пушкина.
» *Н.* Пушкинскій сборникъ.
Изд. «*Одесскаго лит.-арт. О-ва*». Дѣло о Пушкинѣ (1820 г.).
Острогорскій. Очерки Пушкинской Руси.
» Пушкинскій уголокъ.
» Пушкинъ въ народной школѣ.
Павлищевъ. Воспоминанія о Пушкинѣ.
Петровъ. И. В. Памяти Пушкина.
Петровъ-Іевлевъ. У памятника Пушкину.
Полтавинъ. Стихи для кантаты въ честь Пушкина.
Пыпуховъ. Два года изъ жизни Пушкина.
Романовъ. Юбилейный сборникъ истор.-лит. статей о Пушкинѣ.
Румянц. музей. Пушкинская выставка въ М. П. и Р. М. Указатель.
Сиповскій. Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ.
» Онѣгинъ, Татьяна, Ленскій.
Скабичевскій. Воспитательное значеніе Пушкина.
Соловьевъ Вл. Судьба Пушкина.
Стоюнинъ. Историческія сочин. ч. П. Пушкинъ.
Страховъ. Замѣтки о Пушкинѣ и друг. писателяхъ.
Т. Гдѣ же родился А. С. Пушкинъ?
Тихомировъ. А. С. Пушкинъ. Чтеніе для школъ и народа.
» А. С. Пушкинъ. Для дѣтей школьнаго возраста.
Троицкій. Религіозный элементъ въ произв. Пушкина.
Трубачевъ. Пушкинъ въ русской критикѣ.
Фаресовъ. А. С. Пушкинъ и чествованіе его памяти.
Филоновъ. Бор. Годуновъ. Истор.-эстет. разборъ.

Харціевъ. Чтеніе о Пушкинѣ.
Харьк. О-во Грамотн. А. С. Пушкинъ.
Черняевъ. «Пророкъ» Пушкина въ связи съ его «Подражаніями Корану».
Черняевъ. Пушкинъ, какъ любитель античнаго міра.
Шевляковъ. Пушкинъ въ анекдотахъ.
Шляпкинъ. Къ біографіи А. С. Пушкина.
Шмурло. Маска и письмо Пушкина.
Южаковъ. Любовь и счастье въ произведеніяхъ Пушкина.
Якушкинъ. О Пушкинѣ. Статьи и замѣтки.

Переводы соч. Пушкина.

Lupus. Нѣм. Eugén Onégin von Puschkin.
» Нѣм. Aus Al. Puschkins Dichtungen.
» Фр. Aux calomniateurs de la Russie.
Тернеръ. Анг. Translation from Puchkin.
Фришманъ. Евр. Избранныя ст. Пушкина въ перев. на евр. яз.

Изданія сочиненій Пушкина.

А. И. Мамонтова въ 3-хъ тт.
Черноярова.
Сытина. Иллюстрированныя соч. Пушкина.
Художественное изданіе соч. Пушкина.
Полубояринова. Пушкинъ для юношества.
Божоера. Избранныя соч. въ стихахъ и прозѣ.
Земскаго. Собраніе соч. Пушкина, Лермонтова, Кольцова и Земскаго и масса изданій отдѣльныхъ произв.
Альбомъ юбилейной Пушкинской выставки въ С.-Петербургѣ.
Альбомъ » » » » Москвѣ.
Альбомъ «Пушкинскій уголокъ». Текстъ В. П. Острогорскаго.

Сочиненія безъ имени автора:

26 мая 99 г. въ Кіевской I мужской и Кіев. жен. гимн.
Поэтъ-Пушкинъ. Общедоступное чтеніе.
Сборникъ статей о Пушкинѣ.
Религіозные мотивы въ сочиненіяхъ Пушкина.
Шутки и остроты Пушкина.

„Узникъ“ Пушкина въ народной передѣлкѣ.

Для изученія произведеній А. С. Пушкина не безынтересно знать, какъ они воспринимаются простымъ народомъ. Разборъ народныхъ передѣлокъ Пушкинскихъ стихотвореній и отыскиванье другихъ слѣдовъ вліянія Пушкина на теперешнюю народную словесность помогли бы отчасти при рѣшеніи вопроса о народности Пушкина, вопроса, чаще другихъ поднимавшагося, но до сихъ поръ почти еще не поставленнаго на научную почву. Такое изученіе должно бы идти рядомъ съ отыскиваньемъ мотивовъ, взятыхъ Пушкинымъ самимъ изъ произведеній такъ называемаго народнаго творчества.

Съ другой стороны, намъ кажется, что изученіе тѣхъ пѣсенъ, которыя, такъ сказать, на нашихъ глазахъ становятся народными, очень важно въ методическомъ отношеніи, что именно съ такихъ пѣсенъ удобнѣе начинать при изученіи народной пѣсни. Пѣсни литературнаго происхожденія при сличеніи ихъ съ подлинниками помогли бы выяснить законы собственно «*народной*» пѣсни.

Давно уже высказывается мнѣніе, что народная пѣсня на Руси вырождается. Многіе обрекаютъ ее на постепенное вымираніе, отрицая возможность процвѣтанья или даже просто здоровой жизни ея при теперешнихъ условіяхъ [1]). Нѣкоторые доходятъ до того, что-

---

[1]) См. Владиміровъ. Введеніе въ исторію русской словесности. Кіевъ 1896 стр. 52, Пыпинъ, Исторія русской литературы, т. III, Спб. 1899, стр. 94—96 Лопатинъ и Прокунинъ въ предисловіи къ изданному ими Сборнику русскихъ народныхъ лирическихъ пѣсенъ, М. 1889; Васнецовъ—Пѣсни Сѣверной Россіи, М. 1894—предисл., Истоминъ и Дютшъ и мн. др., между прочими Ѳ. Е. Коршъ. Но такое мнѣніе раздѣляется не всѣми. Такъ, противъ него высказывались А. И. Соболевскій (Въ Извѣст. IX археолог. съѣзда въ Вильнѣ. 1893 № 13. Пренія по поводу реферата Тиховскаго), Вс. Ѳ. Миллеръ, Вл. Н. Перетцъ и др.

возстаютъ противъ самаго изученія новѣйшихъ пѣсенъ. Здѣсь не мѣсто входить въ полемику по поводу этого взгляда, тѣмъ болѣе, что ни современная, ни даже старинная русская лирическая народная пѣсня почти не изслѣдованы. Разрѣшить вопросъ о томъ, какъ надо смотрѣть на теперешнее положенье народной пѣсни, можно только путемъ ея изученья, а до тѣхъ поръ всякія сужденія объ упадкѣ народной пѣсни и невозможности ея существованія въ будущемъ слѣдуетъ считать преждевременными.

Въ виду всего этого считаю нелишнимъ остановиться на одной изъ новѣйшихъ пѣсенъ литературнаго происхожденія, именно, на народной передѣлкѣ стихотворенія Пушкина «Узникъ».

Народныхъ пѣсенъ, представляющихъ передѣлку литературныхъ стихотвореній, довольно много. Такъ, наприм., изъ одного Пушкина въ народъ попали, по крайней мѣрѣ, слѣдующія стихотворенія: 1) «Подъ вечеръ осени ненастной» [1]); 2) Черная шаль; (обѣ пѣсни въ настоящее время, кажется, уже забыты въ народѣ); 3) Казакъ: «Разъ полуношной порою»... (въ центральныхъ губерніяхъ Россіи считается уже старой и почти не поется); 4) Узникъ. Кромѣ того, отмѣт. Некрасова: «Катеринушка», «Что такъ жадно глядишь на дорогу» и др.; Полонскаго—Затворница; Жуковскаго—Три путника (переводъ ст. Уланда), и т. д., даже Беранже въ переводѣ Курочкина—«У старушки у одной я сымалъ каморку».

Ни одна изъ пѣсенъ литературнаго происхожденія не осталась безъ передѣлки, и это вполнѣ понятно; иначе нельзя бы было и говорить о «народной» пѣснѣ. Дѣло въ томъ, что каждая пѣсня въ основѣ должна принадлежать какому-нибудь одному автору, но будь это Пушкинъ или к.-н. безыменный авторъ, какими являются сочинители большей части народныхъ пѣсенъ,—пока въ народѣ бьется хоть какая-нибудь творческая жилка, пока народъ воспринимаетъ пѣсню не одной только памятью,—всякая пѣсня будетъ перерабатываться народомъ постепенно на свой ладъ. Очень интересно бываетъ прослѣдить, какимъ измѣненіямъ подвергается пѣсня послѣ того, какъ изъ к.-н. пѣсенника попадетъ въ народное употребленіе.

---

[1]) Относительно принадлежности этого стихотворенія Пушкину, впрочемъ, высказываются сомнѣнія.

Пѣсня *живетъ* въ народѣ, подвергаясь передѣлкамъ, осмысливающимъ ее въ народномъ сознаніи.

При разборѣ народныхъ пѣсенъ литературнаго происхожденія нельзя забывать о той посредствующей роли, какую играютъ при этомъ народные пѣсенники и лубочныя картинки. Въ нихъ иногда находимъ стихотворенія извѣстныхъ писателей въ передѣланномъ видѣ, часто безъ подписи. Такое явленіе можетъ объясняться двояко—или составитель пѣсенника дѣйствительно самовольно распорядился чужимъ стихотвореніемъ, или же это стихотвореніе еще раньше пѣсенника распространилось въ народѣ, и составитель пѣсенника напечаталъ его въ готовой народной редакціи. И то и другое—возможно. Какъ на примѣръ такого измѣненья, могу указать на стихотворенье Я. П. Полонскаго «Затворница», напечатанное въ «Полномъ Пѣсенникѣ» Живарева (М. 1895, стр. 443—444) безъ подписи, съ выпускомъ послѣдней строфы и съ сильнымъ измѣненіемъ предпослѣдней. Записанный мною въ Рузскомъ у. Московской губ. варіантъ той же пѣсни восходитъ къ Живаревской редакціи этого стихотворенія.

Намѣреваясь заняться впослѣдствіи болѣе обстоятельнымъ изученіемъ народныхъ передѣлокъ литературныхъ стихотвореній, я пока въ настоящей статьѣ не касаюсь тѣхъ вопросовъ, которые потребовали бы особенно тщательнаго разбора. Поэтому я даю только характеристику извѣстныхъ мнѣ варіантовъ, не пытаясь опредѣлить ихъ генеалогическую зависимость. Послѣдняя работа могла бы быть выполнена только при знакомствѣ съ большимъ числомъ варіантовъ. Къ сожалѣнію, я не могъ воспользоваться ни народными пѣсенниками, въ которыхъ напечатано это стихотвореніе, ни его лубочными изданіями и даже не знаю, существуютъ ли лубочныя картинки съ этимъ стихотвореніемъ. Только знакомство съ такими изданіями, а также и съ другими варіантами той же пѣсни помогли бы установить генеалогическую зависимость между ними и прослѣдить ходъ народнаго творчества въ переработкѣ этой пѣсни. Параллели изъ другихъ народныхъ пѣсенъ я привожу только по двумъ изданіямъ: 1) А. И. Соболевскій. Великорусскія народныя пѣсни. т. I—IV, Спб. 1895—1898, и 2) А. Васнецовъ. Пѣсни Сѣверо-восточной Россіи, М. 1894. Несомнѣнно, что можно подыскать болѣе близкія параллели ко 2-й части разбираемой народной пѣсни, чѣмъ это

сдѣлано мной; быть можетъ, удастся опредѣлить (конечно, приблизительно), даже источники этой 2-й части. Но такая работа требуетъ болѣе тщательнаго пересмотра имѣющагося матеріала.

Народная передѣлка Пушкинскаго «Узника» представляетъ любопытный примѣръ измѣненія литературнаго стихотворенія при переходѣ въ народъ. Мнѣ эта пѣсня извѣстна по 8 варіантамъ, представляющимъ замѣтныя различія. По содержанію можно раздѣлить эти варіанты на 3 группы: 1) Вар. № 1; 2) варр.: №№ 2, 3, 4, 5, и 3) варр. №№ 6, 7 и 8. Въ вар. № 1, какъ и у Пушкина, дѣйствуютъ узникъ и орелъ, но къ нему прибавлено кромѣ того окончаніе, въ которомъ узникъ вспоминаетъ о своей милой. Въ варр. 2-й и 3-ей группы узникъ остается въ сторонѣ; въ пѣснѣ поется о двухъ орлахъ, изъ которыхъ одинъ сидитъ въ клѣткѣ, а другой—на свободѣ. 2-я группа отличается отъ 3-ей тѣмъ, что въ ней есть окончаніе, сходное съ окончаніемъ вар. № 1. Въ варр. 3-ей группы этого окончанія нѣтъ, и пѣсня заканчивается призывомъ орла улетѣть въ фантастическую страну. Раздѣляя такимъ образомъ варіанты этой пѣсни на группы, я имѣю пока въ виду только содержаніе, а не отдѣльныя выраженія или даже генеалогическую зависимость варіантовъ. Вар. № 6, наприм., по нѣкоторымъ выраженіямъ стоитъ ближе къ вар. № 1, и тѣмъ не менѣе я отношу его по содержанію къ 3-й группѣ, вмѣстѣ съ наиболѣе удаленнымъ отъ него по отдѣльнымъ выраженіямъ вар. № 8. Тщательное сличеніе варіантовъ помогло бы опредѣлить, въ какомъ отношеніи они находятся между собой, какой видъ народной передѣлки «Узника» наиболѣе архаичный и пр.

Во всѣхъ варіантахъ народной передѣлки измѣненія противъ Пушкинскаго оригинала очень значительныя. Пѣсня въ народной передѣлкѣ приняла совсѣмъ не тотъ характеръ, какой она носитъ у Пушкина.

«Узникъ» Пушкина, повидимому,—разбойникъ, заключенный за свои преступленія въ темницу. Онъ называетъ орла своимъ «товарищемъ», вѣроятно, за сходное ремесло. Видъ этого «товарища», подлетѣвшаго къ окну съ «кровавой пищей», возбуждаетъ въ узникѣ зависть и желаніе поскорѣе вырваться на свободу, и ему кажется,

что и орелъ зоветъ его съ собой. Кромѣ свободы, именно, той безграничной свободы, какой пользуется орелъ, узникъ у Пушкина ничего больше не желаетъ.

Какъ же понято это стихотвореніе въ народной передѣлкѣ? Разсмотримъ сначала вар. № 1. Мы уже отмѣтили, что у Пушкина орелъ молодой—на волѣ, внѣ темницы. Онъ подлетаетъ къ окну, клюетъ у окна кровавую пищу и зоветъ (какъ кажется узнику) узника съ собой на волю. Но самъ Пушкинъ ни слова не говоритъ о томъ, что орелъ—за окномъ, на волѣ. Поэту казалось, что это и безъ того понятно. Оказалось не такъ. Орелъ называется у Пушкина «грустный товарищъ» (узника). Съ чего ему грустить, если онъ на волѣ, и какой онъ товарищъ, если ихъ участь различна? Слова: «вскормленный на волѣ» могутъ подать поводъ къ предположенію, что орелъ лишился этой воли. Орелъ «смотритъ въ окно, какъ будто со мною задумалъ одно». Но его дума не можетъ быть одна съ думами узника; если узникъ хочетъ вырваться на свободу, то этого незачѣмъ хотѣть орлу, разъ онъ свободенъ. Такимъ образомъ, нарисованную Пушкинымъ картину легко понять иначе, именно такъ, какъ она понята въ вар. № 1. Орелъ, какъ и узникъ,—не на волѣ. Онъ сидитъ въ той же темницѣ, гдѣ и узникъ, въ желѣзной клѣткѣ. Т.-обр., онъ—товарищъ узника по несчастью, по заключенію. Онъ смотритъ въ окно, п. ч. рвется на волю, и въ этомъ отношеніи онъ въ полномъ смыслѣ слова «задумалъ одно» съ узникомъ. Картина получается яркая и художественная, но совершенно не та, что у Пушкина, и автора этой народной передѣлки «Узника» можно упрекнуть только въ томъ, что у него неясно, зачѣмъ клѣтка съ орломъ попала въ темницу.

Далѣе, желаніе одной только свободы для народной пѣсни, повидимому, слишкомъ отвлеченно. Лирическія народныя пѣсни почти всѣ—любовнаго содержанія. И вотъ, въ вар. № 1, узникъ, томясь въ темницѣ, вспоминаетъ про свою милую, съ которой онъ радъ бы повидаться, да не можетъ. Его глазамъ рисуется картина, что и милая его такъ же, какъ и онъ, тоскуетъ по миломъ и проливаетъ горькія слезы, не надѣясь когда-нибудь увидѣться съ нимъ. Эта картина, вполнѣ естественная у узника, притомъ еще влюбленнаго, кончается тоже красиво и естественно. Передѣлка, во всякомъ случаѣ, не лишена достоинствъ, несмотря на нѣкоторые промахи, какъ

наприм., плохо мотивированное помѣщеніе клѣтки съ орломъ въ тюремной камерѣ и совершенно неидущее къ данной пѣснѣ фантастическое описаніе страны, куда рвется узникъ, «гдѣ солнце не свѣтитъ, луна—никогда». (Это описаніе—рѣшительно во всѣхъ варіантахъ).

Другого рода измѣненіе основного сюжета мы находимъ въ варр. 2-й и 3-ей группы. Какъ и въ вар. № 1, Пушкинскій «вскормленный на волѣ орелъ молодой» замѣненъ орломъ сидящимъ въ клѣткѣ. То, что говорится здѣсь объ этомъ орлѣ, вполнѣ совпадаетъ съ соотвѣтствующими мѣстами вар. № 1. Но объ узникѣ пѣсня совсѣмъ не упоминаетъ (если не считать ст. 7—8 въ вар. № 6); зато въ пѣсню введенъ другой орелъ, уже вольный, и этотъ послѣдній зоветъ своего заключеннаго товарища въ ту фантастическую страну, «гдѣ солнце не сьяетъ, луна никогда». Т.-обр., орелъ, сидящій въ клѣткѣ, играетъ въ этихъ варр. ту же роль, какую въ Пушкинскомъ стихотвореніи играетъ самъ узникъ, а вольный орелъ пѣсни соотвѣтствуетъ «вскормленному на волѣ» орлу Пушкина. Такимъ обр., народная передѣлка «Узника», удалившись отъ Пушкинской картины (узникъ и орелъ на волѣ), снова возвращается къ ней, замѣнивъ только заключеннаго человѣка заключеннымъ орломъ. Несомнѣнно, что картина, какую представляютъ варр. 2-й и 3-ей группы, позднѣе той, какую мы видимъ въ вар. № 1, п. ч. съ чертами Пушкинскаго орла въ варр. 2-й и 3-ей группы является не вольный орелъ, а тотъ орелъ, который сидитъ въ клѣткѣ. Но зачѣмъ зоветъ орелъ своего товарища въ фантастическую страну вѣчной ночи? На это варіанты 3-ей группы не даютъ отвѣта. Правда, по объему, эти варр. случайно стоятъ ближе остальныхъ къ стихотворенію Пушкина, но въ нихъ не говорится именно о волѣ, которой такъ хочется Пушкинскому узнику. Всего скорѣе, здѣсь случайно отпало то окончаніе, которое присутствуетъ въ варр. 2-й группы.

Окончаніе варр. 2-й группы заставляетъ видѣть въ первой половинѣ пѣсни, т.-е. въ той части, которая сохранилась и въ варр. 3-ей группы, распространенный запѣвъ, одинъ изъ тѣхъ запѣвовъ съ птицами, которые такъ употребительны въ народныхъ пѣсняхъ (см. ниже). Въ вар. № 2 можно усмотрѣть нѣкоторый параллелизмъ между 1-ой и 2-й частью. Орелъ леталъ по волѣ, добычу искалъ;— казакъ былъ въ отъѣздѣ (тоже въ родѣ, какъ на волѣ), казну искалъ.

Орелъ искалъ (нашелъ или не нашелъ? въ вар. № 2 неясно; въ вар. № 4—не нашелъ; въ вар. № 5, какъ и въ варр. №№ 1 и 8,—нашелъ) добычи и попалъ въ клѣтку;—казакъ не нашелъ казны и попалъ въ тюрьму. Проводя параллель далѣе, получаемъ: орелъ-казакъ; то что говорится про заключеннаго орла, слѣдуетъ приписывать казаку. Второй орелъ, прилетающій къ товарищу, чтобы позвать его летѣть съ нимъ, выведенъ для связи первой половины пѣсни со второй. Такія параллели очень употребительны въ народныхъ пѣсняхъ, гдѣ нерѣдко первая половина пѣсни представляетъ аллегорическое изложеніе того же, что безъ аллегоріи излагается во второй части. Такова, наприм., извѣстная пѣсня: «Распану я пашеньку» и мн. др. (см. ниже). Впрочемъ, и при такомъ пониманіи пѣсни, вар. № 2 все-таки вызываетъ нѣкоторыя недоразумѣнія.

Въ вар. № 3 такого параллелизма нѣтъ; 2-я часть приставлена чисто механически; вѣрнѣе, уже въ этой 2-й части произошла контаминація двухъ пѣсенъ. Послѣ ст. 27 должно было бы стоять приблизительно то же, что въ вар. № 2; вмѣсто этого въ пѣснѣ говорится, какъ казакъ вернулся домой и пр. Это окончаніе (начиная со ст. 25) представляетъ отрывокъ изъ народной передѣлки стихотворенія С. Т. Аксакова [1]).

Въ вар. № 4 и 5 объ казакѣ, попавшемъ въ тюрьму, не говорится ни слова; вторая часть значительно короче, чѣмъ въ вар. № 2 и 3 и носитъ нѣсколько другой характеръ. Параллелизма нѣтъ, или, вѣрнѣе, отожествленіе орла съ узникомъ подразумѣвается.

Въ вар. 2-й группы пѣсня, какъ и въ вар. № 1, носитъ любовный характеръ. Вольный орелъ зоветъ своего товарища летѣть туда, гдѣ «ходитъ гуляетъ казачка одна». Эта казачка—милая или жена узника, который въ пѣснѣ аллегорически изображенъ въ видѣ орла. Въ вар. № 2, какъ и въ вар. № 1 она остается вѣрной своему милому (или мужу) и поджидаетъ его, но не можетъ дождаться, п. ч. казакъ, котораго она ждетъ, попалъ въ тюрьму. То же мы ожи-

[1]) Эта справка сообщена мнѣ А. В. Марковымъ, вмѣстѣ съ пѣсней, за что приношу ему искреннюю благодарность. Стихотвореніе С. Т. Аксакова, о которомъ здѣсь говорится („Настала священная брань на враговъ"), напеч. въ его сочиненіяхъ, т. IV, стр. 188; о народной передѣлкѣ этого стихотворенія см. Пѣсни, собранныя П. В. Кирѣевскимъ, вып. X, стр. 91—93.

дали бы и въ вар. № 3; но, къ сожалѣнію, въ этомъ вар. не понята связь между первой и второй половиной пѣсни, и конецъ испорченъ.

Въ вар. №№ 4 и 5 окончаніе почти одинаково въ общемъ. Въ первомъ изъ нихъ произошла небольшая путаница. Вольный орелъ говоритъ своему заключенному товарищу про казачку, которая гуляетъ «не *со мною* (съ кѣмъ?),—съ донскимъ казакомъ». Если даже предположить, что подъ орлами слѣдуетъ разумѣть казаковъ (такъ же, какъ, наприм., въ пѣснѣ: «Сизенькой голубчикъ сидѣлъ на дубочку» или «Отлетаетъ сизъ голубчикъ отъ моихъ ясныхъ очей» и др., гдѣ голубь-молодецъ), все же эти слова не идутъ къ свободному товарищу. Эти слова могли принадлежать только узнику, мучащемуся въ темницѣ подозрѣніями, что «казачка», воспользовавшись его заключеніемъ, измѣнила ему и гуляетъ теперь съ другимъ—«съ донскимъ казакомъ». Въ рѣчи вольнаго орла эти слова получили бы смыслъ, если бы исправить «со мною» на «съ тобою». Орелъ, прилетѣвъ къ своему товарищу, сообщаетъ ему печальное извѣстіе объ измѣнѣ той, кого онъ любилъ.

Въ вар. № 5 этой путаницы нѣтъ. Особенность этого вар. въ томъ, что изъ рѣчи вольнаго орла здѣсь сдѣланъ діалогъ между нимъ и орломъ, сидящимъ въ клѣткѣ, такъ что слова о сторонѣ, гдѣ гуляетъ красотка съ донскимъ казакомъ, принадлежатъ не вольному орлу, а тому орлу, который сидитъ въ клѣткѣ, и выражаютъ такимъ образомъ не дѣйствительный фактъ, а только подозрѣнія узника.

Вар. 3-ей группы отличаются отъ вар. 2-й группы только тѣмъ, что въ нихъ недостаетъ окончанія. По всей вѣроятности, это окончаніе отпало случайно. Вар. № 6 и 7 довольно плохи. Въ первый изъ нихъ попали два стиха изъ той редакціи пѣсни, которая является въ вар. № 1 (ст. 7—8). Что касается вар. № 7, то въ немъ выпала даже та подробность, что орелъ сидитъ въ клѣткѣ, и неизвѣстно, въ какое окно онъ смотритъ.

Не стану касаться другихъ особенностей варіантовъ, отмѣчу только нѣкоторыя параллели отдѣльнымъ мѣстамъ пѣсни изъ другихъ народныхъ пѣсенъ.

«Узникъ» Пушкина уже въ своемъ неизмѣненномъ видѣ по нѣкоторымъ подробностямъ близко примыкаетъ къ русскимъ народнымъ пѣснямъ. Узнику кажется, что орелъ зоветъ его съ собою; при видѣ

свободнаго орла у него у самого зарождается неудержимое желаніе улетѣть подобно орлу вмѣстѣ съ нимъ на свободу. Та же зависть къ птичьей свободѣ, то же неудержимое желаніе летѣть выражается нерѣдко и въ народныхъ пѣснях. Такъ, въ пѣснѣ изъ собранія Васнецова № 2 молодецъ, тоскуя по своей любушкѣ-сударушкѣ, мечтаетъ: «Кабы была прежняя волюшка. Имѣлъ бы я сизы крылышки, Сизыя крылышки, Павлиныя пёрышки, Взвился бы я высокошенько, Улетѣлъ бы далекошенько, Къ любушкѣ-сударушкѣ своей, Сѣлъ бы я на окошечко, Сталъ бы ворковать, Своей любушкѣ-сударушкѣ назолу давать». Тотъ же мотивъ (желаніе превратиться въ птицу и летѣть), ср. у Соболевскаго III, 39, 40 и 86; IV, 299. Еще ближе, чѣмъ Пушкинскій «Узникъ», къ этой картинѣ стоятъ его народныя передѣлки.

Такіе же образы очень часты въ примѣненіи къ вышедшей замужъ въ далекую сторону. Въ этихъ послѣднихъ характеренъ для сравненія съ Пушкинскимъ «Узникомъ» контрастъ между «вольной пташечкой» и молодой, которую мужъ не пускаетъ, или дѣвицей, которую не пускаютъ родители. Ср. наприм., у Соболевскаго IV, 31—34, гдѣ дѣвушка, сравнивая милого съ соколомъ, подчеркиваетъ именно этотъ контрастъ между своимъ горькимъ житьемъ и вольностью сокола: «Соколъ—птица вольная, вольная, А я, млада,—горькая, горькая».

Въ народной передѣлкѣ «Узника» орелъ приноситъ узнику или другому орлу вѣсть про казачку или дѣвчонку, тоскующую по миломъ или же измѣнившую милому. Въ другихъ народныхъ пѣснях птицы очень часто являются въ роли вѣстниковъ. Очень распространено обращеніе къ птицѣ, чтобы она слетала на родную сторону (или къ дружку и т. п.). Ср. пѣсни «Полети, мой голубь» (Васнецовъ № 37), «Пташка канарейка» (Васнец. № 133 и др.), «Леталъ голубь, леталъ сизый» (Соболевск. II, 500) и др. У птицы дѣвушка желаетъ узнать о своемъ миломъ или о своихъ родныхъ, тужатъ ли они по ней (Ср. Соболевск. III, 11; лучше — Ефименко, стр. 58: «Премилы дѣвушки» и др.). Узнику нашей пѣсни, вар. № 1 и 2, кажется, что орелъ ему говоритъ, что милая по немъ тужитъ. Ср. также—Соболевск. I, 121. Орелъ «гулялъ» на свободѣ и видѣлъ, какъ тужитъ жена въ отсутствіе мужа («Какъ на морѣ было, морѣ синемъ, Лебедь съ орличкомъ все купалися, Не купалися они, совы-

калися; Лебедь орличка все выспрашивалъ, Изъ ума-то онъ орла все выведывалъ: «Еще гдѣ ты, орелъ, былъ, гдѣ, сизой, гулялъ?»—*Я гулялъ ли вотъ, леталъ по дикой степи*, По дикой степи гулялъ, по Саратовской.—«Не видалъ ли ты, орелъ, молоду мою жену, Молодую жену со дѣтятками, Не тужатъ ли они, не горюютъ ли?»—*Тужатъ, плачутъ по тебѣ*, сокрушаются, *Тебя молодца домой дожидаются*» и пр.). Этотъ запѣвъ, на мой взглядъ, представляетъ несомнѣнное сходство по характеру съ народной передѣлкой Пушкинскаго «Узника». Отмѣчу еще одну пѣсню со сходнымъ положеніемъ: Соболевск. I, 410. Пташки прилетаютъ къ убитому молодцу и приносятъ ему вѣсть, что его молодая жена выходитъ замужъ. Разница въ томъ, что молодецъ не въ темницѣ, а лежитъ въ горахъ убитый (къ нему «Съ родной его сторонушки пташки прилетали, Жалобнѣхонько ему пѣсенки воспѣвали: «Востань, востань, добрый молодецъ! Какъ зима проходитъ, весна наступаетъ, Твоя молода жена по саду гуляетъ, по саду гуляетъ, мужа выбираетъ». Лежитъ молодецъ, не даетъ отвѣта» и т. д.).

Часто встрѣчаются и другого рода запѣвы съ птицами.

Аллегорическое изображеніе молодца въ видѣ птицы, какое мы отмѣтили въ вар. 2-й группы, въ народныхъ пѣсняхъ очень часто. Обыкновенно, молодецъ является въ видѣ сокола или голубя, рѣже—орла. (Послѣднее отожествленіе является, кажется, главнымъ образомъ въ разбойничьихъ пѣсняхъ, которыхъ мнѣ не удалось пересмотрѣть). Ср. пѣсню «Сизенькой голубчикъ, Удалой молодчикъ»; затѣмъ—Соболевск. IV, 31—34 (см. выше); Соболевск. IV, 157—161; Соболевск. IV, 570—572 (наприм. 571: «Я пойду ли, дѣвчоночка, въ зеленые луги. Цвѣты алы, розы красны надобно сорвати; Еще надо усмотрѣти сердечнаго друга... Въ первомъ часѣ полуночи прилеталъ голубчикъ; Онъ садился-возвивался на ново крылечко» и пр. Дѣвчонка встрѣчала его, «за рученьку брала, Что за рученьку, за ручку, за столы сажала» и пр.) и мн. др. Чаще всего является параллелизмъ: въ первой половинѣ пѣсни говорится про птицу (голубя, сокола, соловья), во второй—про молодца. Ср. Соболевск. I, 6: «Какъ бы на соловья не зима бы студеная, Не морозы крещенскіе, Не леталъ бы я, соловей, по мхамъ, по болотичкамъ, По частымъ наволокищамъ.—Какъ бы на молодца не служба государева, И не поборы солдатскіе, Не ходилъ бы я, молодецъ, По чужой дальней

сторонѣ» и пр. Или—Соболевск. IV, 709.—Соколъ хватаетъ галку за крыло; галка проситъ его пустить ее. Соколъ отвѣчаетъ: «Я тогда тебя пущу, крылья — перья ощиплю».—Молодецъ хватаетъ дѣвку за руку, дѣвка проситъ пустить ее. Молодецъ отвѣчаетъ: «Я тогда тебя пущу, Русу косу расплету, Твои кудри выщиплю». Также: Соболевск. IV, 450 и др.

Приведу еще примѣры простого сравненія молодца съ птицей. Соболевск. III, 118 («Вылетала голубина на долину»)—«Леталъ голубь по долинѣ, самъ воркуетъ; Онъ сизу свою голубушку шукаетъ.—Добрый молодецъ по улицѣ гуляетъ; Онъ душу красную дѣвицу пробужаетъ» и пр. (То же въ слѣд. №№ 119—122). Соболевск. IV, 31—34 (см. выше). Соболевск. IV, 149: «Не свивайся, не свивайся, трава со былинкой, Не лестися, не лестися, голубь со голубкой, Не свыкайся, не свыкайся, молодецъ съ дѣвицей» и пр. (отм. также и продоженіе этой пѣсни). Соболевск. IV, 445. (Въ серединѣ пѣсни:) «Не ясенъ соколъ летитъ, Съ поля милый другъ идетъ [1]).

---

[1]) О запѣвахъ съ птицами цѣнныя замѣчанія находятся въ книгѣ Потебни „Объясненіе малорусских и сродных народных пѣсень“ II, стр. 295 сл. Здѣсь Потебня отмѣчаетъ между прочимъ слѣдующіе запѣвы: 1) „Соколъ (v. другая птица) видитъ то-то“. 2) Пѣвцы или „их герои высказывают желаніе подняться на крыльях птицы; унестись на них, куда порывает их душу, видѣть даль очами птицы“. 3) „Мысль несется за полетом птицы, направленным туда, гдѣ происходит дѣйствіе“ и др. Въ народной передѣлкѣ „Узника“ мы встрѣчаемся именно съ этимъ послѣднимъ запѣвомъ. О тѣхъ же запѣвахъ говоритъ также акад. А. Н. Веселовскій въ своемъ послѣднемъ трудѣ „Три главы изъ исторической поэтики“, гл. III—Языкъ поэзіи и языкъ прозы“, III—Журн. Мин. Нар. Просв. 1899, май. стр. 53—55. Въ этой статьѣ Веселовскій указываетъ на то, что образъ птицы очень употребителенъ въ народной поэзіи вообще. „Вдали отъ своихъ, отъ милой, человѣкъ ловитъ всякій образъ, всякую реальную связь, видимо протягивающуюся отъ него на далекую чужбину“. Благодаря этому „Птица—вѣстникъ принадлежитъ къ однимъ изъ самыхъ распространенныхъ мотивовъ народныхъ пѣсенъ“. „Образъ птицы встрѣтится намъ въ группѣ формулъ, типически отвѣчающихъ разнымъ стадіямъ любви“. Далѣе Веселовскій отмѣчаетъ мотивъ „О если бы я былъ птичкой, полетѣлъ бы“ какъ въ русскихъ, такъ и въ другихъ европейскихъ народныхъ пѣсняхъ, между прочимъ, еще въ древне-греческой поэзіи („Федра“ Эврипида) и др. На стр. 65 Веселовскій отмѣчаетъ распространенный въ народной поэзіи символъ: молодецъ-лебедь, дѣвица-горлица, лебедушка. Кромѣ матеріала въ этой статьѣ очень важны соображенія Веселовскаго о происхожденіи подобныхъ мотивовъ.

Изъ этого сравненія видно, что народныя передѣлки «Узника» Пушкина представляютъ новые перепѣвы старыхъ мотивовъ.

Во всѣхъ варр. народной передѣлки «Узника» далекая сторона, куда хочетъ улетѣть узникъ, изображается стороной вѣчной тьмы. Тамъ «солнце не свѣтитъ, луна никогда». Очень далекая сторона иногда изображается въ народныхъ пѣсняхъ такъ, какъ здѣсь. Ср. малорусскую свадебную пѣсню, гдѣ говорится о неудачномъ сватовствѣ, Головацк. IV, 223—224. Староста поѣхалъ за невѣстой въ Угорскую землю, а въ Угорской землѣ «Куроньки не піють, І світ не світае, І соненько несходить, І дрібен дощ нейде, І травонька не росте, І коник ся непасе». (Сн. у Потебни, Объясн. млр. и ср. нар. пѣс. II, 125). Во всякомъ случаѣ, въ передѣлкѣ «Узника» такое описаніе не у мѣста. Такимъ мѣстомъ, «гдѣ солнце не свѣтитъ, луна никогда», въ каторжныхъ и другихъ пѣсняхъ являются обыкновенно копи. Ср. въ очень распространенной за послѣднее время пѣснѣ: «Паша, ангелъ непорочный» (кажется, болѣе новой, чѣмъ разбираемая передѣлка «Узника»). Человѣкъ, попавшій на каторгу въ Сибирь за убійство жены, говоритъ (своей дочери): «Тамъ гдѣ солнышко не свѣтитъ, заря не всходитъ никогда, тамъ придется мнѣ погибнуть и завянуть, какъ трава».

Вторая половина пѣсни въ обѣихъ ея редакціяхъ, быть можетъ, не сочинена вновь, а заимствована изъ какихъ-нибудь другихъ народныхъ пѣсенъ и только удачно соединена съ зачѣвомъ, взятымъ у Пушкина. Если не вся вторая половина, то, по крайней мѣрѣ, отдѣльные стихи ея встрѣчаются и въ другихъ народныхъ пѣсняхъ. Такія параллели мнѣ удалось подыскать къ вар. № 1.

Ст. 31—34 ср. у Васнецова пѣсню № 59. Пѣсня довольно новая. Начинается она такъ:

„По Дону гуляетъ
Казакъ молодой;
Тамъ плачетъ дѣвица
Надъ быстрой рѣкой.

Казакъ у дѣвицы выспрашиваетъ:

„О чемъ, дѣвка, плачешь,
О чемъ слезы льешь?“
—Какъ же мнѣ не плакать,
Какъ слезы не лить?

Но причина ея слезъ не та, что въ нашей пѣснѣ. Ей напророчила цыганка, что она утонетъ въ свадебный день.

Почти тѣ же стихи у Соболевск. II, 69:

„О чемъ ты, Машенька, плачешь,
О чемъ ты слезы льешь?“
— Ахъ, какъ же мнѣ не плакать,
Да какъ не тужить?—
Ахъ не велитъ мнѣ матушка
На улицу ходить“ и пр.

Ст. 35—38 того же вар. ср. у Соболевск. III, 161: «Я разсѣю свое горе, По чистому полю. Уродися, мое горе, Ни рожь, ни пшеница (2),—Травой, муравою; Ни травушкой, ни муравушкой, Алыми цвѣтами. *Да всѣ цвѣты алые,—Одинъ всѣхъ алые*, да онъ розовѣе; *Какъ всѣ друзья милые, Одинъ всѣхъ милые*» и пр.

Соболевск. IV, 151 («Полно, полно вамъ, ребята, Чужо пиво пити»). Послѣ залѣва въ пѣснѣ говорится про голубку, которая опускалась на сине море, садилась на бѣлъ-горючъ камень, умывалась ключевой водой, утиралась алыми цвѣтами: «*Все цвѣты ми, цвѣты алые, одинъ поалые; Все дружки ми, дружки милые, одинъ помилые*».

Соболевск. IV, 353 «По горамъ было, по высокимъ, По лужкамъ зеленымъ. Расцвѣтали тамъ цвѣточки, Все цвѣты аленькіе. *Ужъ какъ всѣ цвѣты аленьки, Одинъ поалые всѣхъ; Ужъ какъ всѣ дружки миленьки, Одинъ помилые всѣхъ*» и пр. (Ср. ibid. № 357).

Соболевск. IV, 774; конецъ сходенъ съ началомъ пѣсни «Я разсѣю свое горе» (Собол. III, 161).

«Разойдетъ тоска-кручина по чистому полю, Обрастетъ тоска-кручина травой-муравою, Травой, травой-муравою, алыми цвѣтами. *Ужъ какъ всѣ цвѣты алые, одинъ всѣхъ алые; Еще всѣ дружки милые, одинъ всѣхъ милые*».

Вообще, надо замѣтить, что сравненіе милого съ алымъ (рѣже: розовымъ, лазоревымъ) цвѣтомъ въ народныхъ пѣсняхъ очень часто. Ср. напр., пѣсню «По улицѣ мостовой» (Васнецовъ—№ 48; Соболевск. IV, 740—743 и др.), гдѣ есть такіе стихи:

„Я по цвѣтикамъ ходила,
По лазоревымъ гуляла,

Цвѣта алаго искала,
Не нашла цвѣта алаго,
Супротивъ друга милаго".

Тѣ же стихи встрѣчаются и въ другихъ пѣсняхъ. (Ср. Соболевск. IV, 215; сходн. Собол. IV, 436: «По цвѣтикамъ ходила, по алымъ гуляла; не нашла я, не нашла одного, не нашла милаго своего» и пр.).

Ср. также слѣдующую картину: (дѣвушка) «Увидала въ полѣ аленькій цвѣтокъ.—Ужъ ты, аленькій, лазоревый цвѣтокъ, Ты далече во чистомъ полѣ цвѣтешь! Ужъ ты миленькій, возлюбленный дружокъ, Ты далеко отъ меня, милый, живешь» (Соболевск. IV, 368; сходная картина—Соболевск. IV, 255).

У Васнецова № 18: «Расцвѣтай-ка, расцвѣтай-ка Въ полѣ, розовый цвѣтокъ; Побывай-ка, побывай-ка Ко мнѣ, миленькій дружокъ». (То же у Соболевск. IV, 435, гдѣ цвѣтокъ—«лазоревый»).

Ср. также у Соболевск. III, 372; IV, 79, 358, 572, 726 и др.

Изображеніе милого въ видѣ (алаго) цвѣтка влечетъ за собой слѣдующія параллели: цвѣтокъ далеко цвѣтетъ-милой на чужой сторонѣ (Собол. IV, 368) или даже разлюбилъ милую (Собол. IV, 255); цвѣтокъ расцвѣтаетъ-милой ходитъ къ своей милой; цвѣтокъ вянетъ-милый тужитъ. (Ср. Ефименко, стр. 71; когда цвѣтокъ вянетъ, онъ склоняетъ голову и блекнетъ;—отъ слезъ лицо какъ бы увядаетъ; румянецъ отъ горя сходитъ; лицо вянетъ; при печали человѣкъ опускаетъ голову); сорвать цвѣтокъ-полюбить милого, сойтись съ милымъ; одинъ цвѣтокъ алѣе другихъ-одинъ милой милѣе другихъ и пр. [1])

«Узникъ» Пушкина проникъ въ народъ недавно. Самая старая запись въ моемъ собраніи сдѣлана въ 1896 г. (Вар. № 3). Тамъ, гдѣ я записалъ въ 1897 г. вар. № 1, эта пѣсня была еще совсѣмъ новой, а въ 1896 г. ея еще не пѣли. Впрочемъ, это обстоятельство могло быть случайнымъ; въ другихъ деревняхъ она могла быть извѣстна и раньше; можно навѣрное сказать, что въ 1897 году ее пѣли уже въ Рязанской и Тульской губ.

Напѣвъ этой пѣсни довольно однообразенъ и не можетъ быть названъ особенно красивымъ. Благодаря этому, пѣсня эта едва ли долго продержится въ народѣ.

---

[1]) См. также статью акад. А. Н. Веселовскаго — „Психологическій параллелизмъ"—Ж. М. Н. Пр. 1898, мартъ.

№ 1.

Леталъ по волѣ
Орёлъ молодой;
летамши по волѣ,
добычу искалъ;
найдёмши добычу,
самъ въ клѣтку попалъ.
Сижу за рѣшоткой
въ темницѣ сырой;
желѣзная клѣтка
виситъ перьдо мной.
Во этой во клѣткѣ—
орёлъ молодой;
кровавую пищу
клюётъ удало́й,
клюётъ и бросаетъ,
самъ смотритъ въ окно.
Низмѣ́най товарищъ
задумалъ одно:
— „Това́рищъ низмѣ́най, (-не-
измѣ́нный)
давай, улети́мъ,
улетимъ дале́че,
въ чужіе края,
гдѣ горы высо́ки,
круты́ берега́,
гдѣ солнце не свѣтитъ,
луна—никогда.
Тамъ ходитъ, гуляетъ
дѣвчонка одна,
дѣвчонка одна,
слезми́ улита́.
— Объ чёмъ, дѣвка, плачешь,
горьки слёзы льёшь?
— Какъ же мнѣ не плакать,
горькихъ слёзъ не лить?—
Много цвѣтовъ алыхъ,
одинъ—всѣхъ алѣй;
много дружко́въ милыхъ,
одинъ—всѣхъ милѣй,
и тотъ за рѣшоткой
навсегда сидитъ.

Записана мною въ дер. Парфёнки, Васильевской вол., Рузскаго уѣзда, Московской губ., лѣтомъ 1897 г.

№ 2.

Летаетъ по волѣ
Карёлъ молодой, 2
летаетъ по волѣ,
добычу искалъ, 2
самъ въ клѣтку попалъ 2.
Желѣзная клѣтка
съ зелёнымъ листомъ 2
и надъ окномъ виситъ 2.
Во этой во клѣткѣ
орелъ молодой; 2
ёнъ пищу и тра́ву,
ёнъ её клюётъ,
клюётъ и бросаетъ,
самъ смотритъ въ окно,
къ ёму прилетаетъ
товарищъ ёво.
—„Товарищъ мой милый,
давай, улетимъ,
гдѣ солнце не сьяетъ,
луна никогда;

тамъ ходитъ, гуляетъ
казачка ёдна,
ёдна ждётъ, поджидаетъ
казака свово.
Казакъ былъ въ отъёздѣ,
ёнъ казну искалъ,
не нашёлъ казны—
самъ въ тюрму попалъ.
Тюрьма, тюрьма тёмная,
беззаконная.

Каждый четный стихъ повторяется по 2 раза. Записана отъ дѣвушки Тульской губ., Веневск. у., 3 янв. 1899 г., М. И. Соколовымъ.

№ 3.

Летаетъ по волѣ
орёлъ молодой;
искалъ онъ добычу,—
самъ въ клѣтку попалъ.
Желѣзная клѣтка
виситъ предъ окномъ,
а въ этой во клѣткѣ
орёлъ молодой;
кровавую пищу
клюётъ молодой,
клюётъ и бросаетъ,
самъ смотритъ въ окно.
Къ нему прилетаетъ
другой молодой:
„Здорово, товарищъ,
давай, улетимъ,—
гдѣ солнце не свѣтитъ,
луна—никогда,
гдѣ горы высоки,
круты берега.
Тамъ ходитъ, гуляетъ
казачка одна,
ещё поджидаетъ
къ себѣ казака.
Казакъ былъ въ Сибири,
богатства искалъ;
не нашёлъ богатства,
поѣхалъ домой.
Его мать встрѣчаетъ
съ иконой святой.
—„Здорово, товарищъ,
здорово, семья!“
—Всѣ живы, здоровы;
случилась бѣда:
жена молодая
ночью померла.

Записана ученикомъ Московской частной гимназіи Поливанова, С. М. Соловьевымъ, на ст. Крюково, Николаевской жел. дор., Московск. губ., въ 1896 г. Сообщена мнѣ А. В. Марковымъ.

№ 4.

Летаетъ по волѣ
орёлъ молодой;
летамши по волѣ,
добычу искалъ,
не нашелъ добычи,
самъ въ клѣтку попалъ.
Сидитъ за рѣшоткой
орёлъ молодой,
кровавуя пищу
клюётъ перьдъ окномъ;

клюёть и бросаеть,
самъ смотрить въ окно.
Къ нему прилетаеть
товарищъ его.
— „Товарищъ мой вѣрный,
давай, улетимъ,
гдѣ солнцо не съянеть,
луна — никогда.
Тамъ ходить, гуляеть
казачка одна;—
она не со мною,—
съ донскимъ казакомъ.

Каждый четный стихъ повторяется по 2 раза. Записана М. И. Соколовымъ отъ дѣвушки Рязанской губ., Зарайск. у., 3 янв. 1899 г.

№ 5.

Летаеть по волѣ
орёлъ молодой;
летамши по волѣ,
добычу искалъ;
найдёмши добычу,
самъ въ клѣтку попалъ.
Сидить за рѣшоткой
орёлъ молодой;
кровавую пищу
клюёть подъ окномъ;
клюёть и бросае,
самъ смотритъ въ окно.
Къ нему прилетае
товарищъ его.
— „Товарищъ мой вѣрнай,
зачѣмъ залетѣлъ?“
— Товарищъ мой милай,
давай, улетимъ!
— „Лети ты, товарищъ,
а я за тобой.
Гдѣ солнце не свѣтить,
луна — никогда,
тамъ ходить, гуляеть
красотка одна,
не одна гуляеть,
съ донскимъ казакомъ“.

Записана мною у женщины Рязанской губ., Рязанскаго уѣзда, въ маѣ 1899 г.

№ 6.

Летаеть по волѣ
орёлъ молодой;
летавши по волѣ,
добычу искалъ;
за этой добычей
самъ въ клѣтку попалъ.
Сижу за рѣшоткой
въ темницѣ сырой,
во этой во клѣткѣ
орёлъ молодой;
травиную пищу
клюетъ удалой.
Къ нему подлетаеть
орёлъ молодой.
— „Здорово, товарищъ,
давай, улетимъ,
гдѣ горы высоки,
круты берега,
гдѣ солнце не грѣеть,
луна — никогда.

Записана для меня дѣвочкой 13 лѣтъ, изъ деревни Курово, Рузскаго у., Московской губ., лѣтомъ 1898 г. Правописаніе здѣсь исправлено.

№ 7.

Орёлъ ты, орлище,
орёлъ молодой!
Летаетъ по волѣ
орёлъ молодой,
кррвавую пищу
клюётъ подъ ногой;
клюётъ и бросаетъ,
самъ смотритъ въ окно.
Къ нему прилетаетъ
товарищъ его.
—„Товарищъ мой милой,
давай, улетимъ
за тёмныя горы,
высоки лѣса,
гдѣ солнце не свѣтитъ,
заря—никогда.

Записана крестьянкой Московск. губ., Подольск. у., дер. Прудки, въ авг. 1899 г. Сообщена мнѣ А. А. Грибовымъ. Правописаніе исправлено.

№ 8.

Летаетъ орёликъ
по Волгѣ рѣкѣ,
ищетъ нарёликъ
добычу себѣ.
Нашёлъ онъ добычу,
самъ въ клѣтку попалъ.
Желѣзная клѣтка
на стѣнкѣ висить;
вво этой во клѣткѣ
орёликъ сидить;
кровавуя пищу
клюётъ перьдъ окномъ,
клюётъ и глотаетъ,
самъ смотритъ въ окно,
къ себѣ поджидаетъ
дружка своего.
Къ нему прилетаетъ
товарищъ его.
—„Товарищъ, другъ тайный,
давай, улетимъ
далéче, далéче,
въ чужіе края,
гдѣ солнце не свѣтить,
луна никогда.

Записана мною отъ дѣвушки Тульской губ., Веневск. у., Косяевской вол., дер. Васильевской, февраль 1899 г.

Н. Дурново.

Москва, 1-го октября 1899 года.

Поэтъ-пессимистъ и ближайшій спутникъ поэзіи Пушкина.

„Въ его груди любила и томилась
Прекрасная душа
И ко всему прекрасному стремилась,
Поэзіей дыша.
Святой огонь подъ хладной сѣдиною
Онъ гордо уберегъ—
Не оскудѣлъ, хоть и страдалъ душою
Средь жизненныхъ тревогъ".

Огаревъ.

(„Русская мысль, 1890 г. Октябрь").

Евгеній Абрамовичъ Баратынскій выступилъ на литературное поприще въ 1819 году, а послѣднее его стихотвореніе, написанное за двѣ недѣли до кончины, относится къ сорокъ четвертому году. На протяженіи четверти вѣка поэтическаго творчества Баратынскій написалъ около двухсотъ крупныхъ и мелкихъ стихотвореній, элегій и картинъ природы, посланій и эпиграммъ, три поэмы «Эда», «Балъ» и Цыганка, переводъ изъ Вольтера «Телема и Макаръ», длинное стихотвореніе, по ошибкѣ называемое поэмой—«Пиры» и сказку въ стихахъ «Переселеніе душъ», одну неудачную критическую статью, «Разсужденіе о заблужденіи и истинѣ» и маленькій давно забытый всѣми и дѣйствительно плохой разсказъ «Перстень». До 35 лѣтняго возраста Баратынскій написалъ уже много стиховъ, изданныхъ отдѣльнымъ сборникомъ, но Бѣлинскій, литературный законодатель сороковыхъ годовъ, отнесся къ нему холодно, причисливъ его къ числу поэтовъ забытыхъ. Послѣ продолжительнаго молчанія и уединенія въ 1842 году Баратынскій издалъ сборникъ новыхъ стихотвореній подъ общемъ именемъ «Сумерки», выдержавшемъ два изданія. Сборникъ «Сумерки» былъ посвященъ князю Петру Андреевичу Вяземскому съ слѣдующимъ посланіемъ:

„Вамъ приношу я пѣснопѣнья,
Гдѣ отразилась жизнь моя,
Исполнена тоски глубокой,
Противорѣчій слѣпоты,
И между тѣмъ любви высокой:
Любви добра и красоты".

Въ этихъ, очевидно, изъ глубины души идущихъ стихахъ ярко обрисована оцѣнка значенія поэзіи Баратынскаго, какъ ее понималъ онъ самъ. Такія признанія значенія собственной поэзіи есть у всякаго поэта и они важны при опредѣленіи характера творчества. Признаніе общества къ его поэзіи выразилось въ томъ, что отдѣльныя стихотворенія Баратынскаго переведены на нѣмецкій и на французскій языки и одно стихотвореніе, именно «Звѣзда», на армянскій. Поэтъ Линдгренъ перевелъ нѣкоторые отрывки поэмы «Эда» на шведскій языкъ. Значеніе поэзіи Баратынскаго для потомства ясно изъ того, что въ послѣднее время о поэзіи Баратынскаго появилось нѣсколько критическихъ статей, изъ которыхъ выдающимися являются: статьи профессора Н. И. Стороженко, г. Андреевскаго и обстоятельный, хотя и краткій, очеркъ г. Венгерова въ его «Критико-Библіографическомъ словарѣ»[1]). Во многомъ поэзія Баратынскаго, конечно, имѣетъ исключительно историко-литературный интересъ; въ такомъ именно родѣ являются всѣ его поэмы, написанныя подъ вліяніемъ Байрона или вѣрнѣе подъ вліяніемъ Пушкинскаго байронизма. Другія, напротивъ, являются вкладомъ въ вѣчную сокровищницу литературы. Именно нѣкоторые его стихотворенія, какъ «На смерть Гёте», имѣютъ долгую будущность и испытаютъ великую судьбу, переходя отъ одного поколѣнія къ другому. Большинство же стихотвореній Баратынскаго, обнаруживаютъ крупные художественные недостатки, которые замѣтны, вслѣдствіе быстраго развитія русской поэзіи со времени Пушкина. Значительная часть его литературнаго наслѣдства сохраняетъ живой интересъ для современнаго читателя, вслѣдствіе главнымъ образомъ глубины мысли, мощи духовнаго полета, искренности общихъ для всѣхъ мыслящихъ людей настроеній, сильно и правдиво выраженныхъ въ

[1]) Къ этому надо присоединить еще рядъ статей вышедшихъ въ этомъ 1900 году ввиду столѣтія со дня рожденія поэта; ихъ выходъ въ печати былъ значительно позднѣе того времени, когда уже законченъ былъ этотъ этюдъ.

звучныхъ, прекрасныхъ, вслѣдствіе гармоніи формы съ содержаніемъ, и оригинальныхъ стихахъ. При воспоминаніи о Пушкинѣ невольно выплываетъ меланхолическій образъ его поэтическаго спутника, тускнѣющій въ отношеніи художественной силы, но не уступающій по оригинальности мысли при сравненіи съ богатыремъ русской поэзіи. Многимъ обязанный Пушкину и его кружку, Баратынскій проявилъ въ своей поэзіи столько глубокомыслія и художественнаго дарованія что Бѣлинскій призналъ его самымъ яркимъ и замѣчательнымъ изъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ. Фраза Альфреда-де Мюссе «Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre» наиболѣе примѣнима къ поэзіи Баратынскаго. При изученіи поэтическаго наслѣдья Баратынскаго интереснымъ представляется вопросъ—насколько его творчество испытало вліяніе Пушкинскаго генія и гдѣ граница этого вліянія и начало оригинальной стихіи его поэзіи. Этотъ вопросъ можетъ быть разрѣшенъ ознакомленіемъ съ біографіей Баратынскаго, выясненіемъ основныхъ чертъ его характера, тѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ условій, которыя опредѣлили его развитіе, а также знакомствомъ съ той общественной средой, гдѣ развивались его природныя наклонности, а также и съ атмосферою того историческаго момента, въ которой пришлось жить, т. е. для Баратынскаго мыслить, впечатлительному и отзывчивому къ духовнымъ проявленіямъ поэту. Такая постановка вопроса дастъ возможность вставить образъ поэта въ историческую рамку и изучить его поэтическое творчество, какъ одинъ изъ документовъ исторіи Пушкинской эпохи, важной по филигранному многообразію проявленій творческаго духа русской націи.

Родился Баратынскій почти годъ спустя послѣ Пушкина и пережилъ его лишь немногими годами. Печальна была его юность и не могла ни въ какомъ случаѣ способствовать развитію жизнерадостнаго настроенія. Баратынскій въ раннемъ дѣтствѣ лишился отца и воспитывался подъ наблюденіемъ матери, письма къ которой не доказываютъ интимной нѣжности, хотя и откровенны въ вопросахъ отвлеченныхъ. Няню Пушкина Арину Родіоновну Баратынскому замѣнялъ его дядька—итальянецъ Джьячинто Боргезе. Если Пушкинъ имѣлъ основаніе народную струю своей поэзіи объяснять вліяніемъ «подруги дней его суровыхъ», то этого благотворнаго вліянія былъ лишенъ Баратынскій и *народныхъ элементовъ въ его поэзіи совер-*

шенно нѣтъ. Зато, неизвѣстно какими путями занесенный въ Тамбовскую глушь, старикъ-итальянецъ, своими разсказами о Неаполѣ и Римѣ, о Колизеѣ и Везувіи и другихъ чудесахъ Италіи пробудилъ въ чуткомъ юношѣ неизмѣнную и глубокую любовь къ красотамъ дивной страны волшебнаго юга, которую ему пришлось увидѣть только въ послѣдніе годы жизни. Послѣ смерти поэта было напечатано длинное поэтическое посланіе Баратынского изъ Неаполя къ участнику «семейныхъ праздниковъ» и юныхъ «слезъ» его ранняго дѣтства, въ которомъ любовь къ Италіи переплетается съ любовью къ наставнику. Съ лѣтами эта любовь къ Италіи у Баратынскаго получила, конечно, уже болѣе сознательные мотивы, чѣмъ въ дѣтствѣ. Но и эти впечатлѣнія не тускнѣли въ душѣ поэта. «Нѣтъ», пишетъ онъ обращаясь къ Боргезе:

Ты не забылъ отчизны лучезарной!
Везувій, Колизей, гротъ Капри, храмъ Петра
Имѣлъ ты на устахъ отъ утра до утра;
Именовалъ ты намъ и принцевъ и прелатовъ
Земли, гдѣ зрѣлъ, дивясь, Суворовскихъ солдатовъ.

Какъ Пушкинъ надолго сохранилъ близкія отношенія къ своей знаменитой нянѣ, такъ и Баратынскій, вспоминая Боргезе, говоритъ:

„Благодаря боговъ, съ тобой за этимъ вслѣдъ
Другъ другу не были мы чужды двадцать лѣтъ".

Золотые сны ранняго дѣтства поэта проходятъ быстро, и жизнь съ ея терніями скоро даетъ Баратынскому себя чувствовать. Двѣнадцати лѣтъ юноша Баратынскій былъ отвезенъ въ Петербургъ и, ввиду незнанія нѣмецкаго языка, опредѣленъ въ Пажескій корпусъ въ классъ, его возрасту несоотвѣтствующій, фактъ, обыкновенно приводящій къ пренебреженію занятіями. Какъ выяснили (по документамъ архива Пажескаго корпуса) недавно данныя его біографіи, будучи 16 лѣтъ, хотя по своему раннему развитію онъ могъ быть приравниваемъ къ двадцатилѣтнему возрасту,—онъ принималъ участіе въ некрасивыхъ продѣлкахъ своихъ товарищей, въ пирушкахъ на деньги, которыя мальчики воровали, доставъ ключъ отъ стола у богатаго родственника одного изъ воспитанниковъ. Этотъ грустный фактъ, долго тщательно скрываемый и поэтомъ и его родственниками, очень му-

чилъ самого Баратынскаго; онъ былъ причиною его исключенія изъ корпуса и поступленія, впослѣдствіи, въ рядовые въ гвардейскій егерскій полкъ. Всю жизнь Баратынскій былъ безукоризненно честнымъ человѣкомъ, прекраснымъ и полезнымъ членомъ общества, и только близорукостью суровыхъ педагоговъ можно объяснить слишкомъ строгую кару, которая была еще смягчена, благодаря ходатайству Жуковскаго. Въ одномъ стихотвореніи Баратынскій объясняетъ внутреннюю причину, почему онъ отбросилъ безумную мысль о самоубійствѣ, которая долго преслѣдовала его:

„Меня тягчилъ печалей грузъ;
Но не упалъ я передъ рокомъ,
Нашелъ отраду въ пѣсняхъ Музъ
И въ равнодушіи высокомъ,
И свѣтомъ презрѣнный удѣлъ
Облагородить я умѣлъ".

Такой горестный случай въ жизни оказалъ серьезное вліяніе на характеръ Баратынскаго. Съ раннихъ лѣтъ онъ отличался вдумчивымъ отношеніемъ къ окружающей жизни. Письма лучше всего раскрываютъ интимныя стороны нѣжной, впечатлительной и слишкомъ склонной къ размышленіямъ натуры поэта. Съ юныхъ лѣтъ онъ искалъ дружбы и находилъ, какъ онъ признается въ откровенномъ письмѣ къ матери — только холодную учтивость и расчетливость. Когда ему было четырнадцать лѣтъ, то въ своихъ полныхъ размышленій письмахъ къ матери, онъ высказываетъ мысли, которыя впослѣдствіи получили у поэта глубокое развитіе и пышнымъ цвѣтомъ разцвѣли въ его мрачной и меланхолической поэзіи.

«Croyez moi, ma chère maman, que l'on peut s'habituer à tout, excepté à la tranquillité et à l'ennui. J'aimerais mieux être parfaitement malheureux, que parfaitement tranquille; le sentiment de mes maux me rapellerait que j'existe». (Вѣрьте, милая маменька, ко всему можно привыкнуть, кромѣ бездѣйствія и скуки. Я предпочелъ бы даже несчастіе невозмутимому покою. Сознаніе моихъ бѣдствій удостовѣряло бы меня въ томъ, что я существую). Въ послѣднемъ письмѣ изъ Пажескаго корпуса Баратынскій, которому не исполнилось и семнадцати лѣтъ уже жалуется на «скрытый ядъ, который гложетъ его и дѣлаетъ неспособнымъ къ какому бы то ни было радостному ощущенію».

Раннее проявленіе размышленій въ духѣ Декарта мѣшало юношѣ отдаваться непосредственнымъ жизненнымъ впечатлѣніямъ. Эта основная черта его характера развилась до изумительныхъ размѣровъ подъ вліяніемъ тяжелаго удара судьбы, такъ внезапно разразившагося надъ вдумчивой головкой юнаго философа.

„Жизнь непогодою мятежной,
Ты знаешь, встрѣтила меня“,

горюетъ Баратынскій въ поэтической сказкѣ «Переселеніе душъ»:

— За бѣдствомъ бѣдство подымалось,
Ввѣкъ надъ главой моей, казалось,
Не взыдетъ радостнаго дня.
Порой смирялъ я пѣснопѣньемъ
Порывъ болѣзненныхъ страстей,
Но мнѣ тяжелымъ вдохновеньемъ
Была печаль души моей.

Въ письмѣ къ Жуковскому Баратынскій признается, что онъ «сто разъ готовъ былъ лишить себя жизни» и только любовь къ матери, и кротость ея къ его поступку удерживали его. Къ этимъ прозаическимъ причинамъ надо присоединить еще любовь къ поэзіи и возвышенность настроенія. Въ Петербургѣ, благодаря знакомству съ Дельвигомъ, которое впослѣдствіе перешло въ тѣсную дружбу, Баратынскій былъ введенъ «въ семейство добрыхъ музъ».— Въ сонетѣ посвященномъ Н. М. Языкову Дельвигъ говоритъ:

„Пѣвца Пировъ я съ музой подружилъ
И славой ихъ горжусь въ вознагражденье“.

Баратынскій вошелъ въ кружокъ извѣстныхъ литераторовъ съ Пушкинымъ во главѣ, а вскорѣ и его первые поэтическіе опыты были напечатаны безъ его вѣдома Дельвигомъ. Письма Баратынскаго въ этотъ періодъ ясно характеризуютъ его горестное настроеніе, имѣющее тѣсную связь и непосредственное развитіе съ чувствами, обнаруженными имъ въ дѣтствѣ.

«Во мнѣ веселость, пишетъ Баратынскій—Путятѣ — усиліе гордаго ума, а не дитя сердца. Съ самаго моего дѣтства я тяготился зависимостью и былъ угрюмъ, былъ несчастливъ». Въ другомъ письмѣ

Баратынскій связываетъ свое настроеніе съ настроеніемъ большей части тогдашней молодежи: «Какой несчастный даръ воображеніе, слишкомъ превышающееe разсудокъ! Какой несчастный плодъ, преждевременный плодъ преждевременной опытности — сердце, жадное счастья, но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся въ толпѣ безпредѣльныхъ желаній»! Въ этихъ строкахъ обнаруживается пессимизмъ, являющійся продуктомъ рефлексіи, которая дала поводъ Пушкину назвать Баратынскаго «русскимъ Гамлетомъ»; этотъ пессизмизмъ является *доминирующимъ* настроеніемъ въ творчествѣ поэта-мыслителя. Мучительный душевный разладъ, вѣчныя сомнѣнія и тяжелое внутреннее раздвоеніе, такъ ярко выразившееся въ письмахъ и стихахъ этого періода, всю жизнь тяготятъ надъ Баратынскимъ, и временное облегченіе, минута радости и свѣтлаго безоблачнаго счастья не уничтожаютъ мрачнаго раздумья, переходящаго порою въ безпросвѣтную пессимистическую скорбь. Литературные герои того времени, Онѣгинъ и Печоринъ, обрисованные подъ различнымъ освѣщеніемъ двухъ геніальныхъ, но мало сходныхъ другъ съ другомъ поэтовъ, рисуютъ представителей молодежи той эпохи. Основныя черты типа—разочарованнаго, погруженнаго въ неустанный тревожный самоанализъ, съ тонкимъ умомъ, и холоднымъ взглядомъ на радости жизни и съ сердцемъ, лишеннымъ способности вѣрить и увлекаться—характеризуютъ Баратынскаго, какъ сына своего времени. Произведенный въ 1820 году въ унтеръ-офицеры, Баратынскій былъ переведенъ въ Финляндію въ захолустье Кюменскихъ и Рочесмальскихъ укрѣпленій для тяжелой строевой службы. Дикія красоты Финляндіи оказали неизгладимое впечатлѣніе на душу поэта, которое и выразилось въ рядѣ стихотвореній, укрѣпившихъ за Баратынскимъ имя «пѣвца Финляндіи». Въ поэмѣ «Эда» могучими чертами поэтъ описываетъ дивную природу сѣверной горной страны. Ей посвѣщаетъ онъ длинное стихотвореніе «Финляндія». Тѣмъ, чѣмъ для Пушкина и Лермонтова былъ Кавказъ, для Баратынскаго были:

„Граниты Финскіе, граниты вѣковые,
Земли ледяного вѣнца
Богатыри сторожевые...

Но какъ Пушкину, и въ особенности Лермонтову, грандіозная и угрюмая природа Кавказа внушала гордыя мысли о вѣчномъ разладѣ

между тревожными запросами духа и печальною дѣйствительностью, такъ и у Баратынскаго суровый край, котораго «пугаясь дивятся взоры», дряхлыя гранитныя скалы, развалины, одѣтыя «печальнымъ мохомъ», сосновые лѣса и бурные водопады вызывали смутныя и тяжелыя думы.

„Что жъ наши подвиги, что слава нашихъ дней?
Что наше вѣтренное племя?
О, все своей чредой исчезнетъ въ безднѣ лѣтъ,
Для всѣхъ одинъ законъ, законъ уничтоженья;
Во всемъ мнѣ слышится таинственный привѣтъ
Обѣтованнаго забвенья!“

Судьба поблагопріятствовала Баратынскому найти себѣ друга въ лицѣ своего начальника Конщина, очень цѣнившаго литературный талантъ поэта, и даже подражавшаго ему въ стихахъ, имѣющихъ въ настоящее время исключительно историко-литературный интересъ. Бесѣды о вопросахъ житейской философіи и литературѣ оживляли опальную жизнь Баратынскаго. Впослѣдствіи, произведенный въ офицеры, Баратынскій съ глубокимъ чувствомъ вспоминаетъ Финляндію и въ письмѣ къ Путятѣ пустится о ней: «Я пережилъ въ Финляндіи все», съ обычнымъ преувеличеніемъ разочарованнаго человѣка сообщаетъ Баратынскій другу свои воспоминанія: «ея живописныя, хотя и угрюмыя, горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мѣрѣ довольно обильную въ отличительныхъ краскахъ». Гораздо отраднѣе оцѣнивалъ Баратынскій значеніе Финляндіи для его поэтическаго творчества въ лучшую пору своей литературной дѣятельности въ 1830 году. «Этотъ край,—пишетъ онъ,—былъ пѣстуномъ моей поэзіи. Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы въ томъ, чтобы въ память мою посѣщали Финляндію будущіе поэты». Природа не могла успокоить внутреннихъ мученій погруженнаго въ сомнѣнія поэта. Не могло заглушить боли внутренняго разлада и духовной неудовлетворенности и личное счастье, озарившее его дальнѣйшую жизнь. Вскорѣ по пріѣздѣ въ Москву, Евгеній Абрамовичъ женился на дочери Энгельгарта, дѣвушкѣ, по общимъ отзывамъ, прекрасно образованной и одаренной тонкимъ критическимъ чутьемъ. По словамъ сына поэта, Евгеній Абрамовичъ находилъ въ ней «ободряющее сочувствіе его вдохновеніямъ и спѣшилъ ей прочитывать только что

вышедшія изъ подъ пера его произведенія». Поэтъ посвящаетъ ей нѣсколько стихотвореній, дышащихъ искреннею любовью: «О, вѣрь: ты нѣжная, дороже славы мнѣ», «Своенравное признанье» и «Когда, дитя и страсти, и сомнѣнья». Эти стихотворенія въ художественныхъ, гармоничныхъ строкахъ обрисовываютъ истинный, сердечный союзъ, основанный на душевномъ внутреннемъ единеніи, поэта. Семейное счастье однако не могло успокоить мятежнаго духа погруженнаго въ рефлексію Баратынскаго. Источникъ его печали не внѣшній, а внутренній, лежащій въ глубинѣ его неуравновѣшанной натуры. Едва ли кто-нибудь съумѣлъ бы исцѣлить недугъ разочарованія скорбнаго поэта. Въ счастливые годы женитьбы поэтъ воспѣваетъ «печали души» съ «холодною тоскою», лелѣетъ надежду въ смерти найти отдыхъ отъ утомленія мысли надъ безплоднымъ усиліемъ разрѣшить міровые вопросы. Одновременно съ мелодичными стихами, посвященными спутницѣ его жизни, изъ лиры разочарованнаго пѣвца раздаются звуки міровой скорби и горькихъ размышленій:

„Наслаждайтесь: все проходитъ!
То благой, то строгій къ намъ
Своенравно рокъ приводитъ
Насъ къ утѣхамъ и бѣдамъ.
Чуждъ онъ долгаго пристрастья.
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы".

Въ другомъ прочувствованномъ элегическомъ стихотвореніи, относящемся къ слѣдующему году послѣ женитьбы, Баратынскій въ еще болѣе рѣзкихъ чертахъ рисуетъ свое мрачное настроеніе:

„Страдаю я. Изъ-за дубравы дальней
Взойдетъ заря,
Міръ озаритъ, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу въ счастье, въ сладость,
Душѣ моей
Противенъ онъ. Что прежде было въ радость,
То въ муку ей.
Что красоты, почти всегда лукавой,
Мнѣ долгій взоръ?

Обманчивъ онъ! Знакомъ съ его отравой
Я съ давнихъ поръ.
Обманчивъ онъ! Его живая сладость
Душѣ моей
Страшна теперь! Что прежде было въ радость,
То въ муку ей.

Поэтическіе образы Баратынскому служатъ лишь для выраженія идей міровой и личной скорби. Эти образы суть факторы для опредѣленія его формъ мышленія, между тѣмъ какъ у другихъ поэтовъ они отражаютъ или дѣйствительный міръ или чувства, вызванныя его явленіями. Эта скорбь всегда искренняя и поэтому глубока.

Литературная дѣятельность Баратынскаго съ годами разцвѣтаетъ, и «промѣнявъ безпокойны сны страстей на тихій сонъ тихаго счастья», Баратынскій все болѣе и болѣе отдается поэзіи, и талантъ его совершенствуется. Но его муза поетъ только о думахъ поэта надъ неразгаданными противорѣчіями бытія. Въ этотъ періодъ Баратынскій завязываетъ новыя отношенія съ кругомъ современныхъ литераторовъ. Изъ числа лицъ, входящихъ въ кружокъ Пушкина, съ которыми рано сошелся Баратынскій, съ одной стороны съ нимъ знакомятся сотрудники «Московскаго Телеграфа», а съ другой—сюда присоединяются теперь будущіе славянофилы: И. Кирѣевскій, Языковъ, Хомяковъ. Пренія партій не касались близко внутренней жизни поэта. Въ двадцатыхъ годахъ входившій въ кружокъ будущихъ декабристовъ, Баратынскій, не будучи посвященъ въ тайны этого общества, сочувствовалъ тому, что заключалось въ «великодушномъ, неопредѣленномъ и гибкомъ словѣ свобода»:

„Съ неба, чистая, золотистая,
Къ намъ слетѣла ты;
Все прекрасное, все опасное,
Намъ пропѣла ты".

воспѣвалъ поэтъ въ ранней молодости гимнъ свѣтлой богинѣ. Съ лѣтами Баратынскій переходитъ къ болѣе умѣреннымъ воззрѣніямъ, и только одна мечта объ уничтоженіи крѣпостного права неугасимо живетъ въ его душѣ. «У меня солнце на сердцѣ, когда думаю о будущемъ,—пишетъ Баратынскій, прочитавъ манифестъ объ обязанныхъ крестьянахъ: «вижу полную возможность исполненія вели-

каго дѣла и скоро и спокойно». Жизнь подъ Москвою въ сельцѣ Мурановѣ питала, конечно, эту мысль, при непосредственномъ наблюденіи бѣдности и страданія народа и вмѣстѣ съ тѣмъ дикаго проявленія помѣщичьей власти. Къ этому періоду относятся поэмы «Балъ» и «Цыганка» и бо́льшая часть лирическихъ стихотвореній Баратынскаго. Мрачный гимнъ «Смерти», воспѣваніе «Безнадежности», стихи, озаглавленные «Черепу́», и пѣснь о «сладкой отравѣ» любви, все это достаточно убѣдительно говоритъ о настроеніи скорбнаго поэта размышленій и разочарованія въ этотъ періодъ.

Неудовлетворенность дѣйствительностью рождаетъ въ душѣ стремленіе уйти въ область красоты и желаніе улетѣть въ безграничное царство прекраснаго. Отсюда та пожизненная любовь къ Италіи у Баратынскаго, то стремленіе въ страну нѣги и роскоши юга, гдѣ могъ бы отдохнуть взоръ и успокоиться сердце, измученное тяжелою неудовлетворенностью жизни. Воспринятое въ дѣтствѣ изъ разсказовъ Боргезе, желаніе посѣтить лучшій край земли развивается и крѣпнетъ у Баратынскаго подъ вліяніемъ душевнаго разлада, мукъ рефлексіи. Въ бесѣдѣ съ друзьями Баратынскій выразилъ свои стремленія на югъ въ истинно-художественной импровизаціи; которая, по словамъ Н. Баратынскаго, еще въ Москвѣ случайно вылилась изъ устъ поэта:

„Небо Италіи, небо Торквата,
Прахъ поэтическій древняго Рима,
Родина нѣги, славой богата,
Будешь ли нѣкогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпѣньемъ объята,
Къ гордымъ остаткамъ падшаго Рима;
Снятся мнѣ горы, лѣса благовонны,
Снятся упадшихъ чертоговъ колонны.

Ласкаемый судьбою во второй періодъ жизни, Баратынскій осуществилъ свою завѣтную мечту. Въ 1843 году вмѣстѣ съ женою поэтъ отправился въ путешествіе на югъ. Въ Парижѣ онъ имѣлъ свиданіе съ А. И. Тургеневымъ и французскими литераторами С. Бевомъ, Мериме, Ламартиномъ и Гизо. Весною они прибыли въ Неаполь. Роковымъ образомъ надъ Баратынскимъ исполнилась старинная итальянская поговорка: «Vedi Napoli e poi mori». Поэтъ едва успѣлъ переслать свою лебединую пѣснь «Пироскафъ», какъ

надъ нимъ разразился ударъ, покончившій его счеты съ жизнью. «Безпокойство объ исходѣ заболѣвшей въ дорогѣ жены», по словамъ сына поэта, «способствовало усиленію, оказавшейся у него при этомъ головной боли». 29-го іюня, 1844 г. Баратынскій обрѣлъ вѣчный покой, къ которому рвалась его мятежная душа, измученная подъ бременемъ сомнѣній и рефлексіи.

«Пѣвецъ любви, печали, сердечныхъ думъ и сердечныхъ сомнѣній, своеобразный поэтъ, высокій, глубоко чувствующій художникъ, искренній въ каждомъ звукѣ, отчетливо-изящный въ каждой мечтѣ, похищенный преждевременной смертью, оставилъ въ нашей словесности нѣсколько прекрасныхъ созданій, не оцѣненныхъ по своему достоинству, но почти ничтожныхъ въ сравненіи съ тѣмъ, что онъ могъ сдѣлать». («Москвитянинъ», 1845 г., № 1).

Этими словами П. В. Кирѣевскій почтилъ смерть безвременно погибшаго поэта.

Другой современникъ и близкій знакомый поэта, князь Петръ Андреевичъ Вяземскій, въ «Старой записной книжкѣ» характеризуетъ Баратынскаго: «Баратынскій никогда не бывалъ пропагандистомъ слова. Онъ, можетъ быть, былъ слишкомъ лѣнивъ для подобной дѣятельности, а во всякомъ случаѣ слишкомъ скроменъ и сосредоточенъ въ себѣ. Едва ли можно было встрѣтить человѣка умнѣе его, но умъ его не выбивался наружу съ шумомъ и обиліемъ. Нужно было допрашивать, такъ сказать, буравить этотъ подспудный родникъ, чтобы добыть изъ него чистую и свѣтлую струю. Но за то попытка и трудъ бывали богато вознаграждаемы. Умъ его былъ преимущественно способенъ къ разбору и анализу. Онъ не любилъ возбуждать вопросы и выкликать пренія и словесныя состязанія; но за то, когда случалось, никто лучше его не умѣлъ вѣрнымъ и мѣткимъ словомъ порѣшать сужденія и выражать окончательный приговоръ и по вопросамъ, которые, болѣе или менѣе, казались ему чужды, какъ, напр., вопросы внѣшней политики или новой нѣмецкой философіи, бывшей тогда русскимъ конькомъ нѣкоторыхъ изъ московскихъ коноводовъ. Во всякомъ случаѣ, какъ былъ онъ сочувственный, мыслящій поэтъ, такъ равно былъ онъ мыслящій и пріятный собесѣдникъ. Аттическая вѣжливость, съ нѣкоторыми пріемами французской остроты и любезности, отличавшихъ прежнее французское общество, плѣнительная мягкость въ обращеніи и въ сношеніяхъ, нѣкоторая застѣн-

чивость при умѣ самобытномъ, твердо и рѣзко опредѣленномъ, всѣ эти качества, всѣ эти прелести придавали его личности особенную физіономію и утверждали за нимъ особенное мѣсто среди блестящихъ современниковъ и совмѣстниковъ его». (Соч. VIII т., стр. 290).

Этими словами характеризованная по внѣшности Вяземскимъ, личность Баратынскаго ярко и опредѣленно выразилась въ своей сокровенной внутренней сущности въ его поэтическомъ творчествѣ. Въ своей поэзіи Баратынскій въ музыкальныхъ, меланхолическихъ и стройныхъ стихахъ выражалъ скрытые стоны вѣчно мучимаго сомнѣніями духа. Мрачныя глубины его тоскующей души открывались въ грустныхъ мелодіяхъ его горькихъ напѣвовъ. Повсюду одна господствующая нота, заглушающая разнообразные звуки струнъ его лиры, то воспѣвающей природу, то отдающейся благамъ жизни и веселья, то рисующей людей и ихъ страсти. Эта нота—глубокій и своеобразный пессимизмъ, разрушающій иллюзіи, переполняющія міръ, которыя не въ состояніи надолго очаровывать проницательный взглядъ мыслителя-поэта. Все, чего только ни касается разъѣдающій анализъ Баратынскаго,—теряетъ вдругъ свой очаровательный обликъ, обольстительная маска падаетъ, и передъ взорами являются безобразныя очертанія сущности, скрытыя подъ обманчивою розовой оболочкою полной ложныхъ чаръ дѣйствительности.

„Немирнаго душой, на мирномъ ложѣ сна,
Такъ убѣгаетъ усыпленье—
И гдѣ для каждаго доступна тишина,
Страдальца ждетъ одно волненье“.

Изнанка явленій всегда открыта предъ остріемъ проникновеннаго ума мрачнаго наблюдателя, передающаго свои печальныя замѣтки не въ ѣдкихъ и желчныхъ сарказмахъ, не въ могучихъ и сильныхъ аккордахъ негодованья, а въ грустно-пѣвучихъ, нѣжныхъ, стонущихъ стихахъ, напоминающихъ мелодичные звуки заунывной пастушеской волшебной свирѣли. Но стихи Баратынскаго не элегіи. Сущность элегіи заключается исключительно въ минорныхъ настроеніяхъ. А поэзія Баратынскаго—поэзія мыслей. У него нѣтъ образовъ вызванныхъ чувствами, а его строфы выражаютъ размышленія о противорѣчіяхъ бытія и несоотвѣтствіе внутреннихъ запросовъ духа съ міровымъ устройствомъ вселенной и ея явленіями. Ориги-

нальность Баратынскаго въ размышленіяхъ, выраженныхъ всегда поэтично, образно, въ яркихъ и точныхъ словахъ. Поэзія Баратынскаго есть поэзія пессимизма, въ которой грусть нераарывно переплетается съ метафизикой, міровая скорбь вызвана размышленіями, элегическій тонъ только облекаетъ мрачныя безысходныя думы. Область его поэтическаго творчества ясно очерчивается. Въ этой сферѣ Баратынскій оригиналенъ, мало того,—въ ней онъ является новаторомъ въ русской литературѣ, породившимъ собою цѣлую школу поэтовъ пессимизма и рефлексіи. Основа поэзіи Баратынскаго лежитъ на органическихъ устояхъ его психической организаціи, кроется въ его темпераментѣ и въ лишенномъ волевой энергіи, и склонномъ къ апатіи и лѣни характерѣ. Баратынскій—меланхоликъ, въ которомъ жизненные диссонансы проникаютъ глубоко внутрь, порождая сильныя, но всегда пассивныя волненія. У него была натура съ преобладаніемъ умственнаго интеллекта. У Баратынскаго размышленія имѣютъ постоянный перевѣсъ надъ чувствами, обнаруживая тяжелый разладъ разсудка и надъ непосредственной воспріимчивостью, преобладаніе воображенія и фантазіи надъ простымъ пользованіемъ жизнью. Созерцаніе міровыхъ феноменовъ и проникновеніе въ сущность явленій приводитъ поэта къ внутреннему раздвоенію, отъ впечатлѣнія разлада между наблюдаемымъ и тѣмъ, чего требуетъ безграничный духъ; отсюда міровая грусть и мучительная жажда успокоенія; тщательное исканіе выхода и разочарованіе найти въ жизни успокоивающія реальности,—вотъ все, къ чему могутъ быть сведены глубокомысленные мотивы поэзіи Баратынскаго. Погруженный въ себя, въ неумолкаемую тревогу запросовъ собственной души, Баратынскій мало касается въ своей метафизической поэзіи реальной дѣйствительности, находя исключительно въ горнилѣ собственной внутренней жизни источники лирическаго вдохновенія. Въ этомъ граница, отдѣляющая его поэзію отъ Пушкинской и предѣлъ его оригинальности. Пушкинъ, какъ извѣстно, былъ геніальнымъ пѣвцомъ прекрасной стороны дѣйствительности. Постигнувъ духъ народа, его идеалы и вѣрованія съ одной стороны и воспользовавшись съ другой стороны всѣми пріобрѣтеніями европейской поэзіи въ области развитія художественныхъ формъ, Пушкинъ эстетически претворялъ конкретное содержаніе русской дѣйствительности въ эти высшія эстетическія формы всемірной поэзіи. Баратынскаго на-

родная основа жизни не захватывала: онъ былъ полонъ собою, а изучать дѣйствительность въ ея главныхъ устояхъ было не въ его натурѣ. Баратынскій слишкомъ любилъ предаваться размышленіямъ и возвышеннымъполетамъ духа и грустить надъ разладомъ идеальныхъ міровыхъ представленій и горькой, жалкой дѣйствительности; онъ стремился найти успокоеніе отъ скорби, нерѣдко жаждалъ смерти и любилъ воспѣвать прекращенія бытія, и не могъ, поэтому, отдаться живымъ реальнымъ мотивамъ, а тѣмъ болѣе не былъ въ состояніи ввести въ поэзію элементъ народности. Въ этомъ разгадка второстепеннаго значенія Баратынскаго сравнительно съ Пушкинымъ, при рѣзкой притомъ разницѣ въ ихъ природныхъ дарованіяхъ. Дѣйствительно, какимъ жесткимъ и рѣзкимъ диссонансомъ звучитъ постоянно тоскующая и скорбная поэзія Баратынскаго, при сравненіи съ жизнерадостной поэзіей Пушкина, которому были чужды окончательный разладъ, отчаяніе и безотрадное уныніе. Если подобныя настроенія встрѣчаются въ поэзіи свѣтлаго генія, то они объясняются тяжелыми обстоятельствами его личной жизни въ эти періоды и не имѣютъ въ основѣ пессимистическаго міросозерцанія. Его минутную скорбь никогда нельзя назвать міровою: она всегда имѣетъ личный смыслъ реальнаго недовольства жизнью. Пушкинъ всегда находилъ въ идеальномъ поэтическомъ созерцаніи выходъ изъ безнадежности, или въ любви къ разцвѣту молодой жизни, къ новому поколѣнію, идущему смѣнять поколѣніе прежнее, или въ очарованіи вѣчной красотой природы или, наконецъ, въ любви къ самой жизни въ ея наилучшихъ проявленіяхъ. Съ другой стороны, основная черта-рефлексія, т. е. пристальное вниманіе къ внутреннимъ духовнымъ процессамъ, въ поэзіи Баратынскаго ярко отдѣляетъ его отъ протестующей музы поэтовъ-гражданъ. Въ стихотвореніи «Гнѣдичу» Баратынскій пишетъ о невозможности и безполезности гражданскаго протеста для его поэзіи:

„Но ты ли мнѣ велишь оставить мирный слогъ
И ѣдкой желчію напитывая строки,
Сатирою возстать на глупость и пороки...

И далѣе Баратынскій силою ѣдкаго скептицизма, присущаго философскому направленію его мысли, въ размышленіяхъ о тщетности

безполезныхъ упованій и незбыточныхъ надеждъ, отвергаетъ совѣты Гнѣдича:

„Но если полную свободу мнѣ дадутъ,
Того ль я устрашу, кому не страшенъ судъ?
Кто въ сердцѣ должнаго укора не находитъ,
Кого и Божій гнѣвъ въ заботу не приводитъ,
Того ли оскорбитъ язвительный языкъ?
Онъ совѣсть усыпилъ, къ позору онъ привыкъ".

Въ концѣ этого длиннаго посланія къ Гнѣдичу, Баратынскій указываетъ на иной путь, предстоящій его поэзіи:

„Нѣтъ, нѣтъ! Разумный мужъ идетъ путемъ инымъ,
И снисходительный къ дурачествамъ людскимъ,
Не выставляетъ ихъ, но сноситъ благонравно;
Онъ не пытается, увѣренный забавно
Во всемогуществѣ болтанья своего,
Имъ въ людяхъ измѣнить людское естество".

Это безвѣрье въ возможность нравственнаго воздѣйствія поэзіи и отрицаніе задачи поэзіи «лирой возбуждать добрыя чувства» также характеризуетъ различіе между Баратынскимъ и Пушкинымъ и рѣзко очерчиваетъ жизненный пессимизмъ перваго.

Въ послѣднихъ строкахъ этого посланія высказана, очевидно, справедливая мысль, что отъ поэта можно требовать лишь того, что по самой натурѣ и свойствамъ своего дарованія онъ способенъ воспѣвать. Баратынскій былъ поэтомъ скорби и по своей природѣ и свойствамъ таланта былъ далекъ отъ возведенія русской дѣйствительности въ перлъ созданія и одинаково далекъ отъ гражданскихъ мотивовъ и отъ прославленія прогресса, какъ того требовалъ Бѣлинскій въ статьѣ, посвященной «Сумеркамъ» Баратынскаго. Пушкинъ вѣрно угадалъ основу его поэзіи. «Баратынскій принадлежитъ къ числу отличныхъ нашихъ поэтовъ. Онъ у насъ оригиналенъ, ибо мыслитъ. Онъ былъ бы оригиналенъ и вездѣ, ибо мыслитъ по своему, правильно и независимо, между тѣмъ какъ чувствуетъ сильно и глубоко. Гармонія его стиховъ, свѣжесть слога, живость и точность выраженія должны поразить всякаго, хотя нѣсколько одарен-

наго вкусомъ и чувствомъ». Съ внѣшней точки зрѣнія стихотворенія Баратынскаго раздѣляются на лирическіе стихи и эпическія поэмы. Но это раздѣленіе не вполнѣ точно, такъ какъ эпическихъ поэмъ въ строгомъ смыслѣ слова нѣтъ у Баратынскаго. Нѣкоторыя изъ его поэмъ крайне субъективны, многія стихотворенія написаны въ тонѣ вполнѣ объективномъ. Есть стихотворенія, которыя заняты описаніемъ наблюденій поэта, безъ выраженія личныхъ чувствъ и думъ, но самый выборъ темы и то или другое освѣщеніе даетъ этимъ изображеніямъ субъективный колоритъ. Къ вполнѣ объективнымъ произведеніямъ Баратынскаго можетъ быть отнесено извѣстное стихотвореніе: «На смерть Гёте». При нѣкоторыхъ преувеличеніяхъ, оно прекрасно рисуетъ пантеизмъ геніальнаго нѣмецкаго олимпійца и въ музыкальныхъ, чарующихъ стихахъ охватываетъ всю глубь и ширь поэзіи германскаго генія. Лучшее мѣста этой пьесы, несомнѣнно, составляютъ вкладъ въ вѣчную сокровищницу всемірной поэзіи:

„Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье.
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна".

Къ вполнѣ объективнымъ стихотвореніямъ Баратынскаго относятся «Скульпторъ», «Мадонна», и «Бѣсенокъ». Отчасти сюда можетъ быть отнесено и стихотвореньице «Пѣсня». Послѣднія двѣ пьесы прекрасны по своей простой, безыскусственной и гармоническої формѣ; онѣ написаны въ народномъ стилѣ. Но народность не распространяется дальше внѣшней формы, всѣ выраженія для которой взяты поэтомъ изъ области народныхъ представленій и вѣрованій и изъ прелестной сокровищницы русскаго народнаго языка. «Пѣсня, заканчивается минорными мотивами, придающими субъективный колоритъ всей пѣснѣ юнаго ратника, покинувшаго родную мать и вспоминающаго о своей милой. Въ изящной по формѣ, хотя незначительной по содержанію пьесѣ «Бѣсенокъ» Баратынскій поль-

зуется народными повѣрьями, какъ художественными аксессуарами для воспѣванія бѣсенка, къ чарамъ котораго прибѣгаетъ поэтъ въ трудныя минуты жизни. Эта вещица къ сожалѣнію до сихъ поръ совершенно игнорировалась, вслѣдствіе чего является необходимость привести ея полностью:

„Слыхалъ я, добрые друзья,
Что наши прадѣды въ печали
На помощь бѣса призывали:
Имъ подражаю въ этомъ я.
Но не пугайтесь: подружился
Я не съ проклятымъ сатаной,
Кому душою поклонился
За деньги старый Громобой;
Узнайте, ласковый бѣсенокъ
Меня младенцемъ навѣщалъ
И колыбель мою качалъ
Подъ шопотъ легкихъ побасенокъ.
Съ тѣхъ поръ я вышелъ изъ пеленокъ,
Между мужами возмужалъ,
Но для него еще ребенокъ.
Случится ль горе иль бѣда,
Иль безотчетно иногда
Струснется мнѣ въ моей конуркѣ,—
Махну рукой: по старинѣ
На сѣромъ волкѣ, сивкѣ-буркѣ
Онъ мигомъ явится ко мнѣ.
Больному духу здравьемъ свиснетъ,
Бобами думу разведетъ,
Живой водой веселье вспрыснетъ,
А горе—мертвою зальетъ.
Когда въ задумчивомъ совѣтѣ
Съ самимъ собой, изъ-за угла
Гляжу на свѣтъ и, видя въ свѣтѣ
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,
Насильемъ сверженный законъ,
Я слабымъ сердцемъ возмущенъ:
Проворно шапку-невидимку
На шаръ земной наброситъ онъ;
Или, въ мгновеніе ѳенницы,
Чудесный коврикъ самолетъ
Онъ подо мною развернетъ,

И коврикъ тотъ въ, сады жаръ-птицы,
Въ чертоги дивной царь-дѣвицы
Меня по воздуху несетъ.
Прощай, владѣнье грустной были,
Меня смущавшее досель:
Я отъ твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель.

По выдержанности тона, по яркости образовъ, по талантливой комбинаціи элементовъ, взятыхъ изъ русскихъ сказокъ и пѣсенъ, а также по оригинальности замысла и поэтической фантастикѣ отдѣлки это стихотвореніе заслуживаетъ высокой оцѣнки и можетъ стать на ряду съ лучшими произведеніями русской поэзіи въ народномъ духѣ.

Обширный отдѣлъ въ поэзіи Баратынскаго занимаютъ его описанія природы. Всѣ описанія природы у Баратынскаго окрашены субъективнымъ пессимистическимъ колоритомъ, сообщающимъ имъ лирическій характеръ съ преобладаніемъ элегическихъ настроеній. Чисто описательныхъ картинъ природы у Баратынскаго мало. Поэтъ субъективистъ по преимуществу, Баратынскій и здѣсь всегда выражаетъ свои обычныя элегическія волненія и грустныя думы, которыя навѣваетъ на него созерцаніе красотъ природы. Баратынскій идетъ и въ этой области своимъ путемъ, пользуется вполнѣ оригинальными пріемами для изображенія внѣшняго по отношенію къ поэту міра. Не очерчивая подробно ни наиболѣе характерныя, ни мелкія и не замѣчаемыя обычнымъ разсѣяннымъ взглядомъ, не улавливающимъ тонкихъ деталей—черты ландшафта, Баратынскій изображаетъ преимущественно внутреннія чувства, которыя поднимаются въ немъ при взглядѣ на явленія природы. Поэта пессимиста привлекаютъ вызывающія грустныя созвучія въ душѣ черты русскаго пейзажа, и онъ останавливается на тѣхъ его сторонахъ, которыя гармонируетъ съ печальнымъ настроеніемъ, и у него именно хороши эти особенности. У Баратынскаго оригинальны картины природы, описываемыя широкою - размашистою кистью, крупными чертами, при отсутствіи мелкихъ подробностей. Въ этомъ характерная особенность пейзажей Баратынскаго и отличіе отъ описаній природы у Пушкина. Описанія Баратынскаго не поддаются передачѣ средствами родственныхъ поэзіи искусствъ, — ими

нельзя воспользоваться для живописи; ихъ трудно переложить на музыку, но они производятъ неотразимо-обаятельное впечатлѣніе. Эти картины чаще всего проникнуты элегическимъ настроеніемъ и дополняютъ поэтическое изображеніе внутреннихъ процессовъ мысли и грустныхъ чувствъ поэта—пессимиста. Особенно ярко выступаетъ эта разница въ описаніяхъ однихъ и тѣхъ же мотивахъ у Баратынскаго и Пушкина. Слѣдующими стихами изображаетъ Пушкинъ осень:

Октябрь ужъ наступилъ; ужъ роща отряхаетъ
Послѣдніе листы съ нагихъ своихъ вѣтвей;
Дохнулъ осенній хладъ, дорога промерзаетъ,
Журча еще бѣжитъ за мельницу ручей;
Но прудъ уже застылъ. Сосѣдъ мой поспѣшаетъ
Въ отъѣзжія поля съ охотою своей—
И страждутъ озими отъ бѣшенной забавы,
И будитъ лай собакъ уснувшія дубравы.—

Какое обиліе подробностей въ этомъ детальномъ изображеніи! Какъ будто передъ глазами Пушкина развертываются живыя картины природы. Можно опредѣленно сказать, что картина списана съ извѣстнаго уголка извѣстной мѣстности со всѣми ея реальными деталями. Баратынскій описываетъ осень совсѣмъ другими чертами, напоминающими послѣдними строками описаніе природы у англійскаго поэта Шелли его пьесѣ «Воспоминаніе»:

И вотъ сентябрь! Замедля свой восходъ
Сіяньемъ хладнымъ солнце блещетъ,
И лучъ его въ зерцалѣ зыбкихъ водъ
Невѣрнымъ золотомъ трепещетъ.
Сѣдая мгла вѣется вкругъ холмовъ;
Росой затоплены равнины;
Желтѣетъ сѣнь кудрявая дубровъ,
И красенъ круглый листъ осины;
Умолкли птицъ живыя голоса,
Безмолвенъ лѣсъ, беззвучны небеса.

Черты осени у Баратынскаго схвачены вообще, безъ опредѣленія тонкихъ подробностей именно даннаго изображаемаго пейзажа,—нѣтъ деталей, обособляющихъ нарисованное поэтомъ изображеніе отъ обычныхъ представленій осени вообще. Въ картинѣ не-

реданы самыя общія черты неопредѣленными расплывчатыми красками; но впечатлѣніе тѣмъ не менѣе вызывается глубокое. Въ послѣднихъ строкахъ передается субъективное элегическое настроеніе поэта. Контрастъ между настроеніемъ наблюдателя и безмолвіемъ лѣса и беззвучіемъ небесъ въ природѣ, очевидно, вызванъ бурной тревогой и неумолкаемой борьбою внутреннихъ волненій поэта, которыя слышатся сквозь тишь окружающаго безмолвья. Описаніе осени у Пушкина прерывается, чтобы сравненіемъ съ чахоточной дѣвой или описаніемъ воздѣйствія осенней «пышной природы увяданія» на поэтическія волненія мыслей или же сопоставленіемъ съ непріятными сторонами лѣта — дополнить «смиренную, тихую красоту» поздней русской осени. У Баратынскаго описаніе осени прерывается, чтобы дать выходъ «тоскѣ отъ безплоднаго созерцанія добрей», вызывающихъ «смертельный стонъ», отъ «людскихъ безумствъ и лицемѣрій», выразить «негодованья крикъ» и «животворную скорбь» предъ «дерзкимъ легковѣріемъ людей, лелѣющихъ «позлащенные сны». Все вызываетъ «вопль тоски великой» у поэта скорби и рефлексіи:

„Вотъ буйственно несется ураганъ,
И лѣсъ подъемлетъ говоръ шумный,
И пѣнится, и ходитъ океанъ,
И въ берегъ бьетъ волной безумной:
Такъ иногда толпы лѣнивый умъ
Изъ усыпленія выводитъ
Гласъ, пошлый гласъ, вѣщатель общихъ думъ
И звучный отзывъ въ ней находитъ.
Но не найдетъ отзыва тотъ глаголъ,
Что страстное земное перешелъ“.

Особенно характерна послѣдняя строфа для Баратынскаго, какъ для пессимиста, утратившаго вѣру въ смыслъ и цѣну всего существующаго и научившагося презирать блага земного счастья, благодаря разочарованію въ «страстной земной» сферѣ, за границу которой всегда перелетаетъ его взоръ.

Это призваніе въ полетахъ мысли въ сверхчувственный міръ лучше всего характеризуетъ поэта—метафизика.

Также различны описанія весны у Пушкина и у Баратынскаго.

Гонимы вешними лучами,
Съ окрестныхъ горъ уже снѣга

Сбѣжали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года:
Синѣя блещутъ небеса.
Еще прозрачные, лѣса
Какъ будто пухомъ зеленѣютъ;
Пчела за данью полевой
Летитъ изъ кельи восковой;
Долины сохнутъ и пестрѣютъ;
Стада шумятъ, и соловей
Ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей.

Пушкинъ описываетъ обновленіе природы, воспроизводя подробно, ярко и точно всѣ мельчайшія детали наблюдаемаго пейзажа. У Баратынскаго описанію весны посвящено стихотвореніе, дающее общую картину весны, въ которой пессимистъ радуется за тѣхъ, кто хоть на время найдетъ забвеніе отъ горькихъ скорбныхъ мыслей міровой дѣйствительности.

Весна, весна! какъ воздухъ чистъ!
Какъ ясенъ небосклонъ!
Своей лазурію живой
Слѣпитъ мнѣ очи онъ.
Зачѣмъ такъ радуетъ ее
И солнце, и весна?
Ликуетъ ли, какъ дочь стихій,
На нивѣ ихъ она?
Что нужды! счастливъ, кто на немъ
Забвенье мысли пьетъ,
Кого далеко отъ нея
Онъ дивный унесетъ!

Это описаніе весны, полное искренняго лирическаго воодушевленія, рисуетъ лишь общія черты, производящія временное живительное настроеніе и мгновенный подъемъ духа у поэта, жаждущаго забвенія. Но сквозь восторгъ восклицаній еще сильнѣе сказывается грусть поэта, ищущаго забвенія мысли, которому «нѣтъ нужды» до красоть природы. У Баратынскаго встрѣчаются описанія природы, которыя ни въ чемъ не уступаютъ лучшимъ описаніямъ корифеевъ русской поэзіи; но онѣ рѣдки, такъ какъ личныя чувства заслоняютъ спокойное воспроизведеніе объективно реальной дѣйствительности.

„Я помню ясный, чистый прудъ
Подъ сѣнію береэъ вѣтвистыхъ;
Средь мирныхъ водъ его три острова цвѣтутъ,
Свѣтлѣя нивами межъ рощъ своихъ водпистыхъ.
За нимъ встаетъ гора, предъ нимъ въ кустахъ шумитъ
И брызжетъ мельница. Деревья, міръ широкій,
А тамъ счастливый домъ..: туда душа летитъ.
Тамъ, не хладѣлъ бы я и въ старости глубокой!"

Въ мелодичныхъ и нѣжныхъ стихахъ чувствуется, какъ глубоко понималъ и любилъ природу Баратынскій, какъ художественно изображалъ онъ унылую простоту, унылое однообразіе русскаго пейзажа, какъ проникался поэтъ родной картиной—но при этомъ всегда сообщалъ изображенію субъективный элементъ внутренняго раздвоенія, скорби и унынія.

Созерцаніе горныхъ красотъ сѣверной страны были для Баратынскаго источникомъ его поэтическихъ описаній Финляндіи. За картинами природы поэту — мыслителю нерѣдко чудятся событія прошлаго.

„По дряхлымъ скаламъ бродитъ взглядъ,
Пришлецъ исполненъ смутной думы:
Не міра ль давняго лежатъ
Предъ нимъ развалины угрюмы".

Та же нота недовольства міромъ звучитъ въ такихъ описаніяхъ природы, гдѣ роскошь страны, кажется, недопускаетъ желанія оторваться отъ чарующаго пейзажа.

Въ описаніе Италіи въ поздній періодъ творчества Баратынскій влагаетъ искреннее элегическое одушевленіе. Поэтъ не довольствуется видимымъ и стремится улетѣть на золотыхъ крыльяхъ поэтической фантазіи въ область сверхчувственнаго міра, а на землѣ онъ не можетъ примириться ни съ жизнью, ни съ красотою природы.

И въ сей Италіи, гдѣ все—каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
Чей безымянный листъ такъ преданно обликъ
Давно изъ Божества разжалованный ликъ,
Потомъ съ чела его повиснулъ полусонно:—
Все беззаботному дыханью благосклонно,
Ужиться ты не могъ, и, помня сладкій югъ,
Духъ предалъ строгому дыханью нашихъ вьюгъ;
Не сѣтуя о томъ, что за предѣлы міра
Онъ улетѣть бы могъ на крыліяхъ Зефира!

Въ описаніяхъ природы тоже «сплетеніе поэзіи съ метафизикой» составляетъ отличительную черту творчества Баратынскаго, какъ вѣрно и проницательно указалъ еще Пушкинъ. Составляя господствующій мотивъ лирики Баратынскаго, эта метафизика проникаетъ и его описанія природы несмотря на то, что здѣсь менѣе всего можно ожидать субъективныхъ элементовъ въ поэзіи. Въ ранній періодъ творчества Баратынскаго именовали «русскимъ Парни» и, дѣйствительно въ этотъ періодъ не мало имъ написано стихотвореній въ анакреонтическомъ родѣ. Подобный періодъ былъ, какъ извѣстно, у Пушкина, хотя съ лѣтами Пушкинъ становится все серьезнѣе, но этотъ тонъ не исчезаетъ однако совершенно изъ Пушкинской поэзіи. Баратынскій въ «Пирахъ» слѣдующими чертами характеризуетъ Пушкина;

Ты, Пушкинъ нашъ, кому дано
Пѣть и героевъ, и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано съ проказливымъ умомъ
Быть сердца вѣрнымъ знатокомъ
И лучшимъ гостемъ за бутылкой.

Этотъ періодъ былъ у Баратынскаго «пѣвца Пировъ», но скоро «томная грусть» овладѣла всецѣло поэтомъ, и его творчество въ зрѣлые годы не выходитъ за предѣлы заколдованнаго круга— пессимизма и рефлексіи. Въ анакреонтическомъ родѣ написано Баратынскимъ «Подражаніе Парни» и посланіе къ «Лидѣ»; въ этой пьесѣ соблюденъ классическій стиль и поэтъ удачно пользуется образами античной поэзіи:

Когда подъ звонкіе напѣвы,
Подъ звукъ свирѣли плясовой,
На муравѣ рука съ рукой
Кружатся юноши и дѣвы,
Вмѣшавшись въ рѣзвый хороводъ,
Хариты, вѣтреный Эротъ,
Дріады, Фавны пляшутъ съ ними
И гонятъ прочь толпу заботъ
Восклицаньями своими.

Въ духѣ Парни написано и «Подражаніе Лафару». Въ концѣ этого стихотворенія звучитъ соблазнительная пѣснь беззаботности, которая не можетъ однако увлечь Баратынскаго.

Тогда *съ улыбкою коварной*
Предсталъ внезапно Купидонъ.
О чемъ вздыхаешь, молвилъ онъ,
О чемъ грустишь, неблагодарный!
Забудь печальныя мечты;
Я вѣчно юнъ, и я съ тобою!

Самымъ блестящимъ произведеніемъ во вкусѣ легкой, игривой, изящной поэзіи является длинное стихотвореніе Баратынскаго «Пиры», написанные легкими ямбами. Пушкинъ вспоминаетъ въ «Онѣгинѣ» объ этомъ стихотвореніи и называетъ Баратынскаго «Пѣвцомъ Пировъ». Отдѣльныя мѣста «Пировъ» повліяли на нѣкоторыя мѣста въ Евгеніи Онѣгинѣ». Образы и краски, въ которые Пушкинъ облекъ нѣкоторыя описанія, обнаруживаютъ слѣды знакомства и вліяніе «Пировъ» Баратынскаго. Описаніе Москвы въ Евгеніи Онѣгинѣ» напоминаетъ описаніе Москвы въ «Пирахъ». При чтеніи именинъ Татьяны до пріѣзда Ленскаго и Онѣгина вспоминается описаніе пира у Баратынскаго. Поэма «Пиры» написана ранѣе «Евгенія Онѣгина» и образы и отдѣльныя черты могли повліять при созданіи романа Пушкина. У Баратынскаго недолго продолжался періодъ подражанія Парни, періодъ мирнаго воспѣванія благъ и утѣхъ жизни. Мрачное настроеніе все болѣе овладѣваетъ имъ, и ядъ горькаго разочарованія отравляетъ всѣ радости жизни. Рефлексія и мучительный анализъ своимъ острымъ прикосновеніемъ губятъ сладкое чувство непосредственнаго бытія и мѣшаютъ отдаться наслажденію жизнью. Ошибочно думать, что это разочарованіе возникло у Баратынскаго подъ вліяніемъ Байрона. Баратынскій негодовалъ на Мицкевича за его подражаніе Байрону и былъ искреннимъ сторонникомъ самостоятельности въ поэзіи. Въ стихотвореніи «Прогоны жизни» Баратынскій оригинально и образно и въ короткихъ и сильныхъ стихахъ указываетъ на мимолетность счастья и непрочность скоропроходящихъ радостей жизни:

Въ дорогу жизни снаряжая
Своихъ сыновъ, безумцевъ насъ,
Сновъ золотыхъ судьба благая
Даетъ извѣстный намъ запасъ:
Насъ быстро годы почтовые
Съ корчмы довозятъ до корчмы,
И снами тѣми роковые
Прогоны жизни платимъ мы.

Въ періодъ болѣе ранній еще встрѣчаются стихотворенія въ анакреонтическомъ родѣ, какъ напр., красивая пьеска «Мой Элизей»; но чѣмъ далѣе, тѣмъ все рѣже становятся воспѣванія радостей бытія,—краски напѣвовъ все сгущаются, становятся мрачнѣй, пока, наконецъ, сѣрая безпросвѣтная дымка не застелетъ окончательно взоровъ поэта отъ свѣтлой стороны жизни. Кульминаціонная точка развитія таланта Баратынскаго, апогей его творчества совпадаетъ съ наивысшимъ развитіемъ его пессимизма. Мрачнымъ апоѳеозомъ поэзіи Баратынскаго является траурный гимнъ суровой богинѣ «Смерти», которой поэтъ въ порывѣ сумрачнаго вдохновенья слагаетъ похвальную оду:

Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболѣпною мечтой
Гробовый остовъ ей даруя,
Не оболчу ее косой
О дочь верховнаго Эфира!
О свѣтозарная краса!
Въ рукѣ твоей олива мира,
А не губящая коса.
.....
А человѣкъ! святая дѣва!
Передъ тобой съ его лица
Мгновенно сходятъ пятна гнѣва,
Жаръ любострастія бѣжитъ.
Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.
Недоумѣнье, принужденье—
Условье смутныхъ нашихъ дней;
Ты всѣхъ загадокъ разрѣшенье,
Ты разрѣшенье всѣхъ цѣпей.

Пушкинымъ также овладѣвали минуты тоски и разочарованія. Но какая глубокая разница между мотивами унынія у Пушкина и горькими воплями отчаянія и безнадежности у Баратынскаго!

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело какъ смутное похмѣлье;
Но какъ вино—печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй.

Мой путь уныл. Сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать;
И вѣдаю, мнѣ будутъ наслажденья
Межъ горестей, заботъ и треволненья;
Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И, можетъ быть, на мой закатъ печальный
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной.

Это стихотвореніе лучше всего указываетъ на разницу въ характерѣ творчества Пушкина и Баратынскаго. Упругая натура богатыря новой русской поэзіи не могла долго предаваться скорби и въ этомъ сказался народный складъ характера Пушкина. Въ XVII вѣкѣ была распространена оригинальная русская повѣсть «Горе—Злосчастье», въ которой звучитъ основной мотивъ проникающій весь народный героическій эпосъ:

„А въ горѣ жить—не кручину быть
А кручинну въ горѣ погинути".

Эта основная мысль свѣтлаго житейскаго народнаго міросозерцанія находитъ въ лицѣ Пушкина геніальнаго представителя въ новой литературѣ. Пушкинъ въ смерти не видитъ мрачнаго начала, онъ примиряется съ ней, благодаря его любви къ новому поколѣнію, выступающему на смѣну старому.

„Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ,
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго".

Или путемъ любви къ природѣ:

„И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять".

Въ другомъ случаѣ Пушкинъ находитъ нравственное успокоеніе въ любви къ идеальному въ самой жизни, какъ напр., въ любимомъ

образѣ его творчества въ образѣ Татьяны, который онъ никогда не подвергалъ суду и образъ которой лелѣялъ въ своей душѣ.

Вспоминая образъ свято любимый и оставшійся неизвѣстнымъ оригиналъ, Пушкинъ восклицаетъ:

„А ты, съ которой образованъ
Татьяны милой идеалъ—
О много, много рокъ отъялъ!
Я такъ люблю
Татьяну милую свою".

У Баратынскаго нѣтъ примирительныхъ пунктовъ съ жизнью. Неумолкаемая рефлексія и безграничный анализъ порождаютъ отчаяніе—найти въ жизни осуществленіе внутреннихъ запросовъ духа, слѣдствіемъ чего является безсильное уныніе. Скептетизмъ и сомнѣніе проявляются у Баратынскаго въ глубокомъ и гармоничномъ стихотвореніи «Истина» (эта пьеса вызвала уже при жизни, какъ выяснилъ профессоръ Кирпичниковъ въ статьѣ «о Коншинѣ», подражаніе у его товарища, начальника).

Въ стихотвореніи «Истина», исполненномъ глубокой мысли и философскаго одушевленія, поэтъ, выслушавъ обольстительную рѣчь «Истины», отстраняетъ ее, зовя на свиданіе, когда будетъ умирать.

Я трепеталъ, словамъ ея внимая,
И горестно въ отвѣтъ
Промолвилъ ей: „о гостья роковая!
Печаленъ твой привѣтъ!

—

„Свѣтильникъ твой—свѣтильникъ погребальной
Всѣхъ радостей земныхъ!
Твой міръ, увы! могилы міръ печальный
И страшенъ для живыхъ.

—

„Нѣтъ, я не твой! въ твоей наукѣ строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня: кой-какъ моей дорогой
Одинъ я побреду.

—

„Прости! иль нѣтъ: когда мое свѣтило
Во звѣздной вышинѣ
Начнетъ блѣднѣть, и все, что сердцу мило,
Забыть придется мнѣ.

—

„Явись тогда! раскрой тогда мнѣ очи,
Мой разумъ просвѣти:
Чтобъ жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель ночи
Безропотно сойти".

Какъ страшна истина для поэта, который только въ торжественный моментъ смерти соглашается взглянуть на суровый и страшный обликъ, возбуждающій такую неугасимую скорбь отъ одного ея прикосновенія. Это—высшій пунктъ развитія пессимизма, который вмѣстѣ съ воспѣваніемъ смерти разрушаетъ реальность всякого блага въ мірѣ и въ его явленіяхъ.

Въ книгѣ «Міровая скорбь въ концѣ прошлаго и въ началѣ нашего вѣка» г. Котляревскій выясняетъ поэзію недовольства и печали или «какъ результатъ непосредственнаго столкновенія съ неизбѣжнымъ въ мірѣ страданіемъ, или какъ итогъ работы рефлектирующаго ума, всегда понижающаго цѣнность земного счастія, или, наконецъ, какъ неизбѣжное слѣдствіе того томленія по лучшей жизни, той неудовлетворенности, умственной или нравственной, которая, не имѣя предѣла, служитъ источникомъ, съ одной стороны, всѣхъ нашихъ наиболѣе интенсивныхъ душевныхъ страданій, съ другой—всѣхъ наиболѣе цѣнныхъ побѣдъ, одержанныхъ человѣкомъ надъ враждебными его счастію силами, и внѣшними и внутренними». (Н. Котляревскій, «Міровая скорбь» 1898 г., Спб.). IX., Въ русской литературѣ Баратынскій и, является представителемъ міровой скорби.

Эта скорбь звучитъ въ пьесѣ «Недоносокъ», гдѣ Баратынскій скорбитъ о ничтожествѣ человѣка, брошеннаго между небомъ и землею, которому въ тягость просторъ самой вѣчности и котораго мало трогаетъ житейскія наслажденія и бѣдствія. Если придавать этому стихотворенію субъективное значеніе, то оно является выраженіемъ тоски и воплей поэта о слабости собственныхъ силъ. Но подобное біографическое объясненіе слишкомъ односторонне. Справедливѣе

понимать это стихотвореніе, какъ одно изъ частныхъ проявленій общаго пессимистическаго міросозерцанія, а не какъ мимолетное только проявленіе временнаго личнаго настроенія. Конецъ этого стихотворенія выражаетъ скорбь духа, неудовлетвореннаго земнымъ поприщемъ и промежуточнымъ положеніемъ между сферой безграничнаго и тѣсною земною обителью.

„Изнывающій тоской
Я мечусь въ поляхъ небесныхъ,
Надо мной и подо мной
Безпредѣльныхъ—скорби тѣсныхъ!
Въ тучу кроюсь я, и въ ней
Мчуся, чуждъ земного края,
Страшный гласъ людскихъ скорбей,
Гласомъ бури заглушая.
Міръ я вижу какъ во мглѣ;
Арфъ небесныхъ отголосокъ
Слабо слышу... На землѣ
Оживилъ я недоносокъ“.

Къ области духовъ человѣкъ не принадлежитъ; его скорываютъ реальныя условія земного бытія, но предаться только послѣднему онъ не можетъ, такъ какъ въ немъ заложены духовные порывы. Это промежуточное положеніе человѣка между земной и духовной сферой и является источникомъ раздада, лежащаго въ самой природѣ человѣка.

Въ противоположность мятежному тону этой философской пьесы, античнымъ спокойствіемъ дышетъ написанное торжественнымъ гекзаметромъ стихотвореніе «Мудрецу», тщетно ищущему покоя:

„Тщетно межъ бурною жизнью и хладною смертью, философъ,
Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей, покой,
Намъ изводеньемъ Зевеса брошеннымъ въ міръ коловратный,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье одно“.

Путь къ обрѣтенію покоя указанъ въ пьесѣ «Ахиллъ», гдѣ поэтъ сравниваетъ героя древности, обладающаго физическою силою, съ духовнымъ бойцомъ, новыхъ дней, который долженъ обладать вѣрою, дѣлающей уязвимую пяту невредимой

Омовенъ ея водою,
Знай, страданью надъ собою
Волю полную ты далъ.
И одной пятой своею
Невредимъ ты, если ею
На живую вѣру сталъ!

Но самъ поэтъ далекъ отъ этой вѣры; какъ вопль, вырываются изъ глубины духа безнадежныя строки гармоничныхъ чарующихъ риѳмъ:

„На что вы дни! Юдольный міръ явленья
Свои не измѣнитъ!
Всѣ вѣдомы, и только повторенья
Грядущее сулитъ.
Не даромъ ты металась и кипѣла,
Развитіемъ спѣша:
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,
Безумная душа!“

Въ другомъ стихотвореніи «Къ чему невольнику мечтанія свободы» Баратынскій, обозрѣвая судьбу, посланную небеснымъ свѣтиламъ, рѣчнымъ водамъ, бродячему вѣтру, приходитъ къ выводу, что все идетъ назначеннымъ путемъ, и человѣкъ поэтому долженъ въ силу жестокаго рока смирить свои мечты. Стихотвореніе заканчивается тяжелымъ возгласамъ, вырывающимся изъ глубины сердца поэта:

„Безумецъ! не она ль, не выщная ли воля
Даруетъ страсти намъ?...
О, тягостна для насъ...
Жизнь, въ сердцѣ бьющая могучею волною,
И въ грани узкія втѣсненная судьбою“.

Та же грустная, непримиримая мелодія звучитъ и въ анакреонтическихъ стихахъ: «Алкивіадъ», написанномъ строгимъ гекзаметромъ. Въ этомъ стихотвореніи Баратынскій оплакиваетъ ограниченность человѣческой природы, всѣ совершенства которой не удовлетворяютъ глубокихъ запросовъ духа.

„Юный красавецъ сидѣлъ горделиво задумчивъ и, смѣхомъ
Горькимъ смѣясь, на него мужи казали перстомъ;
Дѣвы, тайно любясь челомъ благородно-открытымъ,

Нехотя взоръ отводя, хмурили брови свои.
Онъ же и глухъ былъ, и слѣпъ; онъ не въ мѣди глядясь, а въ грядущемъ,
Думалъ: къ лицу ли ему будетъ лавровый вѣнокъ?“

Міръ, по словамъ Гейне, представляется или очаровательной красавицей или безобразной вѣдьмой, смотря по тому, черезъ розовые или черные очки смотритъ наблюдатель. Баратынскій смотрѣлъ черезъ такія стекла, которыя омрачали всѣ его представленія, окутывая ихъ непроницаемымъ траурнымъ мракомъ.

Въ стихотвореніяхъ Баратынскаго кромѣ общихъ взглядовъ на міръ, (какъ напр. въ космическомъ очертаніи «Послѣдней смерти»), на человѣка и на себя отражаются его взгляды на любовь и на счастье, связанное съ чувствомъ любви. Но и въ этихъ мотивахъ звучитъ всегда горькая нота и преобладаютъ печальныя и унылыя мелодіи. Въ стихотвореніи «Онъ и она» Баратынскій выражаетъ свой пессимистическій взглядъ на чувства и на недолговѣчность счастья.

„Ты грустной мыслію меня
Смутила, Такъ! сегодня зрѣнье
Плѣняетъ свѣтъ веселый дня,
Плѣняетъ Божіе творенье;
Теперь въ рукѣ моей твою
Я съ чувствомъ пламеннымъ сжимаю,
Твой нѣжный взоръ я понимаю,
Твой сладкій голосъ узнаю...
А завтра... завтра... какъ ужасно!
Мертвецъ незрящій и глухой,
Мертвецъ холодный!.. Лучъ дневной
Въ глаза ударитъ мнѣ напрасно;
Вотще къ устамъ моимъ прельнешь
Ты воспаленными устами,
Ко мнѣ съ обильными слезами,
Съ рыданьемъ горькимъ воззовешь!
Я не проснусь! И что мы знаемъ?
Не только завтра, сей же часъ
Меня не будетъ! Кто изъ насъ
Въ земномъ блаженствѣ не смущаемъ
Такою думой?“

Баратынскій вездѣ высказываетъ безотрадно тяжелую мысль, что въ «любви мы пьемъ отраву сладкую», «забаву легкую, минутное

забвенье». Поэтъ пессимистъ срываетъ обольстительную маску со всего прекраснаго, и мыслями о горькомъ будущемъ разрушаетъ красивыя и пріятныя, но обманчивыя иллюзіи и очарованія жизни. Какого бы вопроса не касался поэтъ, Гамлетовская рефлексія мѣшаетъ ему отдаться непосредственнымъ впечатлѣніямъ и губитъ радостное свѣтлое чувство, какъ вѣтеръ, налетѣвшій на гладкую поверхность озера уничтожаетъ всѣ красивыя отраженія предметовъ, вызывая зыбь волнующейся стихіи.

Пушкинъ въ «Каменномъ Гостѣ» между прочимъ затрогиваетъ вопросъ о непрочности прекраснаго и быстромъ увяданіи красоты. Мрачный Донъ Карлосъ въ отсутствіи Донъ Жуана оставленъ Лаурой послѣ ухода гостей. Угрюмый скептикъ напоминаетъ восемнадцатилѣтней красавицѣ объ ожидающемъ ее тяжеломъ будущемъ, но Лаура въ своемъ отвѣтѣ, выражаетъ взглядъ Пушкина, умѣющаго найти утѣшеніе во всемъ въ жизни и свѣтлую сторону настоящаго не омрачать ненужными сомнѣніями.

Донъ Карлосъ: Ты молода и будешь молода
Еще лѣтъ пять иль шесть. Вокругъ тебя
Еще лѣтъ шесть они толпиться будутъ,
Тебя ласкать, лелѣять и дарить,
И серенадами ночными тѣшить,
Изъ-за тебя другъ друга убивать
На перекресткахъ ночью. Но когда
Пора пройдетъ, когда твои глаза
Впадутъ, и вѣки, сморщась, почернѣютъ,
И сѣдина въ косѣ твоей мелькнетъ,
И будутъ называть тебя старухой,
Тогда—что скажешь ты?
Лаура: Тогда... Зачѣмъ
Объ этомъ думать? Что за разговоръ?
Иль у тебя всегда такія мысли?
Приди—открой балконъ. Какъ небо тихо!
Недвижимъ теплый воздухъ: ночь лимономъ
И лавромъ пахнетъ; яркая луна
Блеститъ на синевѣ густой и темной,
И сторожа кричатъ протяжно, ясно!..
А далеко, на сѣверѣ—въ Парижѣ—
Быть можетъ, небо тучами покрыто
Холодный дождь идетъ и вѣтеръ дуетъ.
А намъ какое дѣло"?

Баратынскаго не примиряютъ тѣ беззаботные доводы, которыми живетъ испанская красавица и которымъ сочувствуетъ жизнерадостная и свѣтлая натура Пушкина. Въ антологическомъ стихотвореніи «къ Делiи» Баратынскій, описавъ яркими красками очарованіе страстной прелестницы, разрушаетъ ея чары и покой ея души непреклонными угрозами, рисуя передъ ней въ зловѣщихъ краскахъ всю бездну мрачнаго будущаго.

Придется вѣкогда извѣдать и тебѣ
Очарованье роковое!
Не опасаяся насмѣшливыхъ сѣтей,
Быть можетъ, избранный тобою
Уже не ввѣрится огню любви твоей,
Не тронется ея тоскою.
Когда-жъ пора придетъ, и розы красоты,
Вседневно свѣжестью бѣднѣя,
Погибнутъ, отвѣчай: къ чему прибѣгнешь ты?
Къ чему, безчарная Цирцея?
Искусствомъ округлишь ты высохшую грудь,
Худыя щеки зарумянишь,
Дитя крылатое захочешь какъ-нибудь
Вновь приманить... но не приманишь!
Взамѣну сновъ младыхъ тебѣ не обрѣсти
Покоя, позднихъ лѣтъ отрады:
Куда бы ни пошла, взроятся на пути
Самолюбивыя досады"!

Безнадежный взглядъ поэта во всемъ стремится разрушить иллюзію и обманъ, окружающій его въ жизни.

Пушкинъ въ своей эстетической, вѣчно жаждущей обольстительно-прекраснаго натурѣ могъ считать, что:

„Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ".

Но философъ-поэтъ Баратынскій не останавливался надъ феноменами дѣйствительности, довольствуясь одними видимыми сторонами явленій. Съ мефистофилевскою безпощадностью, съ безжалостнымъ отчаяніемъ разочарованнаго и ничего не ожидающаго отъ міра и дѣйствительности человѣка, Баратынскій въ лирическомъ творчествѣ приподнимаетъ завѣсу со всего и во всемъ указываетъ иронію судьбы, насмѣшку жизни надъ требованіями неудовлетвореннаго и вѣчно

алчущаго правды и истиннаго счастья души. Поэтъ тоскуетъ о неразрѣшимости на землѣ проблеммы истиннаго блага.

„Но скорбный духъ не уврачеванъ,
Душѣ стѣсненной тяжело,
И неутѣшно мы рыдаемъ.
Такъ сердца нашего кумиръ
Ее печальную провожаемъ
Мы въ лучшій край и лучшій міръ".

Въ этомъ стихотвореніи поэтъ завидуетъ судьбѣ Волконской, которая обрѣла счастье покинуть безпріютный свѣтъ, гдѣ

„И атмосферу и умы
Сжимаетъ холодъ одинокій,
Гдѣ жизнь—какой-то тяжкій сонъ".

Мрачный полетъ скорбной мысли Баратынскаго стремится къ освобожденію отъ узъ жизни, и въ этомъ освобожденіи поэтъ видитъ завѣтное эльдорадо, и въ сверхчувственномъ мірѣ надѣется найти разрѣшеніе вѣчно загадочной для поэта неразрѣшимой проблеммы истиннаго бытія и абсолютнаго совершенства, котораго тщетно ищетъ поэтъ-метафизикъ на землѣ.

Въ поэмахъ Баратынскаго просачивается тотъ же пессимизмъ. Всѣ поэмы оканчиваются фатальною смертью. Жизнь не приноситъ радостей героямъ поэмъ. На поэмахъ Баратынскаго отразился байронизмъ, но прошедшій сквозь призму Пушкинскаго творчества. Проф. Н. И. Стороженко въ статьѣ «О Вліяніи Байрона на Европейскія литературы» слѣдующими рельефными штрихами очерчиваетъ русскій байронизмъ. «Нашъ байронизмъ есть явленіе своеобразное, во многомъ отступающее отъ своего источника. И у насъ, какъ и на Западѣ Европы, къ поэзіи привились далеко не всѣ составные элементы байронизма. Политико-соціальная основа поэзіи Байрона, не имѣвшая корней въ самой жизни, была у насъ понята весьма немногими и оставила мало слѣдовъ въ литературѣ; байроновскій индивидуализмъ, апоѳеозъ личности въ борьбѣ ея съ обществомъ, превратился у насъ въ обожаніе собственной личности и презрительное отношеніе ко всякой чужой; перенесенное на русскую почву байроновское разочарованіе совершенно лишилось своего трагическаго характера и было понято весьма односторонне, какъ слѣд-

ствіе, жизненнаго пресыщенія. Видоизмѣненный такимъ образомъ, байронизмъ оказалъ немалое вліяніе не только на поэзію, но и на нравы нашей интеллигентной молодежи двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Москвичи въ Гарольдовыхъ плащахъ,—какъ ихъ мѣтко окрестилъ Пушкинъ,—вдругъ ни съ того, ни съ сего почувствовали непонятное презрѣніе къ обществу, ни въ чемъ передъ нимъ неповинному; непризнанныя натуры стали относиться пренебрежительно къ общественной нравственности и освященнымъ вѣками обычаямъ и считали такое отношеніе признакомъ высшей породы».

Черты байроновскаго героя характеризуетъ и главное дѣйствующее лицо всѣхъ поэмъ Баратынскаго. Содержаніе этихъ поэмъ очень просто, но не жизненно, характеры очерчены довольно блѣдно, и дѣйствіе вытекаетъ не изъ характеровъ, а по пессимистическому предначертанію поэта. Въ «Эдѣ» Баратынскій описываетъ, какъ русскій гусаръ погубилъ молодую чухонку Эду, соблазнивъ ее. Въ концѣ поэмы Эда умираетъ съ отчаянія, которое вызвано тѣмъ обстоятельствомъ, что ее бросилъ герой поэмы.

Пушкину нравилась поэма «Эда»; въ статьѣ о Баратынскомъ онъ пишетъ: «Появленіе «Эды», произведенія столь замѣчательнаго оригинальною своей простотою, прелестью разсказа, живостью красокъ и очеркомъ характеровъ, слегка, но мастерски означенныхъ... Перечтите его «Эду», перечтите сію краткую восхитительную повѣсть: съ какою глубиною чувствъ развита въ ней женская любовь! Посмотрите на «Эду» послѣ перваго поцѣлуя предпріимчиваго любовника. Она любитъ, какъ дитя, радуется его подаркамъ, рѣзвится съ нимъ; но время идетъ: Эда уже не ребенокъ... Какая роскошная черта, какъ весь отрывокъ исполненъ нѣги»! Въ «Евгеніи Онѣгинѣ» Пушкинъ говоритъ, что ему чухонка Эда милѣе байроновскихъ гречанокъ. Въ письмахъ Пушкинъ высказываетъ опасеніе, чтобы чухонка Баратынскаго не затмила его черкешенку. Эти опасенія были совершенно напрасны. На «Эдѣ» Баратынскаго едва ли не сказалось вліяніе «Кавказскаго плѣнника», отчасти и въ характеристикѣ иноземнаго героя, и въ нѣжномъ отношеніи къ нему туземной дѣвы и въ романтическомъ колоритѣ поэмы Пушкина. «Эда» Баратынскаго гораздо слабѣе «Кавказскаго Плѣнника». Байронизмъ въ «Эдѣ» является слабымъ отраженіемъ Пушкинскаго байронизма.

Въ другой поэмѣ Баратынскаго «Балъ» выведенъ интересный женскій характеръ «Нины», ищущей человѣка въ истинномъ смыслѣ слова и послѣ долгихъ разочарованій встрѣчающей героя поэмы Арсенія. Нина привязывается къ нему, но ошибается въ его чувствѣ и въ концѣ поэмы отравляется. Въ поэмѣ «Балъ» замѣтно вліяніе первыхъ главъ «Евгенія Онѣгина». Пушкинъ, по свойственному ему чувству справедливости и снисходительности при оцѣнкѣ чужихъ произведеній, восхищался слабой, сравнительно съ его произведеніями, поэмой Баратынскаго. «Это блестящее произведеніе, пишетъ Пушкинъ о поэмѣ «Балъ», исполнено оригинальныхъ красотъ и прелести необыкновенной. Поэтъ съ удивительнымъ искусствомъ соединилъ въ своемъ разсказѣ тонъ шутливый и страстный, метафизику и поэзію. Характеръ героини совершенно новый, развитый со вкусомъ, широко и съ удивительнымъ искусствомъ; для него поэтъ нашъ создалъ совершенно новый языкъ и выразилъ на немъ всѣ оттѣнки своей метафизики; для него расточилъ онъ всю элегическую нѣгу, всю прелесть своей поэзіи». Въ Нинѣ можно угадать будущій типъ въ русской литературѣ—типъ эмансипированной женщины.

Послѣдняя поэма Баратынскаго «Цыганъ» носитъ на себѣ вліяніе отчасти «Бахчисарайскаго Фонтана» Пушкина, а отчасти его «Цыганъ». Героиня поэмы Баратынскаго Сара, узнавъ объ увлеченіи своего возлюбленнаго, который рѣшилъ жениться на русской интеллигентной барышнѣ Вѣрѣ и собирался тайно увезти ее, достаетъ зелье у старухи цыганки, чтобы вновь приворожить къ себѣ Елецкаго. Баратынскій любитъ кончать поэмы смертью: зелье оказывается ядомъ, отъ котораго умираетъ Елецкій; Сара въ тоскѣ и отчаяніи возвращается къ цыганамъ. Конецъ поэмы, пріурочиваясь къ содержанію начала не въ силу законовъ необходимости, не какъ результатъ обстоятельствъ, а внезапною, ничѣмъ не мотивированною случайностью, совершенно нарушаетъ художественную ея цѣльность и правдивость. Недостатки поэмъ Баратынскаго слишкомъ очевидны въ настоящее время — блѣдность содержанія, отсутствіе мотивовъ въ дѣйствіяхъ, вытекающихъ не изъ чертъ характеровъ, а въ силу фатальной случайности, растянутость дѣлаютъ ихъ совершенно лишенными интереса и эстетическаго значенія. Однако эти поэмы имѣютъ крупное историко-литературное значеніе. Вліяніе Пушкина, байронизмъ второго періода и то литературное теченіе,

которое извѣстно подъ именемъ романтизма сильно отражается въ этихъ поэмахъ.

Баронъ А. А. Дельвигъ въ письмѣ отъ 10 сентября 1824 г. къ Пушкину опредѣляетъ Баратынскаго, какъ романтика; изъ этого же письма видно, что Баратынскій самъ называлъ свои поэмы романтическими.

Въ письмѣ Е. А. Баратынскаго къ И. В. Кирѣевскому, напечатанномъ въ Татевскомъ Сборникѣ 1899 г. поэтъ пишетъ: «По приложеннымъ стихамъ ты увидишь, что у меня новая поэма въ пяляцахъ, и поэма ультра-романтическая».

«Баратынскій,—пишетъ Дельвигъ,—недавно познакомился съ романтиками, а правила французской школы всосалъ съ материнскимъ молокомъ. Но ужъ онъ начинаетъ отставать отъ нихъ. На дняхъ пишетъ, что у него готово полторы пѣсни какой-то романтической поэмы».

Романтизмъ въ широкомъ смыслѣ слова проникаетъ и лирику Баратынскаго. Проф. Ѳ. Е. Коршъ въ рѣчи 12 января 1899 года «Римская элегія и романтизмъ» даетъ разъясненіе этому наиболѣе неопредѣленному теченію въ литературѣ:

«Человѣкъ если не имѣетъ центра духовной жизни, общаго со своими товарищами по государству, родичами и т. д. ищетъ центра личнаго. Плодомъ исканія идеала на свой страхъ является такъ называемый романтизмъ...

«Самая тоска, стремленіе, чаяніе есть необходимая черта романтизма...

«Большая или меньшая ясность объекта тоски зависитъ какъ отъ его свойства, такъ и отъ степени приближенія къ нему. Этотъ признакъ, по словамъ проф. Корша, не существенъ.

«Романтикъ, говоритъ далѣе проф. Коршъ, предполагая возможность воплощенія идеала въ созданіи, тѣмъ самымъ, какъ выражались схоластики, implicite допускаетъ и возможность воплощенія идеала или, говоря иначе, божества въ мірѣ явленій вообще».

Эти основныя черты романтизма отразились вполнѣ въ лирикѣ Баратынскаго и особенно въ его поэмахъ. Поэтому, вопреки общепринятому мнѣнію, должно признать Баратынскаго романтикомъ. Это признаніе основывается, слѣдовательно, на трехъ аргументахъ — во первыхъ, на присутствіи въ поэзіи Баратынскаго всѣхъ свойствъ,

которыми отличается истинный романтизмъ въ широкомъ смыслѣ слова; во вторыхъ, на признаніи Баратынскаго романтикомъ въ письмѣ А. А. Дельвига и наименованіи самимъ Баратынскимъ своей поэмы романтической; въ третьихъ, на признаніи Пушкинымъ за Баратынскимъ мѣста вслѣдъ за Жуковскимъ.

Въ лирикѣ Баратынскаго нѣтъ ничего чудовищнаго, страшнаго, очень мало чудеснаго и фантастическаго и есть очень значительные признаки туманнаго и неуловимаго.

«Если, говоритъ профессоръ О. Е. Коршъ, мы согласимся называть романтизмъ то, что подъ этимъ названіемъ разумѣли Гёте, братья Шлегели, Уландъ, Рюккертъ, Платенъ и другіе новые представители этого направленія, хотя они и не вполнѣ формулировали его, — то для опредѣленія романтизма мы должны вывести общее изъ элементовъ, вошедшихъ въ составъ той литературной школы, поборникомъ которой, но односторонникомъ, былъ у насъ Жуковской. Онъ виновникъ того, что у многихъ изъ насъ съ понятіемъ романтизма связывается представленіе чего-то туманнаго, неуловимаго и вмѣстѣ страшнаго».

Въ поэзіи Баратынскаго встрѣчаются черты своевольной фантазіи, но не столь туманные и неопредѣленные, какъ у Жуковскаго.

Поэта посѣщаетъ Фея въ «обаяніи сна», которой онъ сообщаетъ мечты «обманутой души». Но полетъ фантазіи Баратынскаго не достигаетъ заоблочныхъ высотъ крайнихъ романтиковъ.

Поэтъ скорбитъ объ этомъ:

„Знать, самимъ духомъ мы рабы
Земной насмѣшливой судьбы;
Знать, міру явному дотолѣ
Нашъ бѣдный умъ порабощенъ,
Что переноситъ, поневолѣ,
И въ міръ мечты его законъ“!

Въ другомъ стихотвореніи Баратынскій говоритъ, что онъ пьетъ изъ волшебной чаши «золотые призраки», «золотыя сновидѣнья».

Или, что предъ нимъ проходятъ явленія изъ міра его фантазіи:

„Сыны души моей больной,
Сыны полуночнаго бдѣнья—
Кругомъ неясною толпой
Мелькали смутныя видѣнья“.

Въ поэзіи Баратынскаго наблюдается и та черта, — «недовольство настоящимъ, вслѣдствіе Донкихотскихъ стремленій воскресить давно отжившія идеи».

Въ стихотвореніи «Послѣдняя смерть» Баратынскій пишетъ:

„Сначала міръ явилъ мнѣ дивный садъ:
Вездѣ искусствъ, обилія примѣты:
Близъ веси весь и подлѣ града градъ,
Вездѣ дворцы, театры, водометы,
Вездѣ народъ, и хитрый свой законъ
Стихіи всѣ признать заставилъ онъ:
Ужъ онъ морей мятежныя пучины
На островахъ искусственныхъ селилъ,
Ужъ разсѣкалъ небесныя равнины
По прихоти имъ вымышленныхъ крилъ;
Все на землѣ движеніемъ дышало,
Все на землѣ какъ будто ликовало.

* * *

Прошли вѣка. Яснѣть очамъ моимъ
Видѣніе другое начинало;
Что человѣкъ? Что вновь открыто имъ?
Я гордо мнилъ, и что же мнѣ предстало?
Наставшую эпоху я съ трудомъ
Постигнуть могъ смутившимся умомъ.
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшіе къ обилью дальнихъ благъ,
На все они спокойные взирали,
Что суеты рождало въ ихъ отцахъ,
Что мысли ихъ, что страсти ихъ, бывало
Влеченіемъ всесильнымъ увлекало“.

Отъ пассивнаго разочарованія и безсильнаго унынія Баратынскій переходитъ къ враждебнымъ чувствамъ противъ культуры и нападкамъ на тѣневыя стороны цивилизаціи и прогресса:

Пока человѣкъ естества не питалъ
Горниломъ, вѣсами и мѣрой,
Но дѣтски вѣщаньемъ природы внималъ,
Ловилъ ея знаменья съ вѣрой;
Покуда природу любилъ онъ, она
Любовью ему отвѣчала;
О немъ дружелюбной заботы полна,

Языкъ для него обрѣзала.
Почуя бѣду надъ его головой,
Вранъ каркалъ ему въ опасенье,
И замысла, въ пору смирясь передъ судьбой,
Воздерживалъ онъ дерзновенье:
На путь ему выбѣжалъ изъ лѣсу, волкъ,
Крутясь и подъемля щетину,
Побѣду пророчилъ, и сидѣлъ свой полкъ
Бросалъ онъ на вражью дружину.
Чета голубиная, вѣя надъ нимъ,
Блаженство любви проницала,
Въ пустынѣ безлюдной онъ не былъ однимъ:
Нечуждая жизнь въ ней дышала.
Но чувство презрѣвъ, онъ довѣрилъ уму,
Вдался въ суету изысканій,
И сердце природы закрылось ему,
И нѣтъ на землѣ проницаній.

Бѣлинскій, восхищаясь этими «гармоническими, полными души и чувства», стихами, считалъ невозможнымъ, хоть на минуту, стать на точку зрѣнія мыслителя-романтика, стремящаго уничтожить благотворное начало науки, ища философскаго единства, составляющаго, по его мнѣнію, цѣль поэзіи. Эти нападки и сожалѣнія о разрушеніи поэзіи младенческой поры человѣчества такъ понятны въ романтическомъ творчествѣ поэта-пессимиста.

Если поэтъ-реалистъ, Пушкинъ могъ въ минуты элегическихъ настроеній завидовать «блаженству невѣдѣнія, покою сердечной нѣги души неостуженной опытомъ», и горестный поэтъ протестующей тоски Лермонтовъ могъ негодовать на поколѣніе, которое «изсушило умъ наукою безплодной», то—какъ понятна и законна грусть о золотой порѣ невѣдѣнія у Баратынскаго, тщетно стремящагося отдохнуть душою въ картинахъ, гдѣ отсутствуетъ невыносимо тяжелая для него дѣйствительность. Въ сферѣ пессимистической скорби—оригинальная стихія поэзіи Баратынскаго, въ направленіи ея много романтическихъ элементовъ.

Удалясь отъ дѣйствительности, затмѣваемый блестящей славой Пушкина, подвергаемый осужденію Бѣлинскимъ—поэтъ-пессимистъ пользовался слабою извѣстностью среди современниковъ и былъ совершенно забытъ въ ближайшіе слѣдующіе годы. Утилитарное и

общественное направленіе въ поэзіи, гармонировавшее съ соціальными требованіями эпохи великихъ реформъ, было неблагопріятно для поэзіи Баратынскаго.

Чудный градъ порой сольется
Изъ летучихъ облаковъ;
Но лишь вѣтръ его коснется,
Онъ исчезнетъ безъ слѣдовъ;
Такъ мгновенныя созданья
Поэтической мечты
Исчезаютъ отъ дыханья
Посторонней суеты.

Баратынскій всегда на міръ и его явленія смотрѣлъ съ выси запросовъ духа и считалъ утилитарныя требованія къ искусству непригодными для своей поэзіи.

Въ настоящее время вновь возродился интересъ къ его поэзіи вмѣстѣ съ живымъ интересомъ къ философскому направленію поэзіи вообще.

По прошествіи вѣка со дня рожденія Баратынскаго не трудно указать на недостатки его художественной формы, вытекающіе изъ самаго характера поэзіи. Неясность образовъ и несовершенство словесныхъ выраженій находятся въ причинной связи съ туманнымъ содержаніемъ его романтической лиры. Однако, несмотря на эти недостатки, относящійся къ нему строго Бѣлинскій признавалъ его «первымъ изъ всѣхъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ».

Въ метафизической поэзіи Баратынскаго поражаетъ его глубокая и односторонняя субъективность и отрицательный характеръ его міросозерцанія. Это является слѣдствіемъ безграничныхъ требованій его духа, который не удовлетворяется «отголосками небесныхъ арфъ», которому въ тягость и «просторъ и роскошь вѣчности». Взлетая мыслью до безпредѣльныхъ высотъ Эмпирея, поэтъ-метафизикъ изнываетъ тоской въ «небесныхъ поляхъ» о ничтожности собственнаго бытія. Мыслитель-поэтъ не можетъ освободиться отъ мучительныхъ запросовъ духа и скорбитъ о своемъ тяжеломъ состояніи между небеснымъ и земнымъ. Отсюда романтическій строй его лиры, въ этомъ психологическій источникъ его всепроникающаго и безутѣшнаго пессимизма — оригинальная стихія творчества поэта «высокихъ думъ».

Тщетное стремленіе Баратынскаго найти источникъ истиннаго блага бытія — мысль, съ которою онъ никакъ не могъ совладить или покончить, которая, начиная съ юности, тревожила поэта до самой смерти — была причиной неопредѣленной, безпредметной тоски, тоски о недостижимомъ. Въ этомъ причина туманныхъ чаяній романтическаго поэта русской міровой скорби. Въ этомъ же разгадка неопредѣленности настроеній у Баратынскаго и недосказанности его міросозерцанія. Если унылый стихъ Баратынскаго не заключаетъ въ себѣ ни энергической мощи и металлическаго блеска желѣзнаго стиха «облитаго горечью и злостью» Лермонтова, ни изящной, чарующей простоты гармоничнаго стиха волшебной музы Пушкина, то у Баратынскаго есть оригинальная прелесть въ формѣ его поэзіи — умѣнье ясно и точно въ неуловимыхъ и тонкихъ очертаніяхъ и летучихъ образахъ передавать съ искреннимъ энтузіазмомъ сокровенные стоны души и безконечно-грустныя размышленія печально настроенной, неутомимо мятущейся мысли. Въ этомъ именно оригинальность Баратынскаго.

Результатомъ анализа поэтическаго творчества Баратынскаго является выводъ, что талантъ поэта все прогрессировалъ и въ своемъ развитіи прошелъ нѣсколько стадій. Эти стадіи творчества вмѣстѣ съ тѣмъ являются фазами развитія духовной личности Баратынскаго.

На зарѣ своихъ дней поэтъ воспѣваетъ утѣхи и радости жизни. Въ его поэзіи отражаются анакреонтическіе мотивы въ духѣ Парни. Но уже съ изданіемъ первыхъ двухъ частей «Стихотвореній» въ 1835 году этотъ періодъ можно назвать завершившимся, такъ какъ въ слѣдующемъ сборникѣ, носящемъ характерное названіе «Сумерки», почти нѣтъ анакреонтическихъ напѣвовъ безмятежной юности. Напротивъ, второй сборникъ Баратынскаго исполненъ мрачнаго настроенія, является развитіемъ пессимистическаго міросозерцанія, заключающаго въ себѣ основныя черты пантеизма. Новое теченіе проявляется съ одной стороны въ пьесѣ «Смерть», не имѣющей во всей всемірной литературѣ равнаго по глубинѣ пессимизма образца, съ другой стороны въ стихотвореніи «на смерть Гёте», въ которомъ отразилось пантеистическое міросозерцаніе самого Баратынскаго. Завершаясь 1842 годомъ, это теченіе нельзя однако считать вполнѣ законченнымъ. Черты пессимизма проявляются и въ послѣднемъ періодѣ, хотя новая струя — отрѣшеніе отъ дѣйствительности и стре-

мленіе въ сверхчувственный міръ составляетъ отличительную черту послѣдней фазы творчества поэта. —

Князь Александръ Ивановичъ Одоевскій въ элегической пьесѣ «Послѣдняя надежда», посвященной Е. А. Баратынскому, скорбя о томъ, «кто улетѣлъ лучезарный хороводъ надеждъ» съ довѣріемъ вспоминаетъ «неотлетнаго друга», который остался одинъ, какъ залогъ надежды. Одоевскій заканчиваетъ свою элегію мыслью, что:

„Приснятся и другимъ
И зажгутъ лучомъ своимъ
Думъ высокихъ вдохновенія".

(Русскій Архивъ 1878, т. I).

Въ письмѣ Баратынскаго къ Пушкину въ 1826 году, отражается то уваженіе и любовь къ философіи, которая все крѣпла съ годами и которая становится основою поэзіи всего послѣдняго періода.

«Посылаю тебѣ Уранію, милый Пушкинъ! не велико сокровище, но блаженъ, кто и малымъ доволенъ. Намъ очень нужна философія. Однакожъ, позволь тебѣ указать на пьесу подъ заглавіемъ: Я есмь.— Сочинитель-мальчикъ лѣтъ восемнадцати *) и, кажется, подаетъ надежду. Слогъ не всегда точенъ, но есть поэзія, особенно сначала. На концѣ метафизика, слишкомъ темная для стиховъ. Надо тебѣ сказать, что московская молодежь помѣшана на трансцендентальной философіи. Не знаю, хорошо ли это или худо: я не читалъ Канта и, признаюсь, не слишкомъ понимаю новѣйшихъ эстетиковъ. Галичъ выдалъ піитику на нѣмецкій ладъ. Въ ней поновлены откровенія Платоновы и съ нѣкоторыми прибавленіями приведены въ систему. Не зная нѣмецкаго языка, я очень обрадовался случаю познакомиться съ нѣмецкой эстетикой. Нравится въ ней собственная ея поэзія, но начала ея, мнѣ кажется, можно опровергнуть философически.—Впрочемъ какое о томъ дѣло—особливо тебѣ.—Твори прекрасное, и пусть другіе ломаютъ надъ нимъ голову». Въ этомъ письмѣ сказывается философское развитіе и серьезные интересы поэта-мыслителя.

Съ 1842 года и до 1844 года можно отмѣтить молитвенное настроеніе въ лирикѣ Баратынскаго: въ эти годы замѣчается временное успокоеніе духа поэта.

*) С. П. Шевыревъ.

Два стихотворенія «На посѣвъ въ лѣта» и «Молитва» очень характерны для опредѣленія настроенія поэта въ эти годы. Въ первомъ Баратынскій пишетъ:

„Великъ Господь! Онъ милосердъ, но правъ.
Нѣтъ на землѣ ничтожнаго мгновенья.
Прощаетъ онъ безумію забавъ,
Но никогда пирамъ злоумышленіе“.

«Молитва», относящаяся къ 1843 году. Она коротко и тепло написана:

„Царь небесъ! Успокой
Духъ болѣзненный мой!
Заблужденій земли
Мнѣ забвенія пошли
И на строгій твой рай
Силу сердцу подай“.

Это настроеніе замѣчалось у Баратынскаго и ранѣе, въ стихотвореніи «Волконской», но въ эти годы оно становится господствующимъ и болѣе устойчивымъ. Однако ошибочно было бы думать, что поэтъ обрѣлъ «неуязвимость» пяты новаго Ахилла—вѣру. На этомъ не успокаивается мятежный духъ пессимиста-мыслителя даже въ послѣдній періодъ. Это настроеніе не успокаиваетъ души, измученной «роковой думой, которая молитъ разсѣянія» и вспоминаетъ о родственной душѣ сумрачнаго поэта Британіи, именно въ посмертномъ стихотвореніи «Дядькѣ Итальянцу». Двѣ послѣднія фазы развитія духовной личности Баратынскаго — отъ 1842 до 1844 года — объединяются въ одномъ теченіи, характеризующимся въ стремленіи — возлетѣть отъ земного поприща въ высшія области.

Изъ разсмотрѣнія основныхъ мотивовъ поэзіи Баратынскаго отчасти параллельно съ соотвѣтствующими мотивами у Пушкина, ярко выступаетъ демаракціонная черта, отдѣляющая творчество этихъ двухъ поэтовъ разной степени дарованія.

Поэтическое творчество Баратынскаго болѣе субъективно и глубокомысленно сравнительно съ поэзіей Пушкина, на которую онъ могъ даже вліять въ этомъ смыслѣ. Но этимъ и ограничивается превосходство Баратынскаго сравнительно съ Пушкинымъ. Во всемъ остальномъ поэтъ «высокихъ думъ» стоитъ гораздо ниже преобразователя новой русской поэзіи. Народная основа творчества и тотъ

свѣтлый и плодотворный путь реализма, на который чудодѣйственно вывелъ русскую литературу геніальный вождь новой русской поэзіи Пушкинъ, совершенно несвойственны романтизму Баратынскому. Уступая Пушкину въ разносторонности творчества, захватывающаго всѣ роды изящной литературы, въ богатствѣ и разнообразіи поэтическихъ сюжетовъ, въ яркости и конкретности изображеній, въ цѣльности образовъ, въ простотѣ и изящности стиля, Баратынскій по содержанію и формѣ своей поэзіи стоитъ несравненно ниже великаго свѣточа новой русской литературы. Туманный, романтическій и неопредѣленный байронизмъ былъ только лишь недолгимъ временнымъ періодомъ въ творчествѣ народнаго генія, перешедшаго на твердую почву серьезнаго изученія и воспѣванія дѣйствительности и проведенія въ поэзію элементовъ народности.

Положеніе Баратынскаго въ исторіи русской поэзіи вполнѣ точно опредѣлено Пушкинымъ. «Время ему занять степень ему принадлежности и стать подлѣ Жуковскаго и выше пѣвца Пенатовъ и Тавриды».

Какъ романтикъ, Баратынскій стоитъ далеко ниже Жуковскаго. Въ его поэзіи совсѣмъ нѣтъ тѣхъ элементовъ романтизма, которые бы обогатили русскую литературу явленіями романтической поэзіи запада. Кругъ представленій и образовъ у Баратынскаго уже и бѣднѣе сравнительно съ Жуковскимъ. Стиль его не отличается такой музыкальностью и ясностью, какъ нѣжный стихъ разнообразной музы «поэтическаго дѣдыни на Руси вѣдьмы и чертей». Стиль Баратынскаго, способъ его выраженія и отдѣльныя слова въ его поэзіи, часто идущіе въ разрѣзъ складу русской рѣчи, ниже стиля поэзіи Жуковскаго. Но съ другой стороны Баратынскій стоитъ выше Батюшкова по глубокомыслію своей поэзіи. Академикъ Леонидъ Николаевичъ Майковъ въ біографіи Батюшкова говоритъ: «какъ въ дѣйствительной жизни Батюшковъ обнаружилъ способность только къ поэтическому творчеству, такъ и въ искусствѣ онъ былъ чистымъ художникомъ». Античный строй поэзіи Батюшкова, культъ красоты не могутъ стать рядомъ съ серьезнымъ и глубокимъ содержаніемъ поэта-мыслителя. Изящество формы, совершенство словеснаго выраженія, достоинство, характеризующее Батюшкова, ни въ какомъ случаѣ не могутъ стать въ одинъ уровень съ «вдохновеніемъ думъ глубокихъ» Баратынскаго.

Поэтическія звѣзды Пушкинской плеяды группируются вокругъ свѣтила новой русской поэзіи, получая въ значительной мѣрѣ источникъ свѣта отъ Пушкина. Но звѣзда поэзіи Баратынскаго ближе всѣхъ сопутствующихъ Пушкину, горитъ ярче, и свѣтъ ея имѣетъ свой собственный отблескъ, создающій новое теченіе въ русской поэзіи, теченіе философское съ пессимистическимъ складомъ міросозерцанія.

Съ историко-литературной точки зрѣнія философская лирика Баратынскаго находитъ себѣ объясненіе, какъ реакція противъ ложноклассической лирики восемнадцатаго вѣка, чопорной, торжественной и лишенной глубокаго содержанія.

Съ другой стороны пессимизмъ Баратынскаго объясняется общественнымъ настроеніемъ и соціальными условіями его эпохи и обстоятельствами личной жизни и поэтической дѣятельности. Тяжелыя условія современности вліяли на настроеніе Баратынскаго; онъ не забывалъ мечтаній передовой части общества, и его удручало положеніе народа, униженнаго крѣпостнымъ правомъ.

Условія его личной жизни, печальныя въ дѣтствѣ, не были благопріятны и въ зрѣлые годы. Современники не оцѣнили совершенствованія его таланта и его литературнаго значенія. А въ семейной жизни хотя Баратынскій и былъ счастливъ, но этого счастья было недостаточно для его глубокаго дѣятельнаго духа.—Вліяніе поэзіи Баратынскаго весьма значительно.

При анализѣ творчества послѣдующихъ русскихъ поэтовъ-мыслителей необходимо всегда имѣть въ виду пѣвца «вдохновенія думъ высокихъ», Гамлета русской поэзіи—Евгенія Абрамовича Баратынскаго. «Всякій писатель, говоритъ Баратынскій въ письмѣ (отпечатанномъ въ Татевскомъ сборникѣ 1831 г. 10) къ И. В. Кирѣевскому, мыслитъ, слѣдственно, всякій писатель даже безъ собственнаго сознанія,—философъ. Пусть же въ его твореніяхъ отразится собственная его философія, а не чужая». Этому завѣту оставался вѣренъ Баратынскій. Явившись на Руси представителемъ поэзіи міровой скорби, поэтъ излилъ эту скорбь въ разнообразныхъ мотивахъ оригинальной философической поэзіи. Если въ его міровоззрѣніе проникло много элементовъ изъ Руссо, котораго онъ такъ любилъ и понималъ, судя по письмамъ къ Кирѣевскому въ Татьевскомъ сборникѣ, если въ его поэмы проникъ Байронизмъ, господ-

ствующій въ Пушкинскій періодъ русской литературы, то въ большинствѣ лирическихъ произведеній философія Баратынскаго вполнѣ оригинальна. Анализируя явленія реальной дѣйствительности и оцѣнивая ихъ духовнымъ критеріумомъ абсолютной истинности, поэтъ обнаруживаетъ ихъ призрачность и мишурную привлекательность. Результатомъ такого анализа является отрицаніе всѣхъ наслажденій жизни. Все мимолетно, обманчиво и ничтожно, и ничто не можетъ удовлетворить человѣческаго духа въ его поискахъ абсолютнаго, прекраснаго и дѣйствительно цѣннаго. Эта истина такъ страшна, что поэтъ можетъ ее лицезрѣть только въ торжественный моментъ смерти. Моменты вѣры, этой Ахиллесовой стопы современнаго мыслителя, смѣняются моментами отчаянія. Но пессимизмъ Баратынскаго не отравитъ міровоззрѣнія читателей. Въ его пессимизмѣ есть здоровая и бодрая сила духа истиннаго мыслителя. Его поэзія способна только поднимать строй мысли до той высоты, съ которой всѣ феномены, захватывающіе низшія влеченія человѣческой натуры, кажутся совершенно разрушенными и теряющими цѣнность.

Если въ мірѣ наблюдаются только обманчивыя иллюзіи прекраснаго, истиннаго и абсолютнаго, если всѣ быстротечныя блага жизни мимолетны и люди принадлежатъ мгновенію, также какъ только мгновеніе принадлежитъ имъ, то не мимолетно, не обманчиво, не призрачно и не лживо—это постоянное, неумолкаемое и громкое требованіе человѣческаго духа и его поиски абсолютнаго, вѣчнаго, неизмѣннаго и прекраснаго. Это есть высшее начало жизни, источникъ совершенства и блага, и то добро, которое тщетно пытался найти поэтъ-пессимистъ въ реальномъ мірѣ, самыми этими неустанными поисками, безъ примиреній и квіетизма, доказывавшій съ достаточною и полною очевидностью величіе человѣческаго духа въ его искоянной сущности. Въ этомъ и заключается положительная сторона его творчества и литературная заслуга его глубокой и оригинальной поэзіи.

Евгеній Жураковскій.

Поправки и дополненія къ статьѣ: „Узникъ“ Пушкина въ народной передѣлкѣ.

Къ стр. 238 прим. Мнѣніе акад. Ѳ. Е. Корша см. въ Изв. Отд. русск. яз. и слов. т. II, кн. 2. Отрицательно относится къ нынѣшней народной пѣснѣ также А. Лященко (Жив. Стар. 1894, стр. 260).

Стр. 250 внизу. Стихотвореніе «Узникъ» проникло въ народъ раньше, чѣмъ я предполагалъ. Народная передѣлка его есть въ сборникѣ Пивоварова: «Донскія пѣсни», вып. 1-й, Новочеркасскъ, 1885. По многимъ признакамъ можно думать, что передѣлка «Узника», по крайней мѣрѣ, 2-я редакція этой передѣлки возникла именно среди донскихъ казаковъ. Сильно измѣненные варр. этой передѣлки есть у Филатова въ приложеніи къ статьѣ: «Очеркъ народныхъ говоровъ Воронежской губерніи»—Русск. Филол. Вѣстникъ, т. 40. Извѣстны варіанты, записанные въ Сибири, см. Жив. Стар. 1898, стр. 77.

Н. Дурново.

n. 1263 (1)

25.-017

БА[redacted]

3-55
7186/1061

146088/2

мленіе въ сверхчувственный міръ составляетъ отличительную черту послѣдней фазы творчества поэта.

Князь Александръ Ивановичъ Одоевскій въ элегической пьесѣ «Послѣдняя надежда», посвященной Е. А. Баратынскому, скорбя о томъ, «что улетѣлъ лучезарный хороводъ надеждъ» съ довѣріемъ вспоминаетъ «неотлетнаго друга», который остался одинъ, какъ залогъ надежды. Одоевскій заканчиваетъ свою элегію мыслью, что:

„Приснятся и другимъ
И зажгутъ лучомъ своимъ
Думъ высокихъ вдохновенія".

(Русскій Архивъ 1878, т. I).

Въ письмѣ Баратынскаго къ Пушкину въ 1826 году, отражается то уваженіе и любовь къ философіи, которая все крѣпла съ годами и которая становится основою поэзіи всего послѣдняго періода.

«Посылаю тебѣ Уранію, милый Пушкинъ! не велико сокровище, но блаженъ, кто и малымъ доволенъ. Намъ очень нужна философія. Однакожъ, позволь тебѣ указать на пьесу подъ заглавіемъ: Я есмь.— Сочинитель-мальчикъ лѣтъ восемнадцати *) и, кажется, подаетъ надежду. Слогъ не всегда точенъ, но есть поэзія, особенно сначала. На концѣ метафизика, слишкомъ темная для стиховъ. Надо тебѣ сказать, что московская молодежь помѣшана на трансцендентальной философіи. Не знаю, хорошо ли это или худо: я не читалъ Канта и, признаюсь, не слишкомъ понимаю новѣйшихъ эстетиковъ. Галичъ выдалъ піитику на нѣмецкій ладъ. Въ ней поновлены откровенія Платоновы и съ нѣкоторыми прибавленіями приведены въ систему. Не зная нѣмецкаго языка, я очень обрадовался случаю познакомиться съ нѣмецкой эстетикой. Нравится въ ней собственная ея поэзія, но начала ея, мнѣ кажется, можно опровергнуть философически.—Впрочемъ какое о томъ дѣло—особливо тебѣ.—Твори прекрасное, и пусть другіе ломаютъ надъ нимъ голову». Въ этомъ письмѣ сказывается философское развитіе и серьезные интересы поэта-мыслителя.

Съ 1842 года и до 1844 года можно отмѣтить молитвенное настроеніе въ лирикѣ Баратынскаго: въ эти годы замѣчается временное успокоеніе духа поэта.

*) С. П. Шевыревъ.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

MAY 6

CANCELLED

K132468

FEB 27 '9 ILL

2275204

HALL USE

которое извѣстно подъ именемъ романтизма сильно отражается въ этихъ поэмахъ.

Баронъ А. А. Дельвигъ въ письмѣ отъ 10 сентября 1824 г. къ Пушкину опредѣляетъ Баратынскаго, какъ романтика; изъ этого же письма видно, что Баратынскій самъ называлъ свои поэмы романтическими.

Въ письмѣ Е. А. Баратынскаго къ И. В. Кирѣевскому, напечатанномъ въ Татевскомъ Сборникѣ 1899 г., поэтъ пишетъ: «По приложеннымъ стихамъ ты увидишь, что у меня новая поэма въ пяляхъ, и поэма ультра-романтическая».

«Баратынскій,—пишетъ Дельвигъ,—недавно познакомился съ романтиками, а правила французской школы всосалъ съ материнскимъ молокомъ. Но ужъ онъ начинаетъ отставать отъ нихъ. На дняхъ пишетъ, что у него готово полторы пѣсни какой-то романтической поэмы».

Романтизмъ въ широкомъ смыслѣ слова проникаетъ и лирику Баратынскаго. Проф. Ѳ. Е. Корнъ въ рѣчи 12 января 1899 года «Римская элегія и романтизмъ» даетъ разъясненіе этому наиболѣе неопредѣленному теченію въ литературѣ:

«Человѣкъ если не имѣетъ центра духовной жизни, общаго со своими товарищами по государству, родичами и т. д. ищетъ центра личнаго. Плодомъ исканія идеала на свой страхъ является такъ называемый романтизмъ...

«Самая тоска, стремленіе, чаяніе есть необходимая черта романтизма...

«Большая или меньшая ясность объекта тоски зависитъ какъ отъ его свойства, такъ и отъ степени приближенія къ нему. Этотъ признакъ, по словамъ проф. Корша, не существенъ.

«Романтикъ, говоритъ далѣе проф. Корнъ, предполагая возможность воплощенія идеала въ созданіи, тѣмъ самымъ, какъ выражались схоластики, implicite допускаетъ и возможность воплощенія идеала или, говоря иначе, божества въ мірѣ явленій вообще».

Эти основныя черты романтизма отразились вполнѣ въ лирикѣ Баратынскаго и особенно въ его поэмахъ. Поэтому, вопреки общепринятому мнѣнію, должно признать Баратынскаго романтикомъ. Это признаніе основывается, слѣдовательно, на трехъ аргументахъ:— во первыхъ, на присутствіи въ поэзіи Баратынскаго всѣхъ свойствъ,

которыми отличается истинный романтизмъ въ широкомъ смыслѣ слова; во вторыхъ, на признаніи Баратынскаго романтикомъ въ письмѣ А. А. Дельвига и наименованіи самимъ Баратынскимъ своей поэмы романтической; въ третьихъ, на признаніи Пушкинымъ за Баратынскимъ мѣста вслѣдъ за Жуковскимъ.

Въ лирикѣ Баратынскаго нѣтъ ничего чудовищнаго, страшнаго, очень мало чудеснаго и фантастическаго и есть очень значительные признаки туманнаго и неуловимаго.

«Если, говоритъ профессоръ О. Е. Коршъ, мы согласимся называть романтизмъ то, что подъ этимъ названіемъ разумѣли Гёте, братья Шлегели, Уландъ, Рюккертъ, Платенъ и другіе новые представители этого направленія, хотя они и не вполнѣ формулировали его, — то для опредѣленія романтизма мы должны вывести общее изъ элементовъ, вошедшихъ въ составъ той литературной школы, поборникомъ которой, но односторонникомъ, былъ у насъ Жуковской. Онъ виновникъ того, что у многихъ изъ насъ съ понятіемъ романтизма связывается представленіе чего-то туманнаго, неуловимаго и вмѣстѣ страшнаго».

Въ поэзіи Баратынскаго встрѣчаются черты своевольной фантазіи, но не столь туманные и неопредѣленные, какъ у Жуковскаго.

Поэта посѣщаетъ Фея въ «обаяніи сна», которой онъ сообщаетъ мечты «обманутой души». Но полетъ фантазіи Баратынскаго не достигаетъ заоблочныхъ высотъ крайнихъ романтиковъ.

Поэтъ скорбитъ объ этомъ:

„Знать, самимъ духомъ мы рабы
Земной насмѣшливой судьбы;
Знать, міру явному дотолѣ
Нашъ бѣдный умъ порабощенъ,
Что переноситъ, поневолѣ,
И въ міръ мечты его законъ“!

Въ другомъ стихотвореніи Баратынскій говоритъ, что онъ пьетъ изъ волшебной чаши «золотые призраки», «золотыя сновидѣнья».

Или, что предъ нимъ проходятъ явленія изъ міра его фантазіи:

„Сыны души моей больной,
Сыны полуночнаго бдѣнья—
Кругомъ неясною толпой
Мелькали смутныя видѣнья“.

Въ поэзіи Баратынскаго наблюдается и та черта, — «недовольство настоящимъ, вслѣдствіе Донкихотскихъ стремленій воскресить давно отжившія идеи».

Въ стихотвореніи «Послѣдняя смерть» Баратынскій пишетъ:

„Сначала міръ явилъ мнѣ дивный садъ:
Вездѣ искусствъ, обилія приметы:
Внизъ вверхъ весь и полей града градъ,
Вездѣ дворцы, театры, водометы,
Вездѣ народъ, и хитрый свой законъ
Стихіи всѣ признать заставилъ онъ:
Ужъ онъ морей мятежныя пучины
На островахъ искусственныхъ селилъ,
Ужъ разсѣкалъ небесныя равнины
По прихоти имъ вымышленныхъ крилъ;
Все на землѣ движеніемъ дышало,
Все на землѣ какъ будто ликовало.

* * *

Прошли вѣка. Яснѣть очамъ моимъ
Видѣніе другое начинало;
Что человѣкъ? Что вновь открыто имъ?
Я гордо мнилъ, и что же мнѣ предстало?
Наставшую эпоху я съ трудомъ
Постигнуть могъ смутившимся умомъ.
Глаза мои людей не узнавали;
Привѣтливо къ обилью дольнихъ благъ,
На все они спокойные взирали,
Что суеты рождало въ ихъ отцахъ,
Что мысли ихъ, что страсти ихъ, бывало
Влеченіемъ всесильнымъ увлекало".

Отъ пассивнаго разочарованія и безсильнаго уныній Баратынскій переходитъ къ враждебнымъ чувствамъ противъ культуры и нападкамъ на тѣневыя стороны цивилизаціи и прогресса:

Пока человѣкъ естества не питалъ
Горниломъ, вѣсами и мѣрой,
Но дѣтски вѣщаньемъ природы внималъ,
Ловилъ ея знаменья съ вѣрой;
Покуда природу любилъ онъ, она
Любовью ему отвѣчала;
О немъ дружелюбной заботы полна,

Языкъ для него обрѣтала.
Почуя бѣду надъ его головой,
Вранъ каркалъ ему въ опасенье,
И замысла, въ пору смирясь передъ судьбой,
Воздерживалъ онъ дерзновенье.
На путь ему выбѣжалъ изъ лѣсу, волкъ,
Крутясь и подъемля щетину,
Побѣду пророчилъ, и смѣло свой полкъ
Бросалъ онъ на вражью дружину.
Чета голубиная, вѣя надъ нимъ,
Блаженство любви проницала,
Въ пустынѣ безплодной онъ не былъ однимъ:
Нечуждая жизнь въ ней дышала.
Но чувство презрѣвъ, онъ довѣрилъ уму,
Вдался въ суету изысканій,
И сердце природы закрылось ему,
И нѣтъ на землѣ проницаній.

Бѣлинскій, восхищаясь этими «гармоническими, полными души и чувства», стихами, считалъ невозможнымъ, хоть на минуту, стать на точку зрѣнія мыслителя-романтика, стремящаго уничтожить благотворное начало науки, ища философскаго единства, составляющаго, по его мнѣнію, цѣль поэзіи. Эти нападки и сожалѣнія о разрушеніи поэзіи младенческой поры человѣчества такъ понятны въ романтическомъ творчествѣ поэта-пессимиста.

Если поэтъ-реалистъ, Пушкинъ могъ въ минуты элегическихъ настроеній завидовать «блаженству невѣдѣнія, покою сердечной нѣги души неостуженной опытомъ», и горестный поэтъ протестующей тоски Лермонтовъ могъ негодовать на поколѣніе, которое «изсушило умъ наукою безплодной», то—какъ понятна и законна грусть о золотой порѣ невѣдѣнія у Баратынскаго, тщетно стремящагося отдохнуть душою въ картинахъ, гдѣ отсутствуетъ невыносимо тяжелая для него дѣйствительность. Въ сферѣ пессимистической скорби—оригинальная стихія поэзіи Баратынскаго, въ направленіи ея много романтическихъ элементовъ.

Удаляясь отъ дѣйствительности, затмѣваемый блестящей славой Пушкина, подвергаемый осужденію Бѣлинскимъ—поэтъ-пессимистъ пользовался слабою извѣстностью среди современниковъ и былъ совершенно забытъ въ ближайшіе слѣдующіе годы. Утилитарное и

общественное направленіе въ поэзіи, гармонировавшее съ соціальными требованіями эпохи великихъ реформъ, было неблагопріятно для поэзіи Баратынскаго.

Чудный градъ порой сольется
Изъ летучихъ облаковъ;
Но лишь вѣтръ его коснется,
Онъ исчезнетъ безъ слѣдовъ;
Такъ мгновенныя созданья
Поэтической мечты
Исчезаютъ отъ дыханья
Посторонней суеты.

Баратынскій всегда на міръ и его явленія смотрѣлъ съ выси запросовъ духа и считалъ утилитарныя требованія къ искусству непригодными для своей поэзіи.

Въ настоящее время вновь возродился интересъ къ его поэзіи вмѣстѣ съ живымъ интересомъ къ философскому направленію поэзіи вообще.

По прошествіи вѣка со дня рожденія Баратынскаго не трудно указать на недостатки его художественной формы, вытекающіе изъ самаго характера поэзіи. Неясность образовъ и несовершенство словесныхъ выраженій находятся въ причинной связи съ туманнымъ содержаніемъ его романтической лиры. Однако, несмотря на эти недостатки, относящійся къ нему строго Бѣлинскій призналъ его «первымъ изъ всѣхъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ».

Въ метафизической поэзіи Баратынскаго поражаетъ его глубокая и односторонняя субъективность и отрицательный характеръ его міросозерцанія. Это является слѣдствіемъ безграничныхъ требованій его духа, который не удовлетворяется «отголосками небесныхъ арфъ», которому въ тягость и «просторъ и роскошь вѣчности». Взлетая мыслью до безпредѣльныхъ высотъ Эмпирея, поэтъ-метафизикъ изнываетъ тоской въ «небесныхъ поляхъ» о ничтожности собственнаго бытія. Мыслитель-поэтъ не можетъ освободиться отъ мучительныхъ запросовъ духа и сокрушается о своемъ тяжеломъ состояніи между небеснымъ и земнымъ. Отсюда романтическій строй его лиры, въ этомъ психологическій источникъ его всепроникающаго и безутѣшнаго пессимизма — оригинальная стихія творчества поэта «высокихъ думъ».

Тщетное стремленіе Баратынскаго найти источникъ истиннаго блага бытія — мысль, съ которою онъ никакъ не могъ поладить или покончить, которая, начиная съ юности, тревожила поэта до самой смерти — была причиной неопредѣленной, безпредметной тоски, тоски о недостижимомъ. Въ этомъ причина туманныхъ чаяній романтическаго поэта русской міровой скорби. Въ этомъ же разгадка неопредѣленности настроеній у Баратынскаго и недосказанности его міросозерцанія. Если унылый стихъ Баратынскаго не заключаетъ въ себѣ ни энергической мощи и металлическаго блеска желѣзнаго стиха «облитаго горечью и злостью» Лермонтова, ни изящной, чарующей простоты гармоничнаго стиха волшебной музы Пушкина, то у Баратынскаго есть оригинальная прелесть въ формѣ его поэзіи — умѣнье ясно и точно въ неуловимыхъ и тонкихъ очертаніяхъ и летучихъ образахъ передавать съ искреннимъ энтузіазмомъ сокровенные стоны души и безконечно-грустныя размышленія печально настроенной, неутомимо мятущейся мысли. Въ этомъ именно оригинальность Баратынскаго.

Результатомъ анализа поэтическаго творчества Баратынскаго является выводъ, что талантъ поэта все прогрессировалъ и въ своемъ развитіи прошелъ нѣсколько стадій. Эти стадіи творчества вмѣстѣ съ тѣмъ являются фазами развитія духовной личности Баратынскаго.

На зарѣ своихъ дней поэтъ воспѣваетъ утѣхи и радости жизни. Въ его поэзіи отражаются анакреонтическіе мотивы въ духѣ Парни. Но уже съ изданіемъ первыхъ двухъ частей «Стихотвореній» въ 1835 году этотъ періодъ можно назвать завершившимся, такъ какъ въ слѣдующемъ сборникѣ, носящемъ характерное названіе «Сумерки», почти нѣтъ анакреонтическихъ нашѣвовъ безмятежной юности. Напротивъ, второй сборникъ Баратынскаго исполненъ мрачнаго настроенія, является развитіемъ пессимистическаго міросозерцанія, заключающаго въ себѣ основныя черты пантеизма. Новое теченіе проявляется съ одной стороны въ пьесѣ «Смерть», не имѣющей во всей всемірной литературѣ равнаго по глубинѣ пессимизма образца, съ другой стороны въ стихотвореніи «на смерть Гёте», въ которомъ отразилось пантеистическое міросозерцаніе самого Баратынскаго. Завершаясь 1842 годомъ, это теченіе нельзя однако считать вполнѣ законченнымъ. Черты пессимизма проявляются и въ послѣднемъ періодѣ, хотя новая струя — отрѣшеніе отъ дѣйствительности и стре-

мленіе въ сверхчувственный міръ составляетъ отличительную черту послѣдней фазы творчества поэта. —

Князь Александръ Ивановичъ Одоевскій въ элегической пьесѣ «Послѣдняя надежда», посвященной Е. А. Баратынскому, скорбя о томъ, «что улетѣлъ лучезарный хороводъ надеждъ» съ довѣріемъ вспоминаетъ «неотлетнаго друга», который остался одинъ, какъ залогъ надежды. Одоевскій заканчиваетъ свою элегію мыслью, что:

„Приснятся и другимъ
И зажгутъ лучомъ своимъ
Думъ высокихъ вдохновенія".

(Русскій Архивъ 1878, т. I).

Въ письмѣ Баратынскаго къ Пушкину въ 1826 году, отражается то уваженіе и любовь къ философіи, которая все крѣпла съ годами и которая становится основою поэзіи всего послѣдняго періода.

«Посылаю тебѣ Уранію, милый Пушкинъ! не велико сокровище; но блаженъ, кто и малымъ доволенъ. Намъ очень нужна философія. Однакожъ, позволь тебѣ указать на пьесу подъ заглавіемъ: Я есмь.— Сочинитель-мальчикъ лѣтъ восемнадцати *) и, кажется, подаетъ надежду. Слогъ не всегда точенъ, но есть поэзія, особенно сначала. На концѣ метафизика, слишкомъ темная для стиховъ. Надо тебѣ сказать, что московская молодежь помѣшана на трансцендентальной философіи. Не знаю, хорошо ли это или худо: я не читалъ Канта и, признаюсь, не слишкомъ понимаю новѣйшихъ эстетиковъ. Галичъ выдалъ піитику на нѣмецкій ладъ. Въ ней поновлены откровенія Платоновы и съ нѣкоторыми прибавленіями приведены въ систему. Не зная нѣмецкаго языка, я очень обрадовался случаю познакомиться съ нѣмецкой эстетикой. Нравится въ ней собственная ея поэзія, но начала ея, мнѣ кажется, можно опровергнуть философически.—Впрочемъ какое о томъ дѣло—особливо тебѣ.—Твори прекрасное, и пусть другіе ломаютъ надъ нимъ голову». Въ этомъ письмѣ сказывается философское развитіе и серьезные интересы поэта-мыслителя.

Съ 1842 года и до 1844 года можно отмѣтить молитвенное настроеніе въ лирикѣ Баратынскаго: въ эти годы замѣчается временное успокоеніе духа поэта.

*) С. П. Шевыревъ.

Два стихотворенія «На посѣвъ въ лѣта» и «Молитва» очень характерны для опредѣленія настроенія поэта въ эти годы. Въ первомъ Баратынскій пишетъ:

„Великъ Господь! Онъ милосердъ, но правъ.
Нѣтъ на землѣ ничтожнаго мгновенья.
Прощаетъ онъ безуміе забавъ,
Но никогда пирамъ злоумышленіе“.

«Молитва», относящаяся къ 1843 году. Она коротко и тепло написана:

„Царь небесъ! Успокой
Духъ болѣзненный мой!
Заблужденій земли
Мнѣ забвенія пошли
И на строгій твой рай
Силу сердцу подай“.

Это настроеніе замѣчалось у Баратынскаго и ранѣе, въ стихотвореніи «Волконской», но въ эти годы оно становится господствующимъ и болѣе устойчивымъ. Однако ошибочно было бы думать, что поэтъ обрѣлъ «неуязвимость» пяты новаго Ахилла — вѣру. На этомъ не успокаивается мятежный духъ пессимиста-мыслителя даже въ послѣдній періодъ. Это настроеніе не успокаиваетъ души, измученной «роковой думой, которая молитъ разсѣянія» и вспоминаетъ о родственной душѣ сумрачнаго поэта Британіи, именно въ посмертномъ стихотвореніи «Дядькѣ Итальянцу». Двѣ послѣднія фазы развитія духовной личности Баратынскаго — отъ 1842 до 1844 года — объединяются въ одномъ теченіи, характеризующимся въ стремленіи — возлетѣть отъ земного поприща въ высшія области.

Изъ разсмотрѣнія основныхъ мотивовъ поэзіи Баратынскаго отчасти параллельно съ соотвѣтствующими мотивами у Пушкина, ярко выступаетъ демаракціонная черта, отдѣляющая творчество этихъ двухъ поэтовъ разной степени дарованія.

Поэтическое творчество Баратынскаго болѣе субъективно и глубокомысленно сравнительно съ поэзіей Пушкина, на которую онъ могъ даже вліять въ этомъ смыслѣ. Но этимъ и ограничивается превосходство Баратынскаго сравнительно съ Пушкинымъ. Во всемъ остальномъ поэтъ «высокихъ думъ» стоитъ гораздо ниже преобразователя новой русской поэзіи. Народная основа творчества и тотъ